

УРОЧИЩЕ ПУСТЫНЯ

Юрий Сысков



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Юрий Сысков

Урочище Пустыня

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70284721

SelfPub; 2024

Аннотация

Все мы живем, пока помним и пока помнят о нас. Память – как живая вода. Она дает надежду живущим и воскрешает мертвых. Деревня Пустыня, ставшая камнем преткновения для Северо-Западного фронта, осталась лишь одной из многих кровотокающих ран минувшей войны. Бои за нее, несмотря на страшные потери, продолжались долгих девять месяцев. Уничтожить окруженные в демянском «котле» дивизии вермахта так и не удалось. Что это было, как это было, во имя чего это было – вопросы, которые до сих пор волнуют не только живых, но и павших...

Юрий Сысков

Урочище Пустыня

Роман-реквием

Всем забытым, безымянным, пропавшим без вести посвящается...

Пустыня ширится сама собою: горе тому, кто сам в себе свою пустыню носит.

Фридрих Ницше

Ясным майским утром по улице Поперечной в Старую Руссу, город древний, упоминаемый в летописи под 1167 годом, въехал разбитый в хлам джип – привет из девяностых, в котором с трудом можно было узнать Mitsubishi Pajero второго поколения. Когда-то он был радикально черным, теперь же из-за царапин, сколов и вмятин, следов какой-то шрапнели на передней двери со стороны пассажира, крыла цвета индиго и вздыбленного капота серебристого оттенка его окрас не поддавался определению. Кенгурятник, как челюсть боксера, был свернут набок, лобовое стекло испещрено трещинами. Этот джип производил странное, немного устрашающее и в то же время забавное впечатление, вызывая ассоциации с конем Д Артаньяна, беарнским мерином желтова-

то-рыжей масти. Каким образом сохранился этот мастодонт, как дотянул до нашей эры было неизвестно.

Подстать ему был и владелец «автотранспортного средства» – в этом изрядно потрепанном жизнью мужчине трудно было узнать бывшего командира отдельного разведбата и знаменного взвода 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии подполковника Садовского. Тот бесшабашный офицер, лихой вояка и отчаянный забулдыга, прошедший все «горячие точки» бывшего Советского Союза и первую чеченскую остался в далеком прошлом. Сейчас это был грузноватый отставник с кучей старых болячек, расплывшимся неспортивным торсом, синевой под глазами и взглядом уставшего от жизненных передрыг человека, в котором явно сквозило знакомое каждому, кто неумолимо приближается к финишной черте одиночество среди людей. По всему было видно, что он чувствует себя обломком другой, давно минувшей эпохи, от которой остались только курганы и окаменелости каких-то смутных, никому не нужных воспоминаний. И даже телефон у него был кнопочный.

Ему прочили генеральскую карьеру. Но не сложилось. После увольнения из армии он продолжил службу в милиции и некоторое время гонялся за бандитами, потом ему самому пришлось бегать от «стражей порядка» – в нулевые такие метаморфозы не были редкостью. Потом за ним гонялись и менты, и бандиты. Потом он гонялся и за теми, и за другими, пока не наступил мир, нирвана, пенсия.

Личная жизнь тоже как-то не задалась. Нельзя сказать, что он не был счастлив. Был. Как всякий брутальный папаша он души не чаял в своей дочурке и искренне считал, что ему повезло красавицей-женой. Ведь самое лучшее, что есть в этой жизни случается между мужчиной и женщиной. Между гражданином и Родиной, как показывал его боевой и жизненный опыт, происходит нечто другое и далеко не всегда по обоюдному согласию. Но это уже другая, совершенно отдельная тема...

Свою питерскую квартиру после развода он оставил жене и дочери, которая к этому времени успела обзавестись мужем и двумя детьми. Машину, ставшую для него домом на колесах, оставил себе. Задние сиденья пришлось выкорчевать. В результате освободилось достаточно места, чтобы в образовавшемся пространстве могли поместиться все его вещи и он сам.

В Старой Руссе Садовский чувствовал себя сумоистом на свадьбе староверов – так неуместно выглядел на этих тесных, патриархального вида улочках его громоздкий «японец».

На какое-то мгновение он отвлекся на плакат, установленный на обочине – «Вы на правильной дороге, если платите налоги». И тут откуда ни возьмись, влекомая центробежной силой на проезжую часть выскочила бабушка с корзинкой, доверху наполненной дешевыми букетиками с анютиными глазками и всякой декоративной травкой. Он давно понял,

что наши старушки – как пули со смещенным центром тяжести, поэтому предугадать их траекторию невозможно. Резко затормозив, он для пущей верности резко крутанул руль вправо и слегка протаранил столб на тротуаре. Кенгурятник со скрежетом стал на место и теперь сидел идеально.

Бабушка даже не успела испугаться. Суетливо крестясь, перемежая брань с божбой, она посеменила дальше. Он укоризненно покачал головой, сдал назад и продолжил движение, стараясь как можно аккуратнее соблюдать скоростной режим.

Но если уж начались неурядицы, то не будет им конца. Возле перекрестка его, шаркнув по бамперу, задела шустрая вишневая «девятка». Из нее вылез сердитый мужичонка с монтировкой и закричал:

– Ты что, ослеп, мудило? Тебе что, правила не писаны? Думаешь, сел в крутую тачку, так теперь тебе по х... веники?

В прежние времена он забил бы этому крикуну монтировку в зад и спокойно поехал бы дальше. Но теперь все было по-другому. Годы делают людей мудрее, терпимее, толерантнее, что ли...

– Прошу прощения. Впредь буду повнимательнее...

Мужичок потерял дар речи. Он рассчитывал на обоюдный обмен мнениями и скоротечный бой, а тут какой-то псих ненормальный попался – извиняется...

Не зная, что сказать еще, водитель «девятки» сплюнул на асфальт, без лишних слов залез в свою таратайку и рванул с

места, как ошпаренный.

«Мне нравится этот город», – подумал Садовский.

Перед Живым мостом он припарковался, чтобы осмотреться и определиться с дальнейшим маршрутом. Отсюда открывался потрясающий вид на Воскресенский собор, стоящий на слиянии дремлющих в сонных объятиях утренней тишины рек – Полисти и Порусьи. Это чудо русской архитектуры, отражавшееся вместе с бегущими по небу облаками на зеркальной поверхности лениво струящихся вод, было похоже на большой ярмарочный пряник в обрамлении прозрачно-золотистого, почти иконописного воздуха и нежно-зеленого бархата майской листвы. Он ждал этой встречи и теперь, прислушиваясь к себе, к своим потаенным мыслям и ощущениям, испытывал странное, незнакомое ему прежде волнение.

Садовский никогда здесь не был, точно не был, но у него возникло такое чувство, будто не только он помнит эти места, но и эти места помнят его, непостижимым образом отмечают его присутствие и исподволь следят за ним. Казалось, с ними у него связано что-то важное, судьбоносное, затерявшееся где-то в глубине веков и провалах памяти. Что это было – сожаление, грусть, боль утраты, подспудно подавляемый страх? Или потрясение последнего узнавания, которое человек испытывает на пороге чего-то окончательного, связанного с вечным противостоянием жизни и смерти? Бог весть. Но что-то заставляло его пристально вглядываться в этот чет-

верик с большеоконным фасадом, увенчанным одним большим световым барабаном и четырьмя слепыми поменьше, галерею с пирамидками кокошников по углам и обдающие солнечными брызгами луковицы куполов...

А над всем этим великолепием неумолимо, торжественно и гордо, будто указующий перст или часовой, взявший ружье на караул, возвышался сверкающий шпиль колокольни.

Садовский долго смотрел на этот дивный, исполненный неведомой силы и неземной гармонии пейзаж, как будто за открывшейся ему видимой, поверхностной реальностью, доступной и понятной каждому, открывалась какая-то иная, сокрытая от нас, далекая от нашего суемудрия подлинная жизнь.

В памяти всплыла фотография, сделанная в годы войны с той же точки, где он сейчас находился: черный, по-видимому, понтонный мост, грудой металлолома перекрывающий русло реки, пустынный берег с полуразрушенными постройками, остов обезглавленного храма на стрелке. Древний город, напоминавший вскрытую вандалами могилу святого, был мертв. Казалось – навсегда.

Садовский выудил этот снимок из Интерента еще во Пскове, когда навещал своих старых друзей по разведбату. Кем и когда он был сделан? Судя по времени года – поздняя осень 1942-го. Значит, кто-то из немцев, потому что после штурма и последовавшей за ним оккупации жителей в городе почти не осталось – одни ушли с потоками беженцев, дру-

гие попрятались в близлежащих деревнях у родственников, третьи, кто замешкался и не успел покинуть свое гнездовище – укрылись в землянках.

Он понял, что не сможет уехать отсюда сию минуту – этот город не создан для того, чтобы бывать в нем проездом. Здесь необходимо хоть ненадолго, но остановиться, потому что за этими ничем не примечательными кварталами с их сталинской малоэтажной застройкой, как за внешним благолепием Воскресенского собора явственно читался другой, незримый, неизмеримо более древний, расписанный на берестяных грамотах и выцвевших старорусских небесах град, таящий в себе множество неразгаданных тайн, забытых историй и невидимых миру трагедий. Этот диковинный град входит в тебя испугом и каким-то глубинным потрясением, очаровывает, как опоенного зельем, врубается в память и душу, будто топор в плаху и начинает кружить, дурманить голову своей старорежимной запущенностью, отпетой достоинщиной, следами безбожных лет, проступающими сквозь обновленную штукатурку церквей, и страшными отметинами минувшей войны...

К тому же он рассчитывал найти здесь хоть какую-то информацию, которая помогла бы ему отыскать место гибели пропавшего без вести деда по материнской линии – Ивана Михайловича Назарова. От него осталась одна только похоронка, хранимая многие десятилетия как семейная реликвия.

Садовский решил прогуляться пешком, чтобы увидеть храм вблизи и осмотреть его убранство изнутри. Он уже давно не закрывал на ключ и не ставил на сигнализацию свой тарантас. Угнать его непосвященному было практически невозможно – под приборной панелью в труднодоступном месте была секретная кнопка, которая блокировала все попытки завести этого монстра. Но даже с заведенным двигателем он, как упрямый мерин, не трогался места. Для этого требовался волшебный пинок, технологию которого освоил только Садовский. Мелкие воришки тоже не решались на него покушаться: если так страшен этот трижды убитый, выдавший виды джип с трафаретом 162-й ОРБ на заднем стекле, то каков же его хозяин!

По Живому мосту он перешел Полюсь, оставив слева набережную генерала Штыкова с Памятной доской в честь легендарного комдива, по Воскресенской улице мимо памятника вождю мирового пролетариата добрел до Соборного моста и оказался рядом с колокольней, перед которой стояла небольшая группа туристов с опрокинутыми лицами – они смотрели на нее, как на восьмое чудо света и, затаив дыхание, внимали словам экскурсовода.

Садовский остановился и тоже прислушался, а затем и присмотрелся – не столько к колокольне, сколько к экскурсоводу. Рушанские девушки, как он успел заметить, не отличались особой красотой. Возможно, он поторопился с выводами, поскольку въехал в город субботним утром, когда все

уважающие себя красавицы еще нежатся в своих постелях...

Эта была обычной серой мышкой. Но надо отдать ей должное – даже без макияжа утонченные черты ее лица производили отрадное впечатление. А если добавить к этому интеллигентную речь, манеры, изящную фигуру, которую не мог скрыть даже расстегнутый демисезонный плащ и повязанная вокруг шеи газовая косынка, прикрывавшая грудь...

– ...чуть позже, после посещения храма, желающие смогут подняться на эту колокольню. Оттуда открывается живописнейшая панорама города. Прошу также обратить внимание на насыпь собора, где, по преданию, покоится бел-горюч камень. Иногда на нем проступают капельки воды, напоминающие слезы. В стародавние времена здесь молились женщины – за тех своих близких, кто отправлялся на войну. Мироточащий камень помогал им унять тревогу и утолить печаль...

Голос, как отметил про себя Садовский, тоже не был лишен приятности, хотя ни тембром, ни полутонами особенно не цеплял. Картину несколько смазывали очки в тонкой металлической оправе, отчего она была похожа на учительницу, офисную секретаршу и домохозяйку одновременно. Какой из этих образов был ей ближе оставалось только догадываться.

– ...у этого кафедрального собора, перестроенного по проекту выдающегося русского зодчего Василия Петровича Стасова, очень сложная судьба. Само место, на котором

он стоит намолено с незапамятных времен – когда-то здесь стояла деревянная церковь. В конце семнадцатого века был воздвигнут новый храм, освященный в честь Воскресения Христова. Его внешний вид сильно отличался от нынешнего. Большие изменения претерпела и колокольня – она выросла на целый ярус. Ее особенностью были часы, изготовленные тульскими мастерами. В 1937 году в соборе разместился краеведческий музей, в годы оккупации немецко-фашистские захватчики устроили в нем конюшню. После войны в храме открылся кинотеатр, впоследствии он стал складом для стеклотары... В восьмидесятые годы здесь работал музей Северо-Западного фронта...

В конце этого исторического экскурса голос ее заметно потускнел. Один из любознательных туристов оторвался от буклета и бодро поинтересовался:

– А тут написано, что на портале есть этот... килевидный архивольт. Вы можете мне показать его? Мне хочется знать...

– Вот он, перед вами, – неопределенно всплеснула рукой экскурсовод и заторопилась сменить тему:

– А теперь мы пройдем в храм, чтобы познакомиться с главной его достопримечательностью – чудотворным образом Старорусской иконы Божьей Матери. Эта святыня привлекает к себе паломников со всего света...

Садовский крайне редко посещал церковь, не знал, чем кондак отличается от тропаря и в каких случаях поется ве-

личание, но прошел вслед за группой туристов, чтобы взглянуть на эту реликвию. У дверей, пропуская своих подопечных, экскурсовод рассеянно посмотрела на него, по-видимому, оценивая, насколько уместен здесь его затасканный армейский камуфляж и холодно поинтересовалась:

– Вы, кажется, не наш...

– Если вы не против.

Ничего не сказав, она вслед за припозднившимся туристом, настойчиво интересовавшимся архитектурными изысками, вошла в собор и остановилась возле огромной иконы, на которой была изображена Богоматерь с младенцем.

– Это самая большая выносная икона в мире – в ней одиннадцать пядей, то есть более двух с половиной метров в высоту и чуть поменьше в ширину, – продолжала экскурсовод. Под сводами храма голос ее множился коротким эхо и казался более значительным, хотя и звучал тише. Теперь в нем явственно слышались благоговейные нотки.

– История святыни полна тайн и загадок. В Виленском мецеслове говорится, что она была перенесена в Старую Руссу из греческого города Ольвиополя, который располагался где-то в районе Херсона. Предание гласит, что во времена Ивана Грозного в новгородских землях вспыхнуло моровое поветрие. Для избавления от эпидемии был совершен крестный ход, после чего Старорусская икона Божьей Матери переместилась в город [Тихвин](#), это примерно в трехстах километрах отсюда. Долгое время между рушанами и [тихвинцами](#)

не затихала тяжба по поводу принадлежности этой иконы. И только в 1888 году благодаря вмешательству одной из царских особ чтимую икону торжественно перенесли на прежнее место. Перед вами один из списков древнего чудотворного образа. Что касается самой иконы, то участь ее незавидна. В годы советской власти она подверглась поруганию – с нее содрали сребропозлащенную ризу и в таком виде передали в краеведческий музей. В начале войны эта ценнейшая икона бесследно исчезла. И до сих пор о ней ничего не известно...

Повисла минутная пауза. Нарушить ее решился только любознательный турист, которому не терпелось узнать, обладает ли представленная здесь копия чудодейственной силой.

– Да, она почитается верующими и наследует славу древней Старорусской иконы. Еще два списка хранятся в Троицком и Георгиевском соборах. Кстати, в день памяти иконы – 17 мая, когда она впервые была принесена в Старую Руссу вы можете помолиться перед ней о спасении души, благословенной семейной жизни и защите от искушений. Поклониться можно любому из образов. Богородица выступает в роли ходатая перед Всевышним за молящихся...

Она сложила ладони, как бы намереваясь произнести одну из молитв, обращенных к Пресвятой Богородице. Обручальное кольцо на ее безымянном пальце отсутствовало.

– Отличие этого списка от древней иконы в том, что младенец Христос изображен отвернувшимся. Всей своей фи-

гурой он выражает желание отдалиться. По композиции и замыслу образ имеет некоторое сходство со Спасом Недреманное Око...

Огромные, ассиметрично поставленные глаза Божьей Матери были исполнены скорби и всепрощающего смирения, перед которым, казалось, меркло и буйство толпы, и власть кесаря. Младенец, больше похожий на задумчивого иудейского юношу смотрел в сторону с таким выражением, будто оплакивал участь всего рода человеческого и судьбу всякого грешника. Он словно знал о нас нечто такое, чего мы не желаем сами о себе знать и от чего прячемся в свои каждодневные дела, заботы и самообманы.

Всякий раз, посещая церковь, Садовский задавался вопросом, как и почему грубо вырубленные кровожадные идола язычества были сметены кроткими и печальными лицами христианских святых, просиявшими в золотых и серебряных окладах. Это ли не чудо?

Но от Старорусской иконы исходил какой-то грозный, почти физически ощутимый, пронизывающий все естество неземной свет, как будто это была и не икона вовсе, а щит ревнивого и безжалостного Господа Саваофа, перед которым человек, чувствуя всю глубину своего ничтожества и неизреченную бездну греховности, испытывал желание пасть ниц...

Садовский вышел из храма, не дожидаясь окончания экскурсии. На паперти он увидел диковинного старца с рыжева-

той клокастой бородой, как у юродивого на картине Сурикова «Боярыня Морозова» – то ли бомжа, то ли чудаковатого монаха, то ли бомжеватого вида странника, как будто наскоро сплетенного из мха, лесных кореньев и дерюги. На шее у него висели крупные бусы или четки, которые при более внимательном рассмотрении оказались связкой разномастных деревяшек от бухгалтерских счетов, нанизанных на бечевку. На мгновение почудилось, что это шаманские клыки и когти... В руках этот невозможный старикан держал балалайку без струн. По всему было видно, что он собирает милостыню, изображая игру на музыкальном инструменте. Садовскому смутно припомнилась панк-группа из Финляндии, которая в свое время участвовала «Евровидении», но так и не пробилась в финал. Отличительной особенностью этой группы было то, что она состояла из музыкантов, страдающих различными хроническими заболеваниями: кто аутизмом, кто синдромом Дауна, кто церебральным параличом.

Старец казался одним из них. Или обычным городским сумасшедшим. Но что удивительно, глядя на этого безумца и наблюдая за его странными манипуляциями, Садовский не мог избавиться от ощущения, что он действительно слышит музыку – беззвучную, неуловимую обычным слухом, извлекаемую из каких-то неведомых глубин его собственной души и затрагивающую в ней некие потаенные, неведомые когда умолкнувшие струны.

Преодолевая невольную робость, которую любой нор-

мальный человек испытывает перед психически больным, он подошел поближе и увидел лежащую на земле рваную картонку. На ней обычной шариковой ручкой довольно разборчиво и складно было написано: «Подайте сему юроду, настоятелю церкви, называемой «Часовня – сень Старорусской чудотворной иконы Божьей Матери», на покупку передвижной мини-звонницы и воинского миссионерского креста-мошевики».

И тут юродивый полоснул его таким острым взглядом, что Садовский невольно отшатнулся.

– Стой, воитель! – скрипуче воскликнул старик, оглядывая его с ног до головы. – Всех агарян разбил? Даром что душегуб и распутник!

– Что ты несешь, старче, – пробормотал Садовский. Он уже давно взял за правило в любой ситуации, что бы ни происходило вокруг сохранять невозмутимость, словно в жилах его текла не кровь, а выдержанный в дубовых бочках полувековой коньяк, а тут смутился.

– Ишь, куда наострился! – продолжал наседать нищий. – Рано тебе в храм, иди в часовню малу. Молитву знаешь?

– Не знаю ни одной.

– Молись как можешь, своими словами. О спасении души.

– Помилуй, мя, Господи, раба божьего, отмороженного на всю голову...

– А ты не юродствуй.

– Молюсь как могу...

– Далекий ты, ох как далекий отсель! И идешь издалека, и идти тебе долго...

И вдруг юродивый плаксиво, будто пьяный запричитал:

– А я что же, люди добрые? И в стужу, и в зной, на гноищах яко Лазарь в церкви, мною воздвигнутой, милостыни взимая, иным убогим даяше ю... Не в новой срачице восседаю, но в нищенском рубище. И в храм сей не хожу, осквернивая смрадом своим. Сижу тут, примус починяю, – неожиданно добавил он. Потом улыбнулся озорной детской улыбкой и попросил бляющим голосом:

– Подай, мил человек!

Увидев проходящего мимо священника неопределенного звания в сопровождении какого-то служки, он оживился и весь просиял:

– Хлеб да соль вам, отцы!

И тут же словоохотливо пояснил:

– Се хартуларий – заведующий письмоводством в епархии, важное лицо... Святая братия с ним.

«А старичок-то непрост», – подумал Садовский, выходя из оцепенения, в которое его вогнала малоразборчивая и весьма замысловатая речь юродивого, и засунул под картонку сто рублей.

– Благодарствуйте...

Продолжая сидеть на паперти по-турецки, юродивый стал бить частые поклоны и приговаривать:

– Свят-свят-свят... Хоть и неистов человек сей и погубил

свой ум, а не осерчал и сердце свое не оставил. Свят-свят-свят... И яко же молитвами церковь просияет чудесы, и посетит мя светонезаходимое солнце веселия, так и его, даст Господь...

Он всплакнул. Потом неожиданно, как старый чертяка оскалился и с ехидцей произнес:

– А беса всегда узнаешь по нераздвоенным копытам – он нечист!

Садовский машинально посмотрел на свои десантные берцы-крокодилы и понял, что «копыта» у него нераздвоенные...

– А как же я, раб божий, последую примеру преподобного Михаила Христа ради юродиваго, ежели не подадут мне? – зачастил старец и слова его, обгоняя друг друга, понесли вскачь. – Оный восхождаше на церковные колокольницы и бияше колокола часто, вельми часто... И за многие дни прежде случившейся беды, во как! Якоже обычай бысть во время огненного запаления звонити. А как я, спрашиваю, поступить должен? Ведь что у нас деется?

– Что? – переспросил Садовский.

– На все Кузьминки, Пожалеево да Свинойрой вместо колокола авиабомба, что подвешена на древе с войны, вот и все вече. Без звонницы мне никак нельзя, – впервые совершенно отчетливо выговорил он.

– Так ты, дед, из Кузьминок?

– Это только кузькина мать тебе скажет, мил человек, –

с лукавинкой усмехнулся юродивый. – А мне откуда знать? Иди, если туда путь держишь...

– Туда и держу.

– Вот и держи, не отклоняйся...

Садовский покачнулся, будто кто-то толкнул его в плечо и ноги сами понесли его прочь. Опомнился он только, перейдя мост через Порусью.

– Блин, что это было? – сам у себя спросил он и закурил, переводя дух, как после десантирования при шквалистом ветре.

Старик никак не выходил у него из головы. Временами он казался рядовым душевнобольным, временами выдающимся сумасшедшим, временами спятившим святым. Его нищенский вид и витиеватая манера изъясняться старославянскими низмами вселяли смутное беспокойство, суеверное желание отгородиться, очертить меловой круг. Что-то из сказанного им вызывало стойкое неприятие, что-то заставляло искренне недоумевать, что-то клонило к раздумьям. Даже сам факт его физического присутствия в этом мире нуждался в объяснении. И в чем только душа держится. Где, как и на что он живет? И главное – откуда берет силы, чтобы изо дня в день влачить свое жалкое существование?

Размышляя об этом блаженном и соотнося его с собой, со своими нынешними обстоятельствами Садовский невольно задавался странным, неуместным, на первый взгляд, вопросом – а может ли он настолько забыть себя, дойти до та-

кой степени потерянности и отчаяния, чтобы денно и нощно сидя на паперти, просить милостыню? И если может, то насколько он далек от этого? От тюрьмы да сумы... Однако этот нищий не выглядел сломленным. И, судя по всему, легко мирился со своей участью. Более того, создавалось впечатление, что об ином он и не помышлял. И в этом была его неоспоримая свобода, та страшная свобода, которая является собой наивысший соблазн и пугает абсолютное большинство людей. А ведь он тоже для чего-то родился, кем-то хотел стать, чего-то достичь, быть просто счастливым...

Как и все мы.

Но вместо этого возрадовался какой-то безумной радостью и стал сфинксом на перекрестке дорог, который загадывает загадки и всем своим видом говорит: если тебя преследуют удары судьбы – сделай как я, скажи себе: «Я – сфинкс». И обрати свой взор к небу. Над сфинксами судьба не властна, потому что нити судьбы в их руках... А лучше спроси себя: много ли надо тебе для счастья, или хотя бы для того, чтобы обрести душевный покой и не страдать от сравнения с себе подобными.

В чем-то он прав, этот старик. Предположим, свершится невозможное и сбудется веками чаемое – найдет человек, существо по определению несчастное, эликсир молодости и станет бессмертным, изобретет вечный двигатель и улетит к звездам, научится из свинца добывать золото и сказочно разбогатеет – сделает ли это его счастливее? Отнюдь. А этот,

не имея ничего, по-видимому, абсолютно счастлив, несмотря на все свое убожество. С ним – благодать.

К концу второй сигареты Садовский увидел женщину-экскурсовода, плывущую по мосту – так легка и грациозна была ее походка, сопровождаемая мерным колыханием крыльев бежевого плаща и всплесками длинных рыжих волос на ветру. «Ходит плавно – будто лебедушка, смотрит сладко – как голубушка...» И тут же в памяти явились пушкинские строки:

Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманый наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног...

Похоже, она была счастливой обладательницей одной из этих пар. Что же касается выводов, сделанных классиком путем эмпирических наблюдений, то с этим можно было поспорить. Вряд ли мода галантного века позволяла разглядеть в дамах что-то выше прекрасной лодыжки, не говоря уже о ножках в целом.

Она свернула от моста направо. Садовский, чуть помедлив, догнал ее и спросил:

– Могу ли я заказать персональную экскурсию?

– А, приبلудный турист, – без особых эмоций проговорила она. – Что вы имеете в виду?

– По ходу вашего рассказа у меня возникло несколько вопросов.

– Только не спрашивайте меня про килевидный архивольт. Я не знаю, что это такое. И чем он отличается от архитрава.

– Вы не обязаны все знать.

– Так что вы хотели спросить?

Несмотря на то, что она не стала уклоняться от разговора с ним Садовский понимал, что ступил на весьма зыбкую почву и в любой момент установившаяся между ними дистанция может быть разорвана. Смотрела эта лебедушка отнюдь не как голубушка. Поэтому говорить надо было коротко и по существу.

– Вы многое рассказали о соборе и колокольне. Но была еще и третья достопримечательность...

Она прямо и открыто посмотрела на него, словно увидела впервые и что-то в увиденном ей явно не понравилось. Он спокойно выдержал эту битву взглядов, понимая, что слова о «третьей достопримечательности» она могла принять на свой счет.

– Я говорю о старике возле храма. Кто он?

Она довольно долго молчала, как бы раздумывая, стоит ли пускаться в объяснения. Что-то мешало ей выйти из образа застегнутого на все пуговицы экскурсовода и стать про-

сто женщиной, с которой пытается познакомиться с виду неустроенный, явно ничейный мужчина.

– Слева от нас Музей романа «Братья Карамазовы».

Кивком головы она показала на желтое здание с белой колоннадой по балкону второго этажа.

– Не знал, что есть целый музей, посвященный роману...

Казалось, она уже забыла, о чем он спросил. Но нет, ответ все-таки последовал.

– Его знают у нас как блаженного Алексия. Сам себя он называет иноком, рясофорным, новоначальным монахом, хотя официальная церковь от него отрещивается... Здесь он собирает средства на покупку самой маленькой сборно-разборной колокольни, которую для звонарей изготавливают уральские мастера...

– Долго же ему придется собирать...

– А таких Бог любит. И во всем им помогает. Хотя... Странный он... Одно слово – юродивый.

И она пересказала ему несколько баек об этом чудном старике, оговорившись при этом, что не ручается за их достоверность. Как-то блаженный Алексей пришел на первомайскую демонстрацию – с какой-то черной тряпкой на палке. Издалека она была похожа на развернутый флаг Исламского государства Ирака и Леванта. Был скандал. Полиция вывела демонстранта за пределы площади, куда-то за водонапорную башню, и экспроприировала самодельный штандарт. Что хотел донести юродивый до жителей Старой Руссы? Никто так

и не понял. Он ничего не требовал, никого не обличал, не призывал к ответу. Но его появление на маевке, среди нарядно одетых, улыбающихся людей было похоже на вызов. Он выглядел так, словно явился на званый ужин без приглашения, в грязных обносках, всем своим видом оскорбляя присутствующих... В другой раз удумал вбежать в женскую баню. «Яко Симеон богомыслию предамся! – кричал он. – И место подходяще!» Был жуткий переполох. И смех, и грех – вздыхали бабы после того, как выпроводили его шайками и вениками из помывочного зала...

– Справа памятник Достоевскому, – как всегда неожиданно перескочила с одного на другое она. – А чуть дальше – Дом-музей писателя.

Федор Михайлович сидел на постаменте в скорбной раздумчивой позе, очевидно размышляя о бесах, которые до краев заполонили Россию, угрожая самому ее существованию...

– Удачный памятник, – сказал Садовский, чувствуя, что она ждет от него какой-то реакции.

– Мне тоже он нравится, – задумчиво произнесла она. – Тут недалеко еще есть Дом Грушеньки... Помните, кто это?

– Да. Кстати, Михаил.

– Светлана...

Они молча продолжили путь. Между ними возникла какая-то неловкость – разговор не клеился, словно все темы были раз и навсегда исчерпаны. Оба почувствовали: еще ми-

нута-другая и им предстоит решить, стоит ли продолжать начатое знакомство и если стоит, то к чему все это приведет. «Почему я к ней подошел?» – спрашивал себя Садовский. В другое время и в другом месте он не посмел бы сделать этого – слишком отчетливо на лице у нее было написано: «Не здесь, не сейчас и не с вами...»

Взгляд его упал на указатель, на котором было написано: улица Сварога.

– Ничего себе, – искренне удивился он. – Здесь до сих пор почитают славянских богов?

– Это не тот Сварог, о котором вы подумали. К богу огня он не имеет никакого отношения. Это художник, который родился в Старой Руссе. На этой улице я и живу...

– Кстати, вы не посоветуете, где тут можно остановиться?

– Надолго? – спросила она без особого интереса.

– На день-другой. А там посмотрим...

– Пойдете по улице Минеральной до Парка Победы, свернете налево, там увидите гостиницу.

– А ресторан там есть?

– Есть и ресторан. Но не советую. Есть немало других мест, где можно недорого и вкусно пообедать.

– Хочу пригласить вас на ужин. Часов в семь устроит?

– Ничего не могу обещать, – сказала она, впервые улыbnувшись.

Житие инока Алексия Христа ради юродивого

Засим начинаю я повествование свое об иноке Алексии и многострадальном житии его. Кому как не мне рассказать о бедах и злключениях оногo, распнувшего плоть свою со страстьми и похотьми, ибо я он и есть, пишущий эти строки в стенах порушенного Свято-Троицкого Михаило-Клопского монастыря. И одному Богу ведомо, кончу я дни свои в хлевине какой, всеми забытый, без свещ и фимиама или доживу до поздних времен, когда с достодолжною тихостию уйду в мир иной и восхищен буду в вожденное, горнее свое отечество.

Пусть так. Одно только сомнение берedit мой немощный ум и растревоженную душу – не впадаю ли я тем самым в грех гордыни, самому себе становясь исповедником и судьей? Ведь никто из смертных не может возомнить о себе такое, что хотя бы один день своей жизни он, несчастный, был праведником, не грешил и не слепотствовал в миру, а уж тем более был достоин блаженной кончины. И не постигнет ли меня злая участь безвестно канувших лжеюродивых, кликуш и сумасшедших, в которых на Руси отродясь недостатка не было? О таких писал патриарх Иосаф I: «Инии творятся малоумии, а потом их видять целоумных; а инии ходят в образе пустынного и во одеждах черных и в веригах, растрепав власы; а инии во время святого пения в церквах ползают, писк творяще, и велик соблазн полагают в простых человецех».

Есть и такая блажь. Уповаю лишь на то, что воздастся мне

по делам моим, понеже старался я идти от мирского сладострастия к свету богоразумия. И здесь Бог и везде Бог. И каждый важен для другого, и другой для каждого и все – для Господа Саваофа-Вседержителя, в имени которого пребудем во благе отныне и навсегда. Для кого-то и это чтение будет душеполезно и назидательно.

Итак, помолясь, дабы избавил меня Владыка наш, великой радости податель, от гнева правды Своей, приступаю...

Наверное, явился я в этот мир в недобрый час – под Полынью звездой, пропитавшей горечью дни мои. Отчизна моя – пепелище, рождение – тайна за семью печатями, а вся последующая жизнь – шатание юродствующего по городам и весям новгородчины. Но обо всем по порядку.

Дата появления моего на свет мне неведома, но я склоняюсь к тому, что это было в год, когда товарищ Сталин объявил начало «безбожной пятилетки» и стал сокрушать алтари. Первое, что я увидел, вступив в пределы земной юдоли, был огонь, первое, что отчетливо почувствовал – боль. Никаких иных воспоминаний о своем нежном возрасте я не сохранил. Не знаю, с чем это связано, но с тех пор при виде огня меня крутит и корежит, как бересту.

Я не знаю, кто мой отец и мать. Да их у меня, должно быть, и не было. Когда я думаю о своей матери я вижу золотистое сияние и чувствую исходящую от него любовь. А отец – это голос, который повелевает мне, что я должен делать и как жить.

Бабушка моя Антонина или просто баба Тоня о них ни разу не упоминала. А когда я спрашивал – сразу начинала креститься и бормотать молитвы. Я знал, что она никого и ничего не боится. Только одного этого вопроса. И у кого потом ни выпытывал – отвечали одно: от киих родителей родися, не веем. И жалели как убогого, для жизни убитого, и отводили глаза. Тогда я дошел своим незрелым еще умишком: если одних детей находят в капусте, других приносят аисты, то меня спустили с неба ангелы. И сам я ангельского роду, хотя и неведомо какого чина...

Эту мысль навеяло видение, бывшее у меня прежде моего рождения – церквушка на холме. В солнечную погоду она мне подмигивала, в пасмурную закрывала реснички, а когда наплывал туман – и вовсе засыпала. Она словно говорила мне – приходи, малютка, сюда, здесь твой настоящий дом, здесь твои небесные родичи и покровители – отец и мать...

Бабушка у меня рукастая была, никогда не сидела без дела – даром что однорукая. Руки она лишилась еще по молодости, когда билась с великим запалением, случившемся в наших краях. Был еще и дед, гуляка и балагур, и красавица их дочь. И это все, что я помню, потому что пробыл я в их доме, что в деревне Пустыня, самую малость. Здесь обнаружилась у меня некая странность – умение исчезать в одном месте и неожиданно появляться в другом. Часто это происходило ночью. Я переносился из дома в огород, из огорода в сарай, из сарая в лес или на речку, будто на крыльях, но не понимал

и не помнил, как. Меня ругали, поучали, увещевали, всем миром стыдили и уговаривали не делать так больше, но все было тщетно – я продолжал бестелесно и беспмятно перемещаться в пространстве. Это пугало моих домочадцев. Однажды поутру кто-то из соседей обнаружил меня сидящим на колодезном срубе и донес бабе Тоне. Та, едва успев добежать до колодца, единственной своей рукой схватила меня за шиворот и вернула на твердую землю. После чего терпение ее иссякло и я был отдан в странноприимный дом где-то в области великого Нова-града, где и дождался не то конца света, не то начала обставшей меня и родные палестины тьмы...

Дальше в моих воспоминаниях появляется некая связность и более осмысленный взгляд на вещи. Постараюсь передать здесь свои детские впечатления как можно точнее, не соотносясь с последующим знанием и жизненным опытом.

Место, куда меня привезли, пришлось мне по душе. То было одноэтажное кирпичное строение, утопавшее в цветах и зелени, как старинная помещичья усадьба. Там было уютно, солнечно и как-то по особенному благодно – в кронах деревьев возились и заливались на все голоса дивные птицы, всюду порхали разноцветные бабочки, нежно гудели шмели и пчелы. Меня встретил настоятель обители и ее постоянные обитатели, называвшиеся персоналом – все в белых ангельских одеяниях, но почему-то без крыл. Они были добры и внимательны ко мне. После короткой беседы меня проводи-

ли в палаты, где размещались дети – в каждой по четыре человека. Там я увидел того, кто называл себя Бароном. Он был заметно старше меня, худ, нескладен, остронос и говорлив.

– Ты его меньше слушай, – шепнул мне на ухо настоятель – У всякого барона своя фантазия...

И, похлопав меня по плечу, ушел по своей надобности.

Он и вправду вел себя как-то необычно, этот Барон. Разговаривал так, будто читал стихи перед зеркалом. И на тумбочку опирался не всей рукой, а тремя пальцами, как на треногу. Но я к этому быстро привык и перестал замечать, потому что он принял меня хорошо, как равного, и сразу предложил мне стать его другом.

– П-послушай, что я тебе скажу, д-дражайший Алексей, – нараспев, слегка заикаясь, проговорил Барон. – Ты, наверное, спрашиваешь себя – куда я, то есть ты, попал. Сразу скажу тебе – это вовсе не психушка, а лицей. К-клиника для особо одаренных детей и подростков. Здесь их изучают для науки и п-пользы страны... Смешали наиболее способных с умственно отсталыми и стали наблюдать, кто кого перетянет на свою сторону.

Он как-то издали на меня посмотрел, но как будто не увидел и продолжал:

– Различают одаренность легкой степени, умеренной и выраженной. У меня – вы-выраженная. А тех, у кого вы-выраженная готовят для государственного задания особой важности. Психушка – это так, для отвода глаз. А кто говорит,

что это не так – тот сам псих. Вот.

– А они здесь тоже есть? – спросил я, потому что мне было очень интересно – какие они, настоящие психи, ведь я никогда не встречал их в нашей деревне.

– К-конечно, мой юный друг. П-полным-полно. Но селят их отдельно от нас. Скажу тебе по большому секрету – это стадо ба-баранов.

– Ты с ними не дружишь? – спросил я.

– Нет, потому что я из стада ба-баранов.

Он свысока, будто забравшись на табуретку, взглянул на меня.

– Я тут обучаюсь по особой программе. И п-параллельно поправляю свое здоровье. Собственно, я не лечусь, а прохожу курс лечения от энуреза и з-з-з-заикания.

Он описал головой дугу – как будто мячик съезжает с горки.

– В совершенстве владею немецким языком, – зачем-то добавил он. – Знаю из латыни...

– А кто тут еще живет? В этой комнате?

– Эдуард, т-толковый малый. И Пионер. Законченный п-придурак. Они сейчас на п-процедурах...

Вскоре я познакомился и с ними.

Эдуард или, как его еще называли, «мальчик из корзины» был самый младший из нас. И самый несчастный. Говорят, он трижды подкидыш – в первый раз его оставили в свертке на берегу пруда, во второй – на пороге дома в корзине, в

третий – у дверей больницы, но уже без корзины. А когда он вышел из младенческой поры его отдали в обитель для умственно одаренных детей. Так говорил Барон. Еще он говорил, что Эдуард – это маленький Гамлет. Он часто задается вопросом: «Как же жить? Не знаю как!»

Бывало, играет во что-нибудь тихонечко, сам с собой и вдруг ни с того ни с сего воскликнет: «Как же жить? Не знаю как!» Пожмет худенькими плечами, разведет в стороны руки и на мгновение так застынет.

Или идет по коридору и, будто натолкнувшись на невидимую стену, спросит сам у себя: «Как же жить? Не знаю как!» Всегда с одним и тем же растерянным выражением лица и скорбной складочкой на лбу. И столько недетского отчаяния проглядывает в его ясном взоре, что становится совсем уж не по себе. Действительно, как?

Барон утверждает, что Эдуард недавно потерял родителей. Мама его работала уборщицей, а папа алкоголиком. Потом мама заболела и умерла, а папа пропал. Был человек – и нет человека. А может, его и вовсе не было. Просто он всем казался. А когда сгинул, все поняли – ни Богу свечка, ни черту кочерга. Так, одна видимость. Рассеялся человек, как туман. И ничего от него не осталось. Вот и пошел подкидыш по рукам и учреждениям.

Я не понял только одного: если Эдуард недавно потерял родителей, то почему стал «мальчиком из корзины»? Ведь он давно вырос из нее. Но спрашивать об этом было неудобно.

Эдуард мне сразу понравился. Не по годам серьезный, задумчивый, с печалинкой во взгляде. Он, конечно, не верил, что остался сиротой. Как могли умереть его родители, если смерть прячется на кладбище? А их там нет, он проверял – как раз недалеко от нашей обители есть старый деревенский погост с полусгнившими дубовыми крестами. Еще он говорил, что смерть – наказание за дурные поступки. А что плохого сделала его мать? Сломала швабру? Не вытерла пыль с комода? Что такого совсем уж непростительного натворил отец? Выпил у других всю водку? Вот и выходит, что все это выдумки.

Эдуард не верил, что когда-нибудь умрет. Так, чтобы окончательно, раз и навсегда. Просто смерть играет с нами в прятки, говорил он. И если первым найдешь ее ты, то она ничего не сможет с тобой сделать, а ты – все что захочешь, если же она – то ты просто переселишься из одного места, к которому привык, в другое, и там встретишься со своими потерявшимися родителями.

Все, что окружает нас Эдуард воспринимал как что-то живое, что только притворяется неживым. Однажды он сильно рассердился на совочек, который не хотел копать утрамбованный грунт, и наказал его, сломав о камень. А потом долго жалел об этом и даже попытался вылечить его подручными средствами, но совочек чиниться не хотел и его пришлось выбросить. Вообще-то я разделял его точку зрения, но никогда бы не признался в этом, потому что был на целых два

или три года старше.

Один случай убедил меня, что он не верит и в смерть животных. Однажды у нас в обители умерла дворняжка – какой-то злыдень рубанул ее то ли топором, то ли лопатой. Эдуард похоронил ее. Над могилкой он водрузил крест из ивовых прутьев, а на холмик положил банку рыбных консервов, которую украл для него из кухни Олег по фамилии Френ (потом я узнал, что это не один человек, а несколько). Собака проснется, поест и снова уснет, объяснил он. Это нисколько не удивило меня, а лишь напомнило о деревенском обычае оставлять еду на кладбище. Наутро банка действительно исчезла. Но чтобы не расстраивать Эдуарда мы не стали говорить ему, что ее съела не мертвая собака, а Пионер.

Пионер был четвертым, самым беспокойным жителем нашей палаты, назойливым, как муха, и каким-то, по правде говоря, чокнутым. И мне было непонятно, зачем ему дали такое почетное, ко многому обязывающее прозвище, ведь пионер – всем ребятам пример.

У него был такой вид, как будто он к чему-то все время принюхивался, что-то выискивал, за кем-то шпионил. Как я узнал позже это объяснялось легкой сглаженностью носогубной складки.

Пионер все время был в движении и ни минуты не мог оставаться один, ему всегда было нужно с кем-то спорить, кого-то донимать, кому-то что-то объяснять, растолковывать, доказывать и поэтому за всеми он ходил хвостиком. От

него не было покоя не только детям, но и взрослым, и даже настоятель обители не знал, куда от него деться. Когда он говорил о Пионере, в ходу были такие непонятные, пугающие, опасные, как ядовитые насекомые, слова – адиадохкинез, тремор, страбизм и другие на них похожие, значения которых никто из моих друзей не знал. Еще Пионер безбожно ругался матом, особенно когда был сильно возмущен или обижен. А возмущен или обижен он был почти всегда. Поэтому ругательства сыпались из него, как из рога изобилия. И где он только набрался? И когда из города приезжали гости, которых называли комиссией Пионера прятали подальше с глаз долой, чтобы он не обругал кого-нибудь последними словами.

Мое знакомство с ним началось с игры в шашки. Сначала все было как обычно, но как только я начал выигрывать Пионер повел себя очень странно и не по правилам – взял с доски две моих шашки, засунул их в рот и сказал:

– Я их съел!

Потом засунул еще горсть и объявил себя победителем.

– Так не честно! – попытался возразить я, но он уже забыл про шашки и начал втолковывать мне про какой-то пионерский патруль. Я просто опешил от такого напора.

– Это нужно для того, чтобы организовать охрану общественного порядка, – выплюнув все шашки разом, возбужденно задолдонил он. – Вдруг бандиты, хулиганы и всякая контрреволюционная сволочь – кулаки, помещики и капита-

листы. А еще бывают спекулянты и проститутки... Мы их всех переловим и посадим под замок!

– Не хочу я ни в какой пионерский патруль...

– Тогда тебе прямая дорога в пожарную охрану, товарищ! Где твой шлем огнеборца? Но сначала ты должен сдать нормы ГТО, влиться ряды ОСОВИАХИМа и принять присягу добровольца...

Он городил что-то еще, но я был уже далеко, потому что при одном только упоминании об огне впадал в панику и бежал без оглядки.

В следующий раз Пионер агитировал меня вступить в команду крейсера «Красный Кавказ». И упорно повторял, что у него там знакомый капитан дальнего плавания подводного парусного флота, который все устроит. Я ни в какую не соглашался. А когда отказался заниматься хлебозаготовками, мобилизацией автогужтранспорта и лесоповалом для нужд молодой советской республики он назвал меня контрой и дал подзатыльник. Так я стал классовым врагом Пионера. С тех пор тычки, пинки и оплеухи сыпались на меня чуть ли не каждый день. К этому еще добавилась новая беда – продрозверстка. Пионер взял за правило отбирать у меня излишки еды в пользу голодающих Поволжья. Еду съедал сам. Спасало меня только то, что он не мог долго мурыжить кого-то одного, ему хотелось охватить всех, дойти до каждого. Как только он отвлекался – я исчезал, поминай как звали.

Защитить себя я не мог – Пионер был старше и сильнее,

Эдуард слишком мал, чтобы мне чем-нибудь помочь, а Барон сам его боялся. В общем, Пионер чувствовал себя в нашей палате главарем, предводителем народных масс, самым что ни на есть генеральным секретарем. Он был всегда и во всем прав, потому что сила была на его стороне. Мы быстро к этому привыкли, легко приспособились ко всем его капризам и причудам, научившись переключать его внимание на других обитателей нашей обители. Или просто потакая некоторым его слабостям.

Вот, к примеру, ему нравилось смешить. Для этого он наряжался кем ни попадя – то клоуном, то балериной, то мусульманином. Далее следовал истерический смех, танец маленьких лебедей или заунывная молитва, в зависимости от избранного образа. Но никому не было смешно. Придурки обходили его седьмой дорогой. Персонал недоумевал, понимающе переглядывался и крутил пальцем у виска. Во мне его потуги вызывали чувство неловкости. Но Пионер старался. Ведь если очень захотеть, обязательно добьешься своего. А цель у него была одна – заставить всех смеяться. И чтобы его за это любили. Поэтому над его шутками и выходками мы смеялись громко, старательно, навзрыд. Тогда Пионер становился добрее и можно было лепить из него все что угодно. Как из воска.

Все свободное время нам разрешалось гулять или во что-нибудь играть. Больше всего мы любили войнушку: пузырьки от лекарств были солдатами, бутылки – генералами, скру-

ченные полотенца – самолетами, а стоптанные тапки – танками. Ну а судно использовалось по своему прямому предназначению – по настоянию Пионера оно было тем самым крейсером «Красный Кавказ», на котором я наотрез отказался служить. Из-за пробоины в борту этот крейсер годился только на то, чтобы расклепав якорь-цепь и отдав швартовы, затонуть в ближайшей луже. Но для нас это была полноценная боевая единица.

Еще мы играли в больничку. Выигравшим считался тот, кто ставил пациенту какой-нибудь мудреный диагноз или находил в себе больше всех болезней. У меня был самый длинный список – скарлатина, отит, дизентерия, корь, оспа, чума, холера, свинка, сифилис... Не уверен, что я всем этим болел, но названия откуда-то знал.

А по вечерам, когда в палате выключали свет, мы рассказывали друг другу, кто кем был до того, как попал в обитель. Самая красивая история была у Барона. Он утверждал, хотя и не знал этого точно, что мать родила его в экспедиции. Нам очень нравилось само это слово – экспедиция. Оно напоминало большой старинный корабль, быть может, фрегат, да, да, конечно, фрегат с наполненными ветром парусами, который плывет навстречу удивительным приключениям. Это было путешествие в некую сказочную страну, которой нет ни на одной карте мира и где всегда лето. И Барон всем говорил, что он оттуда, из этой страны и самый главный там над всеми – его отец.

Пионер всякий раз придумывал какую-нибудь новую историю. То про то, как его усыновил один старый большевик, то про сельхозартель Вторая пятилетка, занимавшуюся его воспитанием через коллективный труд, то про детдом где-то на Псковщине...

Эдуард обычно отмалчивался. Ему нечего было рассказывать, потому что он все уже рассказал. За него, как правило, сочинительствовал Барон, который был охоч до всяких рассказней. Но я знал, что у него есть мечта – дойти пешком до столицы нашей Родины города Москвы и найти там одно место, которое называется Кремль. «Под его стеной стоит домик, а в нем – Ленин. Дедушко, – говорил Эдуард тихим-тихим голосом. – Устал, значит, делать революцию и прилеж отдохнуть. А все ходют и смотрют на него. Но на самом деле он не просто дедушко, а волшебник и если ему оставить записку с просьбой – он обязательно исполнит».

Нетрудно было догадаться, о чем хотел он попросить этого волшебника.

Я же честно признавался, что пришел в этот мир ангельским путем, сойдя с небес в снопе огня. И если бы при своем схождении я не обжегся, не стал порченным ангелом, то не попал бы сюда, к ним. А теперь и к нам, потому что здесь теперь был и мой дом (изба в Пустыне как бы тоже, но я стал забывать и ее, и бабу Тоню). Своим настоящим, изначальным домом я всегда считал церковку на холме, которая если светит солнце моргает, в ненастье смеживает веки, а когда

на землю ложится туман – просто спит. . .

Постепенно я перезнакомился со всеми детьми. Олег по фамилии Френ, как я уже говорил, оказался не одним человеком, а сразу несколькими людьми с одним диагнозом. Их в нашем странноприимном доме было больше всех. Не по злобе, а для удобства и краткости мы называли их просто придурками. Это были самые добрые и безобидные создания на свете. Я подозревал, что они готовятся стать небожителями – существами, которые умеют кататься на облаках и спать на них, как на перинах. Придурки никого не обижали, а если обижали их – никогда не давали сдачи. В одной умной книжке, которую читал Барон это называлось «непротивление злу насилием». Еще они были очень трудолюбивы, а когда их за это хвалили – работали с удвоенным рвением. Дай такому палку – и он будет стругать ее до тех пор, пока она не станет, как огрызок карандаша. Может быть поэтому над нашей столлярной мастерской висел плакат – «В труде твое счастье, будущий мастер!» Их было очень легко подбить на какое-нибудь сомнительное дело. Это Барон уговорил одного из придурков украсть на кухне банку кильки, которую Эдуард оставил на могилке дворняжки, а Пионер съел. А потом кто-то из них по его же просьбе стащил из библиотеки настоятеля папку, в которой хранились истории болезней. В том числе и моя. Я называл ее «романом». Такое название нравилось мне даже больше, чем эпикриз. Из своего «романа» я надеялся узнать, кто я на самом деле и к какой важной миссии меня

готовят. Но почерк настоятеля был настолько неразборчив, что кроме своего имени и фамилии я смог прочитать всего два слова – термический ожог. Это хоть и подтверждало догадку о связи моего происхождения с небесным огнем, но не объясняло, откуда я взялся, почему нахожусь в обители и каково мое истинное предназначение. Папку пришлось вернуть обратно в библиотеку.

Меня, как выяснилось, поселили с «шизоэпилепсиками», припадочными. Вот с кем было по-настоящему интересно. Мы-то знали, что в нашу палату попадают только избранные, наиболее одаренные, прошедшие самый строгий отбор дети. Так утверждал Барон и мы охотно с этим соглашались, потому что разница между нами и прочими детьми была заметна невооруженным глазом. Правда, я не совсем понимал, как к нам затесался Пионер, но надо было признать, что и он был особенным.

Было еще несколько аутят. Эти всегда были одиноки, несчастны, боязливы, в общем, не от мира сего. Они смотрели на всех и на меня в том числе испуганно, даже как-то затравленно, а я не люблю, когда меня боятся. Аутята были мне не очень симпатичны, но я их не обижал.

Настоящим открытием для меня стало знакомство с девочками. Мне запомнилась Глашка, уже почти взрослая девица. Она была из отряда придурков и отличалась строптивым нравом. Ее трудно было назвать красавицей, но все мальчишки липли к ней, как будто у нее было медом нама-

зано. Я догадывался где, в каком месте, но мне было как-то стыдно об этом думать и я старался отгонять от себя эти греховные мысли. Она всем давала потрогать у себя, если ты дашь потрогать у себя. «Ты не думай, я не какая-нибудь, – говорила она, – у нас равноправие. За это еще Клара Цеткин боролась...» «А она, твоя Цеткин, давала потрогать?» – спрашивали у нее. «Отстаньте, дураки...» – шипела Глашка. У нас даже вошла в обиход поговорка, точнее отговорка, когда кто-то хотел кому-то в чем-то отказать. Например, если ты спрашиваешь – можно мне добавку компота? Тебе тут же отвечают – можно Глашку за ляжку. Это означает, что нет, нельзя. Без указания причин. Неясно было только одно: почему Глашку можно, а, к примеру, компот нельзя?

Настоятель объяснял такое Глашкино поведение бурно протекающим половым метаморфозом. Это если по-научному. Я не очень понимаю, что это такое, но, наверное, что-то не очень хорошее. У самой Глашки было другое объяснение. Она утверждала, что такая жизнь у нее началась неспроста. Что ее лишил невинности (получается, возвел напраслину, сделал в чем-то виноватой, как я тогда себе это представлял) какой-то очень важный начальник, чуть ли не всесоюзный староста Калинин. На съезде во Дворце Советов, где она подрабатывала официанткой. Вот на кого бы никто не подумал! Такой добрый старичок.

В общем, Глашке было нелегко с этим самым половым метаморфозом, но она справлялась.

Однако гораздо сильнее меня тянуло не к ней, а к другой девочке. Я не знал как ее зовут. Просто девочка и все тут. Она любила тишину и уединение. И все время что-то рисовала в своем альбоме. Глаза ее были похожи на васильки в солнечной траве и вся она была объята каким-то нежным, призрачным сиянием с оттенком алого. Когда я подходил к ней и спрашивал – «как тебя зовут и что ты рисуешь?» – она вся съеживалась и закрывала альбом. Но однажды сказала мне: «Природу». «А зачем?» – спросил я. «Мне нравится природа», – добавила она. Больше я не слышал от нее ни одного слова. А мне очень хотелось. У нее был такой приятный голос... Ну и сама она была красивая. Только тупая, как и все придурки.

Как-то я незаметно подошел к ней со спины и подсмотрел, что у нее там в альбоме. Это была березка. И на следующем листе березка. Я понял, что она рисует только березку, одну только березку, всегда одну и ту же. И подписывает каждый рисунок – Настя. Так я узнал, как ее зовут.

Чтобы Настю никто не обижал я решил ее защищать. Случай проявить себя представился очень скоро. Я хорошо, во всех подробностях запомнил этот день. После завтрака нас вывели погулять. Эдуард достал припрятанную в кустах большую штыковую лопату. Наверное, ее забыл кто-то из персонала после уборки территории.

– Я пойду в лес, – сказал он мне. – Только никому не говори...

– Зачем? – спросил я его. – Да еще с лопатой?

– Я хочу похоронить смерть. Как только я ее закопаю в черную землю люди перестанут переселяться в другие места. Все будут жить вместе – дети и их родители.

– А мне с тобой можно? – спросил я. – Я помогу тебе...

Он с радостью согласился. Ведь страшно маленькому мальчику одному идти в лес, чтобы похоронить смерть. Никому не под силу в одиночку справиться с таким трудным делом.

Далеко в чашу мы углубляться не стали, чтобы не заблудиться. Я вырыл небольшую ямку, Эдуард внимательно осмотрел ее и торжественно произнес:

– Прыгай, смерть, в свою могилу!

Я не мешкая ни минуты тут же зарыл ямку и опасливо спросил:

– Думаешь, она не выскочит?

– Не знаю. Если выскочит мы снова ее закопаем. И завалим сверху большим камнем.

На том мы и порешили. А когда вернулись в обитель, то увидели зареванную Настю, которая с беззвучным плачем бегала за Пионером, пытаясь отобрать у него свой альбом с березками. Пионер то убегал, то резко останавливался и вертелся юлой. И все время как-то подленько хихикал, дразнился и корчил рожи. Я, конечно, ринулся на выручку – догнал его и обеими руками вцепился в Настино сокровище. Пионер не поддавался. Я тоже. После недолгой борьбы альбом с

треском разорвался пополам. Мы с недоумением уставились каждый на свою половику, потом друг на друга, еще не понимая, что же произошло. Даже Настя перестала плакать – стояла как громом пораженная.

– Что ты наделал!?! – прошипел Пионер. – Это ты во всем виноват!

– А не надо было...

От волнения у меня перехватило дыхание, и я не смог больше вымолвить ни слова.

Пионер подлетел ко мне и с криком – получай, гнида! – ударил меня кулаком в лицо. Рот наполнился чем-то соленым. Я догадался, что это кровь. Моя кровь.

– Я всегда знал, что ты контра! – зло проговорил Пионер и обвел глазами невольных свидетелей этой сцены, как бы ища у них поддержки. – Еще хочешь? А? Хочешь еще?

Драться с Пионером было делом безнадежным – он был силен как бык и бахвалился этим при всяком удобном случае.

– Я боженьке скажу и он тебя накажет. А я не буду, тебя боженька накажет... – сказал я, прижимая рукав ко рту.

Не знаю, откуда я взял такие слова, они сами откуда-то взялись – никогда прежде я никого не пугал и не пытался вразумить страдальцем с распятия.

– Плевал я на твоего боженьку, – рассмеялся Пионер деревянным смехом. И для верности пнул меня ногой.

Тут надо сказать, что иногда я вижу то, чего нет, но бу-

дет, и вижу не так, как это будет, а как-то по-другому, словно сквозь мутное бутылочное стекло. И это не совсем то, что сбудется. Но и не совсем другое, а что-то похожее. В том момент мне показалось, что вместо руки у Пионера какая-то культя, напоминающая веретено с клубком льна.

В тот же день Пионер, изображая ледокольный пароход «Таймыр», спасающий папанинцев, долбанулся головой об телеграфный столб. Но этого ему показалось мало: он залез на дерево, на котором у него был оборудован наблюдательный пункт, свалился с него и сломал руку. Как раз ту, которой меня ударил. С этого дня как отрезало: он перестал цепляться ко мне и вообще старался обходить меня стороной.

А Настин альбом я потом склеил и отдал ей. Никогда не забуду сияние ее благодарных глаз. В них была такая бескрайняя синева, что казалось, будто само небо заглядывает тебе в душу. Теперь не проходило и дня, чтобы мы не были вместе. Настя позволяла мне смотреть, как она рисует. Но разговорчивее не стала – мы по-прежнему переговаривались только взглядами и жестами. Потом я узнал: у нее мутизм. Это когда человек может говорить, но почему-то не хочет. Настя не хотела. А если и разговаривала, то только сама с собой.

Со мной тоже не все было ладно – я не перестал внезапно пропадать и появляться в самых неожиданных местах. Я блуждал по каким-то темным лабиринтам и тоннелям, нырял в барсучьи норы, выпадал из солнечного дня в сумрак

ночи, потом снова возвращался и ничего уже не помнил – где я был, почему оказался именно здесь и сколько времени прошло, пока я отсутствовал. Знаю только одно – во всех своих странствиях я пытался найти причину тьмы и открыть источник огня, который представлялся мне в виде мерно полыхающего цветка под мертвыми часами с остановившимися стрелками. Я очень хотел и очень боялся этого, боялся, что найдя его, не смогу вернуться обратно, потому что окажусь внутри наплывающего на меня огненного шара и сгорю дотла...

Еще я иногда разговаривал с тем, кто исчезает, когда на него посмотришь. Вот он вроде бы есть и даже слушает, что ты ему говоришь. А стоит оглянуться – и нет его, словно и не было. Тот, кто исчезает может принимать любые обличия, какие захочешь. Но лишь до тех пор, пока ты его не видишь. Или вот еще как бывает: к тебе идет вроде бы один человек, а приходит другой. То есть пока он идет он становится другим – не тем, кого ты ждал и кого заметил издалека. Но такое случалось нечасто.

Так бы все и продолжалось, но пришла война. Сначала мы не поняли, что она пришла. Ну пришла и пришла. Что-то там прокаркал репродуктор и все разошлись по своим палатам ждать планового обхода или полдника. А когда все грозно загудело, задрожало и заухало, когда появились медленно ползущие по небу самолеты, от которых стали отделяться похожие на муравьев черные точки, мы поняли, что она уже

здесь – в каждом метре земли, в каждой капле воды, в каждом глотке воздуха. Как смерть, которую невозможно закопать, как бы ни старался Эдуард. Которая пронизывает все и необратимо присутствует повсюду. И живет во всем живом, постепенно делая его мертвым.

Да, это была война. И она убивала все. Как злая колдунья, которая, к чему бы она ни прикасалась, все превращала в дым, смрад и пепел, в кровавую кашу, груды искореженно-го металла и тлеющих головешек. От нее нельзя было спрятаться. И тогда я понял, что мир перевернулся. Стало очень, очень страшно. Просто до жути.

Но тогда я еще не знал всего этого. Не понимал, к чему все идет.

Как-то утром настоятель собрал у крыльца персонал, объявил, что Советы окончательно разгромлены, Сталин убежал обратно в горы и все теперь свободны. Каждый может идти куда хочет. Хоть на хутор бабочек ловить. Еще он сказал, что через считанные часы сюда придут доиче зольдатен. После чего сел в автомобиль и укатил за линию горизонта – туда, откуда каждое утро встает солнце...

Днем через нашу обитель прошла вереница людей в грязной, истерзанной, словно побывавшей в зубах голодной волчьей стаи военной форме. Все они были до предела измучены, как будто наглотались какого-то горького дыма, и еле брели под тяжестью чего-то непосильного, словно на их плечи легла вся тяжесть поражения, которое терпела Красная

Армия на всех фронтах. Бинт в бурых пятнах крови у одного из них трепетал на ветру, словно ленточка бескозырки, у другого серпантинном волочился по земле. Штык на винтовке замыкающего красноармейца был обломан. Кто-то сказал, что это наши.

К вечеру все как будто стихло, лишь отдаленный грохот канонады напоминал о том, что война все еще продолжается. Мы-то надеялись, что она продлится только до ужина и обойдет нас стороной. И все будет как прежде.

Дети, оставшиеся без попечения взрослых, повели себя по-разному. Придурки немного поволновались и утихли, аутята попрыгали кто где, Пионер обрадовался и стал строить планы обороны странноприимного дома, а Барон не на шутку запаниковал.

Он все твердил, что близится катастрофа. Что мы изгнаны из детства, как из рая, выброшены в этот мир, будто выкидыши из утробы матери. До сих пор мы не знали, не понимали, что находимся в раю. Нам никто не объяснил этого и не рассказал, что все может быть иначе. Ныне же он прозрел и сделал страшное открытие: наши бескрылые ангелы разлетелись кто куда. Мы брошены на произвол судьбы.

– Что теперь с нами будет? Кто будет кормить нас кашей, менять нам простыни, просить показать язык и водить на процедуры? – спрашивал он, с отчаянием глядя в ту сторону, откуда должны были появиться «доиче зольдатен».

И только Эдуард, самый маленький из нас, сохранял спо-

койствие. Он был уверен, что смерть теперь не может сделать без его разрешения ни шагу. А если так, то скоро придет его мама, которая всегда накормит, напоит, спать уложит и расскажет на ночь сказку. Прискачет на лихом коне папа и накостыляет всем почем зря. Война прекратится и снова воцарится мир.

Меня же обуревали противоречивые чувства. Несмотря на страх перед неизвестностью я сгорал от любопытства – что же будет дальше? Казалось, теперь должно начаться что-то очень важное, значительное, какая-то новая полоса жизни, не похожая на ту детскую песочницу, в которой мы до сих пор ковырялись.

На ужин никто нас не звал, поэтому мы сами проникли на кухню, выпотрошили первый попавшийся мешок, вволю наелись сухофруктов и запили все этой водой из-под крана. После этого я пошел на мусорку, куда была выброшена вся библиотека из кабинета настоятеля. Там я нашел свой «роман». Еще я подобрал Настину историю болезни. В ней было написано про какого-то аутистического психопата. Я не понял, какое отношение это имеет к Насте. Скорее всего, решил я, под этим именем скрывается ее брат, родственник или какой-то вредный тип вроде нашего Пионера.

Я нашел Настю под кушеткой в процедурной и кое-как уговорил ее вылезти оттуда. И чтобы как-то отвлечь ее от ужаса, который плескался в ее огромных глазах спросил:

– А хочешь я дам почитать тебе свой «роман»?

Но ей было не до этого – она дрожала, как осиновый лист.

– Может, пойдём погуляем? Порисуем березку?

Она судорожно замотала головой.

Тогда чтобы немного развеселить ее я загадал ей загадку, которую придумал сам. У мальчика было три конфетки «Мишка на Севере». Одну он отдал девочке. Сколько конфеток осталось у мальчика?

Ответ простой. Ни одной. Потому что две другие конфетки он отдал двум другим девочкам.

Но Настя даже не улыбнулась.

– Может, поешь немного?

Я протянул ей горсть сушеных яблок с изюмом и черносливом. Но и от этого она отказалась. Тогда я сел на кушетку рядом с ней и стал думать какую-то важную мысль, которую не успел додумать до конца. Это была мысль про войну – что она такое и почему это с нами случилось. Может, потому, что мы плохо себя вели? Так, например, считал Эдуард, который все наши беды списывал на плохое поведение детей. А может кто-то там, в государстве, что-то недосмотрел, с кем-то из другого государства не поделил одну очень нужную вещь и теперь дерется, чтобы ее отобрать? И что делать мне, Насте, всем нам? Просто подождать, чем все закончится или разбежаться кто куда пока не поздно? Или как подзуживал нас Пионер вооружиться метлами, граблями и лопатами, чтобы отбить нападение коварного врага?

Вопросы, вопросы...

От мысли про войну у меня разболелась голова. Потом захотелось спать. Так мы и уснули в ту ночь на кушетке с Настей. А когда настало утро слышали за окном тарыхтение мотоциклов и незнакомую лающую речь.

– Не-немцы! – сказал забежавший в процедурную Барон. Лицо у него было белое, как лист в Настинном альбоме.

– А что надо делать, когда немцы? – спросил я, но Барона уже и след простыл.

Оказалось, что они сами знают, что нам делать, потому что они немцы, а немцы всегда знают, что и кому делать. Такой правильный они народ. И этот народ, как мы убедились сами, состоял из одних только военных. Никаких женщин, детей, стариков и старух с ними не было.

Самого первого немца мы с Настей увидели в коридоре, куда выглянули из процедурной. Он был рыжий, взъерошенный и какой-то несерьезный, что-то требовательно кричал, как будто понарошку сердился, но мы не понимали, чего он хочет. Потом по движению его рук и ствола игрушечного автомата, висевшего у него на шее, поняли, что он выгоняет нас на улицу, где было построение.

Там в неровных шеренгах уже стояли все обитатели странноприимного дома. Не было только настоятеля и персонала. Перед строем ходил герр офицер с пауком на рукаве. Он был очень красивый в своей хорошо подогнанной форме и старался казаться добрым. Но я почему-то боялся его доброты. Все боялись. Мне казалось, что внутри он злой. Когда он

смотрел на тебя своими острыми льдистыми глазами ты как будто весь покрывался инеем.

– Я есть оберлейтнант Декстер, – сказал он и обвел детей рассеянным, парящим над их головами взглядом. – Теперь я есть ваш самый главный здесь...

Он посмотрел на Пионера, который старательно вытянув шею, с бессмысленной улыбкой смотрел ему в рот.

– Мальшик, убери свой улибашка. Слушать карашо, без улибашка, – строго сказал ему Декстер и поправил на рукаве паука. Когда он подошел поближе, я обратил внимание, что вся форма и головной убор были у него в крестах и более мелких паучатах. Еще я заметил орла и понял, на кого похож герр офицер. На хищную птицу с загнутым клювом. Пошады от такой не жди.

– Жить будете тот сараюшка, – продолжал Декстер, показывая на сторожку возле дороги, где уже был установлен шлагбаум и стоял часовой. – Питаться обедки немецкий кухня... Кто нарушать правила тот будем сурово наказать... Все теперь понятно? Ауфидерзейн, мои маленькие келлеркиндер...

– Что он сказал? – спросил я Барона.

– Он сказал до свидания, земляные дети. Или дети подземелья...

Декстер услышал это и, обернувшись, приказал ему выйти из строя.

– Шпрехен зи дойч?

– Я, г-господин офицер, – испуганно пробормотал Барон. – Так точно.

– Будешь переводилка ваш варварский язык.

Когда Декстер ушел Барон победоносно посмотрел на Пионера, которого никто не назначил «переводилкой», а значит, такого же бедолагу как и все. Прокашлявшись, он неуверенно произнес:

– Прошу следовать за мной в с-сторожку.

Ближе к вечеру нам принесли кастрюлю с какой-то бурдой – одну на всех, раздали ложки и после ужина разрешили перенести в «сараяшку» несколько кроватей с матрасами. Мы набились туда кучей-малой и заночевали. Было даже интересно, потому что впервые мы были предоставлены сами себе и никому не было до нас дела.

Так началась наша новая жизнь. С утра до вечера нас заставляли работать – мыть полы, убирать мусор, стирать обмундирование. Мы стали замечать, что немцы очень разные, хотя и одеты одинаково. Среди них есть добрые и не очень, есть равнодушные, веселые и грустные, однако попадаютя и настоящие злыдни, у которых лучше не путаться под ногами. Они тоже стали отличать одних детей от других. Придурки были у них дункопф, аутята – энгель, то есть ангелочки, а мы – Барон, Пионер, Эдуард и я – вершробен, чудики. В общем, все придурки были как придурки, только мы со странностями. Чудики, одним словом.

Глашка была сама по себе. Ее поселили в одной из палат,

где квартировали солдаты. И кормили не из общей кастрюли с «обедками», а отдельно. Мы догадывались, что не за просто так, а потому что она давала себя потрогать, ущипнуть или хлопнуть по задку. Глашка была довольна и стала еще глаже, чем была. Но не зазналась и не перестала с нами водиться. И даже иногда угощала нас украденным из столовой странным хлебом под названием кнакеброт, «гороховой колбасой» и даже диковинным вареньем – джемом.

Только мы привыкли к новому порядку, как приехали люди с черепами на форме и все перевернули вверх дном. Эти были в сто раз хуже наших. Мне они сразу не понравились.

Я хорошо помню этот день. Помню, во поле березка стояла, во поле кудрявая стояла. Та самая, которую любила рисовать Настя. И вот пришли они. У них не было с собой топора, поэтому в ход пошел игрушечный автомат, который щелкал, как трещотка или кнут пастуха, только гораздо громче и сноровистее. Одна очередь – и мое любимое деревцо срезало, как ножом. И вот что удивительно: стреляли в березку, а больно было мне. Очень больно. Так что я даже заплакал от боли. И от чего-то еще. Наверное, от того, что я не мог заступиться за нее, защитить от беды. Что теперь будет рисовать Настя?

Один из них то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что если хочешь научиться убивать русских – начни с их берез. В них души русских...

А березка им была нужна для веника. Мести двор.

Барон объяснил мне, что это эсэсовцы. Но это ничего не объясняло. Меня неотступно преследовал вопрос: зачем?

Настя полночи проплакала, а наутро всем сидельцам обители снова объявили построение, после которого ее и меня разлучили навсегда. Тех, кто был постарше отобрали в одну группу, а тех, кто помладше в другую, в которой оказались и Настя, и Эдуард. Сначала в эту группу определили и меня, но Барон сказал Декстеру, что уже целый месяц обучает меня немецкому языку, чтобы у нас был не один «переводилка», а целых два. И меня вернули обратно, хотя с немецким у меня с самого начала не заладилось: отдельные слова я научился понимать, а предложения не очень.

«Малышей» собрали в отряд и под присмотром эсэсовцев, которые накануне заломали березку отправили в лес. Наверное, по грибы и ягоды, подумал я, – их в этих местах в конце августа видимо-невидимо. Да, это было в конце августа, потому что Декстеру кто-то сообщил по телефону, что пал великий Нова-град. Герр офицер поделился этой новостью с Бароном, а Барон с нами.

Назад солдаты СС вернулись одни, без детей. И сразу сели во дворе чистить оружие. Нам сказали, что малышей отправили в киндергартен – детский сад, где им будет хорошо, а из нас с сегодняшнего дня будут делать настоящих разведчиков и диверсантов. Об этом нам объявил Декстер.

– Я же говорил, что мы не психи, как некоторые, а особо одаренные личности. И нас готовят для важного секретного

за-задания, – торжествовал Барон.

Вечером его вызвал Декстер и о чем-то долго с ним разговаривал. Вернулся Барон взволнованный и какой-то дерганый. Я сразу же кинулся к нему с расспросами. Пионер делал вид, что ему ни чуточки не интересно, но на самом деле его распирало от любопытства.

– Ну что, что он тебе сказал?

– Что он мой шутцэнгель, ангел-хранитель. И если я буду делать все, как он велит ничего плохого со мной не случится.

– Подумаешь, ангел-хранитель, – встрял Пионер. – Мне вон поручено заниматься с вами дураками строевой подготовкой. Каждый день по два часа... Меня тоже вызывали. Со мной тоже разговаривали... Мне доверяют...

– А мне поручено возглавить десант. В него войдут все, кто остался. И ты тоже...

Пионер надул губы, но ничего не ответил – отвернулся к окну и стал разглядывать какую-то птичку на ветке.

– Я еще не понял, чем мы будем за-заниматься, – продолжал Барон. – Декстер потом скажет. Но когда я сидел и ждал его под дверью кабинета, то подслушал его разговор с одним эсэсовским н-н-начальником. Они громко спорили. Про психиатрические больницы в полосе группы армий «Север». Если я правильно перевел. Эсэсовец кричал, что необходимо окончательное решение этого вопроса. И что это дело п-партийных принципов. Потому что душевнобольные неисцелимы и представляют угрозу безопасности. Кому-то там...

Я не понял кому. Еще он требовал освободить какую-то лечебницу. Якобы для штаба б-батальона СС. Декстер возражал. Он говорил, что в ней располагается Абвергруппа-212 и дети ему нужны. В общем, – подвел итог Барон, – ничего пока не ясно. Это ведь не про нас? Мы ведь десант?

– Ну да, – сказал я.

– А придурки тоже десант?– оживился Пионер.

– П-получается, что тоже. Но они как бы наше прикрытие. На всякий случай. Вдруг надо будет что-то поднять, перетащить, выкопать или наоборот – закопать. Вот тут-то они и по-понадобятся... Они просто рабочая сила. Типа выючных ослов... А кто ослу доверит оружие? Он же осел...

– А...

– Еще Декстер сказал, что если я справлюсь, он отправит меня в школу подростков-диверсантов в местечке Гемфурт. Там меня будут обучать подрывному делу и каждый день кормить шоколадом. Я попрошу его, чтобы нас вместе туда послали...

– И меня пошлют. Еще раньше вас, – снова встрял в наш разговор Пионер. – Как только мы выполним первое ответственное задание...

Но то, к чему нас начали готовить под руководством Декстера не было похоже на спецподготовку к диверсионной работе, как я себе это представлял со слов того же Барона. Все началось с обучения строевым приемам без оружия. «Для армейский спайка», – пояснил герр офицер.

Пионер не обманул – его действительно назначили командовать нашим придурочным отрядом. Придурочным, потому что состоял он, в основном, из придурков – их было четверо, нас двое и Пионер, которого Барон считал самым главным, законченным придурком.

– Ахтунг! – лез из кожи Пионер. – Цу цвай! Шаго-о-ом арш!

Мы становились в колонну по два и невпопад маршировали по пыльному двору.

– Цу драй! – орал Пионер, багровея от напряжения, и матерился, как сапожник.

Мы суетливо и бестолково перестраивались в колонну по три и старательно, не попадая в ногу, топали в противоположном направлении. Посмотреть на нас собирались десятки солдат. Они громко хохотали, выкрикивали непонятные нам словечки и одобрительно хлопали в ладоши. Один раз кто-то повесил на шею Пионеру шмайсер с раскуроченным стволом.

– Ты есть комиссар. Мы будем делать тебя пиф-паф! – сказали ему.

Пионер, довольный тем, что на него обратили внимание, с еще большим усердием стал подавать строевые команды и обкладывать нас трехэтажным матом. С этого дня он не расставался со своим кривоствольным автоматом и даже спал с ним в обнимку.

Потом нам все-таки объяснили, к чему вся эта катавасия.

Декстер собрал нас в своем кабинете и сказал, что скоро нам предстоит совершить марш пешим порядком к железнодорожному мосту через реку Ловать. Над этим мостом глубокой ночью будут пролетать самолеты.

– Там будут ваши мутер...

– М-м-мамы, – подсказал Барон.

– Да, ваши мамы, – подтвердил Декстер.

Придурки вострепились и наострили уши. Мама? Они давно мечтали о том, чтобы нашлись, наконец, их потерявшиеся где-то мамы. Чтобы за ними, наконец, пришли. Чтобы поскорее забрали их домой.

– Но как они узнают, что мы здесь, у м-моста? – робко спросил Барон. И тут же, спохватившись, перевел эту фразу на немецкий.

А все было очень просто. Каждому члену группы выдадут ракетницу. И как только послышится гул самолетов, надо будет выстрелить в небо сигнальной ракетой. Мама увидят этот разноцветный салют и сразу поймут, где искать своих детей. И спустятся к ним, чтобы забрать их с собой.

Лица придурков, до этого настороженные и даже испуганные, наполнились светом, как будто одно за другим зажглись окна в большом доме.

Я тоже воспрянул духом, но сразу задался вопросом: с небес сойдет одна мама, одна на всех или каждому своя? Я бы очень хотел, чтобы ко мне сошла именно моя мама. Еще мне было непонятно: моя мама прыгнет с парашютом, спу-

ститися с неба по веревочной лестнице или слезет по канату? И как я узнаю ее, ведь я не помню, как она выглядит?

Спросить я постеснялся, а герр офицер ничего не стал уточнять. Он сказал: ждите дальнейших указаний. И учитесь зажигать звезды. Оставшиеся время будет посвящено именно этому.

– Какие мамы? На каких самолетах? Они что – с ума там все п-п-посходили? – бормотал Барон себе под нос, когда мы возвращались в сторожку. Кажется, он один не поверил Декстеру. Однако своими сомнениями ни с кем делиться не стал. Ведь командир должен излучать уверенность и думать о том, как лучше выполнить приказ командования.

Дальше началось самое интересное – практические занятия. Запускать ракету мне понравилось: она с шипением возносилась в ночное небо и рассыпалась на три разноцветных мерцающих цветка, которые вскоре гасли в темноте. У меня и Барона это получилось с первого раза. Зато Пионер с придурками пуляли куда попало и однажды чуть не подстрелили Декстера. Взбешенный герр офицер попинал их ногами, надавал по мордасам, потом еще раз подробно объяснил, как нужно держать ракетницу, за что дергать и куда направлять. Вскоре и у них стало получаться.

На этом обучение закончилось. Каждому из нас выдали сидор – красноармейский вещь-мешок с четырьмя ракетницами и сухим пайком немецкого парашютиста, напичканным всякой всячиной. Там были мясные и рыбные консервы, бу-

льон «Maggi» в кубиках, упаковка сыра, маршгетранк – сухой лимонад, какая-то штука вместо сахара и главное наше богатство – шоколадный батончик. Особый восторг вызвала специальная чудо-резинка, которую можно было долго-долго жевать.

С нее мы и начали наше знакомство со специальным рационом. Больше всего жвачка понравилась придуркам – они лезли пальцами в рот, вытягивали ее в тягучую клейкую нить, потом совали обратно и почти непрерывно смеялись. Пионер начал лопать сардины, закусывая их шоколадом. Я тоже кинулся пробовать все и сразу, отчего у меня тут же заболел живот. Сдержанность проявил только Барон. Он внимательно осмотрел содержимое вещь-мешка и, ни к кому не обращаясь, спросил: а почему нам не выдали парашюты? Я понял, что он не просто так интересуется, а как настоящий командир десанта хочет все заранее предусмотреть.

К огорчению Барона парашютами нас так и не снабдили. А из оружия был только шмайсер Пионера, которым нельзя было испугать даже ворону. Но мы-то знали, что простая ракетница в опытных руках может быть страшнее пистолета. Все мы видели, как переполошился Декстер, когда над его головой просвистел огненный хвост ракеты...

Нас подняли рано утром. Мы позавтракали консервами из сидора и отправились в путь – сначала на машине с открытым верхом, потом пешком. Декстер завел нас в какую-то глухомань и почти шепотом сказал:

– Дальше идти сами. Стрелять, когда совсем темно и полетит самолеты. Все понимайт?

– Яволь! – громко ответил за всех Пионер и тут же получил затрещину.

– Быть тихо, соблюдать маскировка, – прошипел герр офицер. – Пускать ракета только по мост...

– Яволь, – прошептал Пионер и втянул голову в плечи.

Я понял, почему он отвечает за всех – ему до смерти хотелось быть главным диверсантом. Барон, чтобы показать, кто тут настоящий командир, спросил Декстера:

– П-почему мы должны стрелять только по м-мосту?

– Туда приземлится на самолет ваш муттер. Прямо на мост...

– Яволь, – опять подал голос Пионер.

– А теперь вперед, в тот березовый куст, – Декстер показал рукой в направлении рощицы, которая выступала из леса. Недалеко от нее был железнодорожный мост через Ловать. – Ауфидерзеен, киндер.

И герр офицер исчез. А мы пошли по опушке леса к соседней рощице. Чем ближе мы подходили к ней, тем больше я волновался. Когда я вижу березку – то сразу начинаю думать о Насте. Чтобы не думать о Насте, нужно, чтобы на земле не осталось ни одной березки. Но даже после этого я все равно буду думать о Насте. Березки тут уже не причем...

Мне стало так грустно, что я даже забыл поесть – у меня в сидоре еще что-то оставалось, кажется, кнакеброт и бульон-

ные кубики. Этими кубиками я хотел угостить маму. Или кто там прилетит вместо нее. Я верил и не верил, что такое возможно. Верил, потому что так и должно быть. Не верил, потому что Декстер никогда не скажет правду, что бы он ни говорил. Я был уверен, что герр офицер злой человек. Злой и холодный, как льдышка, упавшая за шиворот.

Незаметно я задремал. Мне снилась Настя. Она что-то говорила мне – много, взхлеб, почти не переставая. Во сне она была ужасной болтушкой и мне это нравилось. Она говорила, что должна внимательно следить за своим дыханием, чтобы не забыть, как дышать. Обязательно делать вдох. А потом выдох. Ведь если она забудет сделать это, то попросту умрет. А ей не хочется умирать...

Проснулся я когда уже смеркалось. Со стороны моста доносился шум моторов и лязг гусениц. Танки! Эти стальные чудовища с торчащими из башен хоботами я раньше видел только на картинке – они совсем не были похожи на стоптанные тапки, которыми мы играли в войнушку. Отовсюду к переправе шли, бежали, ехали, понуро плелись люди в красноармейской форме и гражданской одежде, раздавались какие-то команды, крики, возгласы, ржание лошадей.

Когда стало совсем темно послышался нарастающий гул.
– Это наши мамы, – засуетились придурки и стали обшаривать свои вещь-мешки в поисках ракетниц.

– П-подождите, рано, – сказал Барон. – Они еще далеко...
Было видно, что ему самому не терпится поскорее паль-

нуть.

– Ничего не рано! – возразил Пионер и выпустил первую ракету. Огненный шлейф устремился к ближнему пролету моста. Ракета, не долетев, ударилась о насыпь, сверкнула снопом разлетающихся искр и погасла. Вслед за ней полетели другие. Над нашими головами тут же зацвели птички. Никогда не думал, что они не спят по ночам...

Я никак не мог найти свой сидор – наверное, какой-то горе-диверсант забрал его вместо своего. И потому опоздал в атаку. Вообще-то в нее нас никто не посылал – все это затеял Пионер. Как говорится, заставь дурака богу молиться...

Он выстрелил из второй ракетницы и закричал:

– За Родину! За Сталина! Ура!

– Ура! – слабо подхватил кто-то из придурков.

И они побежали вперед, выстреливая на ходу, падая и поднимаясь снова.

– Кто скажет, где моя мама? – лепетал какой-то бедолага, отставший от своих товарищей.

– К-куда же вы? Назад! – попытался образумить их Барон и, с досадой махнув рукой, заторопился следом.

А потом началось такое, что я забыл где я, что я и как сюда попал. На нас обрушилась огнедышащая лава, ревущая, как огромный, до неба водопад и все утонуло в потоках пламени, клубках черного дыма и каких-то горящих обломках. Казалось, будто взорвался большущий костер и земная твердь раскололась надвое, чтобы поглотить все живое. Я оглох,

ослеп, оцепенел от ужаса. Не знаю, сколько это длилось. Может быть мгновение. А может целые века. Но когда все перестало содрогаться, грохотать и ходить ходуном, когда навалилась мертвецкая тишина я понял, что меня уже нет...

То, что от меня осталось трудно было назвать мной – я никак не мог себя собрать, не мог стать прежним. От меня прежнего сохранилась лишь выжженная пустая оболочка. Я был звоном в ушах, болью в груди, плачем в ночи. Я был звериным воем, шелестящей травой, дуновением ветра. Я был всем этим и одновременно ничем из того, что когда-то было мной...

Утром открылась ужасающая картина – разрушенный мост, груды искореженного металла и неподвижные фигурки изуродованных людей, разбросанных по изрытой воронками земле тут и там. Самолета с мамами нигде не было видно. Никакие мамы никуда не прилетели. Декстер обманул нас.

И как-то внезапно я просел, внутренне осунулся, постарел душой на целую вечность и перестал быть всемогущим, потеряв всесильную детскую веру в то, что мир добр, а завтрашний день непременно окажется лучше, чем вчерашний. И все будет хорошо.

Нет, уже не будет. Теперь уже нет.

Пионера разметало по всему полю – я понял это по обрывкам его одежды. От Барона осталась верхняя половина тела, я ее потом присыпал землей, а от нижней – только ботинок.

Как только стало ясно, что кроме меня здесь никого нет

я сел на поваленное дерево и стал смотреть, как падают листья. И просидел так до самой зимы. А когда выпал первый снег пошел искать деревню Пустыня, где жила баба Тоня. Возвращаться в обитель было нельзя – там меня поджидал Декстер. Да мне уже и не хотелось туда.

Было очень холодно. У одного убитого красноармейца из разбомбленного обоза я взял шинель, свернутую в скатку, и закутался в нее с ног до головы. Сверху надел пилотку, которая сразу съехала мне на уши. Набил вещь-мешок ничейными теперь уже сухарями и побрел наугад, не разбирая дороги. У разрушенного моста я наткнулся на сломанную телегу, лежавшую кверху колесами. В ней нашел уцелевшую книгу, которая называлась «Сказание о житии и чудесах преподобного Михаила Христа ради юродиваго, прожившаго в обители Живоначальные Троицы, на месте нарицаемом Клопско, в области великаго Нова-града». И обгоревшую по краям икону с ликом младенца Иисуса Христа. Я почему-то сразу понял, кто это. И даже вспомнил, что видел его когда-то – давным-давно, когда был еще совсем маленьким. На огромной, как ворота храма иконе вместе с Богородицей. Со мной ли это было? Я не знал. Теперь все, что произошло недавно виделось как в тумане. Зато в памяти начали всплывать какие-то другие, забытые воспоминания. Я не был уверен, что они принадлежат мне, а не какому-то другому человеку. Вот я молюсь перед алтарем, а рядом священник, который потечески держит свою руку на моем плече, вот иконостас,

будто увешанный орденами и медалями китель заслуженного генерала, а на нем – боженька, который спасет и сохранит, вот просвира, блаженно тающая во рту... И только церквушка моя на холме осталась, как и была – в ясную погоду озорница и моргунья, в ненастную тихушница и соня, каких поискать.

Долго ли коротко шел я от деревни к деревне в поисках теплого угла и хлеба насущного сказать не могу. Добрые люди не дали мне замерзнуть и помереть с голоду. Никто меня не прогонял, все предлагали остаться до поры до времени, но рано или поздно я срывался и шел дальше, чтобы найти вожденную мою Пустыню. Все свободное время, когда я не помогал по хозяйству людям, приютившим меня, я читал житие Михаила Клопского, инока свята от вельможска роду, который днем ходя по стогнам града, творяше юродство, ношью же моляся Богу и за обличение нечестия терпя от люда одержимого пхание и биение...

Больше всего мне нравилось место, где было сказано о том, как после отшествия праведника ко Господу потекли от его мощей потоки чудес, дарующих слепым прозрение, хромым хождение, сляченным исправление, болящим исцеление, сломленным от бед и скорбей избавление, а печальным утешение...

И стала как-то забываться моя прежняя жизнь и все, что меня окружало когда-то. И уже начинало мне казаться, что житие это не столько о Михаиле Клопском, сколько обо мне

самом, и в книжке этой расписаны наперед все дни мои, и сказано, как все завязалось и как развяжется, и чем душа моя успокоится, когда пробьет час держать последний ответ. И говорил я, уходя от молящихся обо мне словами Святого Михаила, Христа ради юродивого, который, предчувствуя свою кончину, молвил: «Прощайте, далеко иду». И отвечали мне: «Ступай, чадо, с миром – примут тебя с любовью»...

В годы войны этот город был стерт с лица земли, но каким-то непостижимым образом возродился и даже сумел сохранить печать старорусского духа, приметы исконного быта и нетленной старины.

И снова у него возникло тоскливое и вместе с тем сладостное чувство, что какими-то узами, гораздо более давними и прочными, чем те, что установились за краткое время его пребывания в Старой Руссе он связан с этим городом, словно жил в нем когда-то, любил и быть может даже умер, но жил и любил трудно, а умер преждевременно.

Дойдя до гостиницы, Садовский решил не откладывая дело в долгий ящик снять номер. Он вошел в затемненный гостиничный холл и увидел за стойкой дежурную – миниатюрную блондинку, чем-то похожую на стареющую Мальвину. Женщина-администратор, сидевшая рядом, была почти точной копией Петра Порошенко – сходство усиливала короткая «каракулевая» стрижка, борцовская шея и чуть отрешенный взгляд водянистых глаз. Мелькнула шальная

мысль: а может экс-президент независимой, переодевшись в женщину, скрывается здесь от уголовного преследования? Но монументальная грудь напрочь отметала всякие домыслы о гендерной принадлежности администратора и не оставляла камня на камне от досужих конспирологических измышлений. «Слишком много узнаваемых лиц, – устало подумал Садовский. – Как бы эта комедия масок не превратилась в комедию положений...»

– Здоровеньки булы, – на всякий случай поздоровался он.

– О, еще один хохол отыскался. Сколько вас сюда понаехало? – фыркнула женщина-администратор.

– А что, есть еще кто-то?

– Да вселился тут один с группой копателей. Хлопец с Запорижжя, – скривилась она. – Чистый бандера...

– Не, мы с Урала...

– Ну с Урала так с Урала, – игриво произнесла Мальвина и протянула ему бланк. – Заполните...

Он сел у окна на низенький диванчик из кожзама и стал безжалостно дырявить казенной авторучкой предложенную ему анкету. На пункте «цель поездки» случилась заминка. Командировка? Отпуск? Ни один из предложенных вариантов ему не подходил. Он давно уже находился в том подвешенном состоянии, которое можно было охарактеризовать как бессрочный отпуск. Или затянувшуюся командировку.

Действительно, задумался Садовский, зачем он здесь, с какой целью? Конечно, для того, чтобы узнать, где и как по-

гиб его дед-уралец, по возможности, найти и со всеми подobaющими почестями предать земле его останки. Вечная память...

Наверное, в истории каждой семьи есть такой былинный предок, который один на один выходил с рогатиной на медведя, заворачивал узлом кочергу и выпивал штоф водки, не пьянея. Как правило, это ничем не подкрепленная легенда. Но дед Садовского, как гласило семейное предание, был именно таким чудо-богатырем. Что правда то правда. Однако не спасла его ни силушка богатырская, ни нательный крестик, подаренный бабкой, ни заговор от пуля.

Была и другая, не столь очевидная причина, заставившая его пуститься в путь. Он вдруг остро почувствовал, что в нем накопилось слишком много прошлого. Достигнув критической массы, оно грозило обрушиться настоящее и подмять под себя будущее. И эта поездка, как ему казалось, могла помочь ему забыться и если не стать, то хотя бы почувствовать себя кем-то другим.

Садовский не стал заполнять соответствующую графу, отдал анкету и без лишних вопросов получил ключи от номера с отлакированной множеством рук деревянной грушей. «Хоть так, раз уж не получилось остановиться в доме какой-нибудь Грушеньки...»

Теперь нужно было позаботиться о стойле для его железного коня. Вернувшись на набережную, он обнаружил у своего автомобиля толпу рушан, с интересом разглядывавших

этот реликт бандитского Петербурга. Подойти к нему ближе чем на расстояние вытянутой руки никто не решался. Как отметил Садовский, любопытствующих было даже больше, чем туристов у колокольни. Увидев его, они начали расходиться, а когда он стал заводить свой грозный драндулет, зевак как ветром сдуло.

«Деликатные люди», – подумал он и вырулил с обочины.

Бодро выстреливая выхлопами и утробно рыча двигателем, его джип неторопливо покатил по Живому мосту.

Прежде чем подняться в номер, чтобы отдохнуть с дороги и без помех обдумать план своих дальнейших действий он решил постричься. Но дверь в гостиничную парикмахерскую была наглухо закрыта. Он подергал ручку.

– Не надо ломать дверь, – тут же всполошилась женщина-администратор.

– Они по субботам не работают, – жеманно улыбаясь, подала голос из-за стойки Мальвина, разговаривавшая в это время с какой-то молодой брюнеткой в розовом худи с капюшоном и обтягивающих джинсах. «А вот и вторая пара», – подумал Садовский, покосившись на ее ноги. Его «незаметный» взгляд не остался незамеченным. Незнакомка приветливо посмотрела на него и сказала:

– Я могу решить вашу проблему...

– Мне бы кудри завить и усы веленовой бумагой обернуть...

– Любой каприз за ваши деньги, – улыбнулась она и пред-

ложила сделать модельную прическу.

Без изысков.

У себя в номере.

Совершенно бесплатно.

Он, конечно, охотно согласился. А кто бы на его месте отказался?

– Жду вас через десять минут, – на ходу бросила она. И назвала номер.

Выждав положенное время, он постучался в указанную дверь. Его встретила другая женщина, пониже, постарше и заметно покруглее. Розовая толстовка подруги-брюнетки с карманом-кенгуру подошла бы к ее вздернутому носику больше. Возможно, они носили ее попеременно.

– Садитесь, Юлька сейчас выйдет из душа, – сказала она и указала на стул посреди комнаты, на спинке которого висела черная шелковая простыня.

«Обнадеживающее начало. Уж не сатанистки ли они?» – мельком подумал Садовский, усаживаясь лицом к поломанному трюмо, в котором отражался только потолок и кусочек неба.

– Мы тут проездом. Едем в Пустыню с поисковым отрядом. Я вместо повара, Юлька поисковик со стажем, в третий раз уже. Или в четвертый? Юль а Юль, ты в который раз тут? – громко спросила она. Из-за шума воды слышалось – в пятый.

– С Питера мы. Аля я.

– Я еду туда же, могу подвезти, – сказал Садовский, ничуть не удивившись такому совпадению. Пустыня была одним из наиболее посещаемых «копателями» мест.

– За предложение спасибо, но мы со своими добираться будем, – выходя из душевой в плотно запахнутом домашнем халате произнесла Юля. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не бесцветные, ничего не выражающие, как зеркало непроснувшейся души глаза и несколько тяжеловатый овал лица.

За разговором выяснилось, что она профессионально работает парикмахером, имея высшее техническое образование, а подруга ее, обученная стряпне в полевых условиях, уборщицей в том же заведении.

– А вы чем занимаетесь в этой жизни? – спросила Юля.

– Сейчас ничем.

– А раньше?

– Всем, кроме пауэрлифтинга и скотоводства.

– Понятно, товарищ шифруется, – беззаботно произнесла Юля и легким движением руки взъерошила ему волосы. Жест ему понравился – в нем было что-то озорное, располагающее к доверию.

Над его ухом весело, как синички, зацвикали ножницы.

– Эх, мне бы такую фигуру, как у Юльки! Да скинуть годов десять. Уж я бы развернулась!

– Хотите похудеть? Зачем? Многим нравятся пышки.

С некоторых пор он стал понимать тех ценителей женской

красоты, которых не возбуждали девичьи пропорции. Которым нравились женщины с формами. И в этом угадывался какой-то закон природы. Чтобы мужчина, войдя в силу или клонясь к закату, не искал себе молоденьких, а сохранял верность выбору своей молодости.

Он почувствовал весьма болезненный укол ножницами в области шеи.

– Брови подравнять? – спросила Юля.

Этот вопрос несколько озадачил его.

– Зачем?! А на чем я буду домой приходить?

– Действительно, зачем? Приходи, как привык...

Она легко перешла на ты.

– Кстати, тебя не было на раскопе прошлым летом? Кого-то ты мне напоминаешь, – на мгновение задумалась она, приставив расческу к подбородку.

– Прошлым летом я был немного занят: годовщина свадьбы, адюльтер, бракоразводный процесс, дележ совместно нажитого имущества...

– И много его было?

– Имущества? Стандартный набор. Квартира, машина, дача...

– И где ты теперь живешь?

– У друзей, знакомых, бывших сослуживцев и добрых женщин. А если серьезно – у меня однушка в малосемейке. Мне одному и этого достаточно...

Юля не стала делиться подробностями своей личной жиз-

ни. Зато Аля рассказала о себе все. Что касается интимно-семейной стороны дела, то первый ее муж медленно запрягал, но быстро ездил, второй быстро запрягал, но никуда не ехал, третий ездил исключительно налево. Со всеми пришлось расстаться. Не повезло женщине...

– И вот когда это меня окончательно доконало я говорю своему бывшему: все, хватит, подаю на развод! И знаешь, что он мне сказал? «Хорошо, милая. Я пока футбол досмотрю...» Вот сволочь! А на прощание выдал: «Ну нет среди уборщиц стюардесс!» Вот ведь гад!

Она тараторила без умолку, а когда подстрижка была закончена по-свойски предложила:

– Так заходи к нам вечером, одиноким и несчастным.

– Говори за себя, – осадил Алю Юля.

– А что? – возразила Аля Юле.

– Не могу, – сказал Садовский. – У меня – свидание...

Взгляд брюнетки говорил: «Ну и скатертью дорога». От ее приветливости не осталось и следа.

С тех пор как он развелся со своей красавицей-женой его стали привлекать серые мышки. Не то чтобы они нравились ему, нет. Привлекали. Его опыт говорил о том, что это самые лучшие, самые благодарные женщины...

«Не такая уж она и серая, эта мышка», – подумал Садовский, когда Светлана вошла в ресторан. Одетая она была так же, как и утром – просто и непритязательно. Но лицо ее за-

метно преобразилось. Во-первых, не было очков. Сменила на контактные линзы? Во-вторых, появились следы макияжа. Все в меру. Без налета вульгарности. Был и высокий каблук, визуально удлиняющий ее и без того захватывающие своей протяженностью ноги. Да, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как идет женщина на шпильках. Отторжение вызывали лишь белые полупрозрачные чулки. Он не любил такие. «Ты не смотри на ее ноги. Смотри на личность. И на свою наличность...» – предостерег его внутренний голос.

– Умна, собою хороша, светла она. Не потому ли, что зовут ее Светлана? – продекламировал он, вставая ей навстречу.

– Я вижу вы хорошо подготовились...

Она мельком взглянула в предложенное меню и попросила подошедшего официанта принести стакан апельсинового сока.

– Больше ничего не желаете? – спросил он, как-то сразу заскучав.

– Больше ничего. Я не голодна... – это уже Садовскому.

Светлана осмотрелась по сторонам. Он понял: городок маленький, слухи распространяются молниеносно.

– У меня всего полчаса, – предупредила она.

– Выпьете чего-нибудь?

– Я не пью.

– Как трудно с девушкой, которая не пьет и спать ложит-

сы ровно в девять! Хотя... вряд ли это можно назвать недостатком.

Помолчали.

– Расскажите о себе, – попросила она, наблюдая, как он ковыряется вилкой в салате.

– Я думаю, начать надо с самого главного – семейного положения.

– Не обязательно. Все равно всю правду я от вас не услышу.

– Всю правду о себе не знает никто.

– Говорить вы умеете...

Садовский не стал допытываться, его она имела в виду или какой-то собирательный образ, с которым он у нее ассоциировался. Но это было уже не важно. Очевидно, он уже классифицирован, разобран на элементы и определен в специально отведенную ему ячейку. С соответствующим ярлычком. Что бы ни говорил. И что бы ни делал.

– Хорошо. Не хотите о себе – расскажите обо мне.

– О вас?

– Можно в третьем лице. Да, так даже лучше...

Он задумался, но ненадолго.

– Закончила институт культуры, библиотечный факультет, незамужем. Воспитывает ребенка лет семи-восьми. Подрабатывает экскурсоводом. Что еще? Мечтает уехать из этой «дыры» куда-нибудь подальше.

– Вы специально наводили обо мне справки?

– Нет.

– У меня пед. А так все совпало. Кроме факультета. Я училась на инязе...

Она допила сок, положила под стакан купюру. Жестом остановила его: провожать меня не надо...

Попрощалась и направилась к выходу.

«Да, такую вряд ли стоит приглашать в номер, чтобы послушать православное радио и отведать сбитня», – подумал он, глядя ей вслед.

Ушла.

Ну и ладно. Зачем ее и себя обманывать? Ничего у них не получится, а двоих детей она не потянет...

К одиноким и несчастным?

Он стал замечать, что его боевые подруги теперь больше напоминают мастера Йодо из «Звездных войн», чем ангелов, эльфов и девушек с обложек гламурных журналов, а трезвый взгляд на окружающую действительность все болезненней обостряет восприятие несовершенств этого мира. И чтобы не нарушить баланс прекрасного и уродливого, установившийся в подлунном мире, и не впасть в черную меланхолию заказал графин водки.

Ушла.

Хотелось бы отнестись к этому просто. Но просто не получалось.

«Светлана, милая душой... Но выпить тоже не дурак я...»

Он долго сидел, уставившись в наполненную до краев

рюмку и слушая душераздирающий шансон в исполнении пары-тройки неряшливых музыкантов. Потом они ушли на перекур. Их сменил седеющий мальчик с синтезатором; сиротским голосом он спел про белые розы и злые морозы, напоминая большинству сидящих в этом зале о том, что молодость прошла...

«А ты, что делаешь здесь ты?» – спрашивал себя Садовский. Чужак, приехавший неизвестно откуда на старом джипе, последнем свидетеле многих славных его баталий, блистательных побед и окончательного жизненного краха, представлявшем все его движимое – пока еще, слава богу, движимое имущество...

На этот вопрос не было однозначного ответа. Но найти его все же следовало. Сейчас и ни минутой позже. Поэтому он смотрел прямо перед собой остановившимся взглядом и думал. О чем? В общем, ни о чем и обо всем сразу. О том, правильно ли он прожил свою жизнь и стоила ли она того, чтобы дед за нее воевал.

О том, что было.

И о том, что будет.

Была позвавшая его в дорогу давно отгремевшая война – немыслимая по своей громадности, жестокости и безумию, глубоко перепахавшая всю необъятную нашу землю и человеческие души, смешавшая одно с другим в гумус и напоминавшая о себе теперь лишь мифами, обелисками с красно-бурыми, как запекшаяся кровь, звездами и клочьями ту-

мана над безымянными могилами. И были принесенные ей в жертву. Дравшиеся не на жизнь, а на смерть. Пытавшиеся выжить. Но не выжившие.

За что сражались они?

За Родину?

Да, за Родину.

Но не только.

Они сражались за то, чтобы мы были счастливы. Они передали нам свое право на счастье, право, которое отняла у них война. Поэтому мы обязаны быть счастливыми. Ты обязан. За себя и за них. Но вся беда в том, что мы не умеем быть счастливыми. Ни за себя. Ни тем более не за них. В каком-то смысле они были счастливее нас...

Что еще сказать о героях былых времен? Они знали, зачем живут и за что умирают. И в том, что мы живем – их заслуга. В том, что живем хреново – исключительно наша...

«Ну, за себя и за того парня!» – мысленно произнес Садовский и выпил первую рюмку. А следом за ней и вторую.

Но дело даже не в этом. Многое из того, что мы делаем сегодня кощунственно по отношению к павшим и тем, кто прошел войну. Конечно, война – крайняя антитеза миру, а мир – войне. И в этом извечная их несоединимость, в этом корни нашего цинизма, который всего лишь одно из проявлений воли к жизни, заставляющей слабую, колеблющуюся на ветру травинку пробиваться даже сквозь могильные плиты. Миру – мир. Жить надлежит по законам мирного времени.

И потому мы так привычно лицемерны и прилежно добротопаятны, так дорожим своим душевным комфортом, не говоря уже о материальном благополучии. Отсюда и фальшь, которая не менее кощунственна, чем беспаятство. Мы выбрасываем зачерствевший хлеб, убыстряя шаг проходим мимо зарастающих бурьяном воинских захоронений и ветшающих монументов скорбящим матерям, отворачиваемся от стариков, прозябающих в нищете, торгуем их славой и наградами. И только 9 мая идем на площадь и к Вечному огню за отпущением грехов...

Теперь – что будет. Мир, в котором мы живем обречен. Мы сами, своими руками в ежедневном, ежечасном режиме приближаем его погибель. Когда, как и почему это произойдет? О сроках, оказиях и причинах говорить бессмысленно – это одному только богу известно. Но произойдет обязательно. А что касается его самого – старой развалины подполковника Садовского, то тут и к гадалке ходить не надо. Он напьется, закадрит какую-нибудь бабу, затащит ее в постель, чтобы утром ужаснуться, какой черт его дернул с ней связаться, и снова напьется. А потом проспится и отправится на поиски деда...

Уже битый час он сидел один за столиком на две персоны с видом человека, перед которым стоят две неразрешимые задачи – как остановить время и как повернуть его вспять. И вообще – надо ли это делать, если ни на своих, ни на чужих ошибках никто, увы, не учится. Ведь каждый имеет право на

свою порцию дерьма и большую ложку.

Под потолком в углу бара работал телевизор. Без звука. На экране бесновалась известная ведущая, бывшая кандидатка в президенты. Потом ее сменил другой эпатажный персонаж, наивно полагающий, что он – фея. Вот она, магия телевидения. Но от того, что ты влез в ящик, стал известен и заработал кучу денег ты не перестал быть пеной. Нет, не перестал.

О чем это он? Да, время... Оно всегда разное. То это быстрокрылая ласточка, то медленно ползущая черепаха, то засушенная бабочка. Если время разучилось летать – значит, с жизнью что-то не так, значит надо что-то менять. Иногда приходится ускоряться, иногда ужиматься, иногда перестраиваться, чтобы всегда быть на стремнине, прокладывая русло. А иначе вместо того, чтобы влиться в полноводную реку затечешь в низину и станешь болотом. Но он уже не хотел ни ускоряться, ни ужиматься, ни перестраиваться. В низину так в низину...

Перед ним стоял наполовину пустой графин. Сердце отяжелело, словно пил он не водку, а свинцовые воды Стикса, реки мертвых. Но вряд ли это была жалость к себе или сожаление о чем-то несбывшемся. Его преследовало какое-то другое, более безысходное чувство. Что-то похожее на усталость – от себя самого, от всего, что его окружает. От обреченности быть тем, кем ты стал, невозможности стать кем-то другим или хотя вернуться в исходную точку – туда, где есть хотя бы призрачная возможность выбора. Обычная ис-

тория: сначала человек мучительно долго пытается открыть свое предназначение, стать самим собой в своем лучшем исполнении, а потом стремительно превращается в самопародию. Ему уже давно казалось, что он не живет, а лишь подает признаки жизни – настолько постылым и бесцветным стало его нынешнее существование и разительны произошедшие с ним перемены. И настолько размыты стимулы и цели. Может быть дед поможет ему что-то изменить? Что-то понять – о себе, о жизни, о том, как в ней все устроено...

Тут он с удивлением обнаружил, что посетителей в ресторане заметно прибавилось. Ах да, суббота... Появился даже рэперского вида негр. Вот он встал из-за стола, сверкнул белозубой улыбкой, скомкал какую-то бумажку и на ходу бросил ее мимо мусорной корзины. По-русски выматерился, но поднимать бумажку не стал. «Молодец, – подумал Садовский. – Уважает традиции страны, в которую прибыл!»

Вдруг все смолкло – разговоры, музыка, звон посуды, стук вилок о тарелки и все головы как по команде повернулись в сторону вошедшей в зал блондинки.

Она была похожа на всех белокурых бестий сразу, как праматерь альбиносов, от которой они, вероятно, и произошли – эффектная, с эталонной фигурой и сахаринкой в лице, что выдавало ее природную светловолосость, поскольку крашенные блондинки, как правило, выглядят хищнее. И как ни странно, без ярко-красной губной помады – их неперемного атрибута. Такие особы одним своим появлением про-

буждают в мужчинах кучу комплексов и тщетно подавляемое желание, что делает их частично или полностью невменяемыми.

Вот и третья недостающая пара, для комплекта, подумал он. И это только в одном отдельно взятом древнерусском городе!

Конечно, она кичится тем, какие у нее ноги. И хорошо понимает, как высоко это ценится в товарно-денежных отношениях между мужчиной и женщиной. Больше ничего ей в этой жизни понимать и не нужно, этого достаточно – вполне.

Ее сопровождал кряжистый мужчина лет шестидесяти с серебристым ежиком волос и мрачным, не улыбочивым, как парадный вход в крематорий лицом. По-видимому, он обладал недюжинной силой, однако при всей своей массивности сохранил поразительную точность и мягкость движений. От блондинки он держался на некотором расстоянии. «Скорей телохранитель, чем любовник», – подумал Садовский. Опасных людей он чуял за версту. Этот был опасен. В нем, как в хорошем боксере-профессионале чувствовался инстинкт убийцы.

Счастливая обладательница пластиковой фигуры и ослепительной улыбки куклы Барби – «Life in plastic, it's fantastic», как поется в одной глупой скандинавской песенке – устроилась на самом видном месте, что выдавало в ней привычку к подиуму, и теперь ее мог разглядеть любой посетитель ресторана, обслуживающий персонал и половина ра-

ботников кухни. От таких сходят с ума кавказцы. А к ним у Садовского было особое отношение. Не то чтобы он не любил их. Он вполне допускал мысль, что они заслуживают уважения. Просто пропустил момент, когда война с ними уже закончилась. О ней ему напоминали старые раны, тупо нывшие при перемене погоды.

«Люди, будьте бдительны», – сказал он себе, имея в виду и ее, и его. И прикончил графин. Делать ему здесь было больше нечего. Теперь у него была одна забота: если перепил – главное правильно рассчитать крен и тангаж, чтобы не свалиться в штопор.

Дежурной по гостинице по-прежнему была Мальвина.

– Что-то загуляли наши командировочные, – улыбнулась она одной из самых обольстительных своих улыбок и выдала ему «грушу».

Когда-то она блистала перед его ровесниками и дядьками постарше, потом ее время ушло, а привычка блистать перед дядьками осталась и перекинулась на мужчин, годящихся ей в сыновья, хотя блеска заметно поубавилось. И теперь ее ужимки напоминали кокетство черепахи Тортиллы...

– Да уж... – любезно промычал Садовский и скривился в ответной улыбке. Отчего-то он испытывал жалость ко всем этим стареющим Мальвинам. Наверное, нет ничего жестче, отчаянней и беспощадней, чем борьба женщины со своим возрастом. Все мужские войны ничто по сравнению с накалом этой борьбы, потому что нет таких жертв, на которые

не пошла бы женщина, чтобы как можно дольше оставаться молодой и красивой. Плата – здоровье, а иногда и жизнь. Хотя чаще, сплошь да рядом – устрашающий слой грима или печальные последствия ошибок и непрофессионализма пластических хирургов...

По коридору навстречу ему катилась румяная и круглая, как колобок, изрядно пьянехонькая Аля. На этот раз без Юли. Как правило, если девушка красивая, подружка у нее страшная. И наоборот, если девушка страшная, подружка у нее еще страшнее. Здравствуйте, очень страшная девушка. А где ваша не очень страшная подружка?

Увидев его, Аля начала пританцовывать и водить хороводы.

– И-и-и-эх! Какая я сегодня красотулечка! Ах, ножки мои заплетушки! Кто бы мне расплел их?

– Это самое заманчивое предложение в моей жизни!

– Так в чем же дело?

– Нам рано на покой. И память – не умрет...

– Вот это мужик! – одобрительно вскинула подбородок и притопнула пухлой ножкой Аля.

– Но... Оркестр полковой.

– Что такое?

– Вновь за душу берет...

Садовский поцеловал Алю в лоб, пожелал ей спокойной ночи и завалился в свой номер.

– Тю... И это мужик... – укоризненно раздалось за его

спиной.

«В который раз пытаюсь начать беспорядочную половую жизнь, но эта проклятая разборчивость...» – сокрушенно вздохнул он и, не разуваясь, упал на кровать. Все это он уже проходил множество раз – пьяное гульбище, всполохи веселья далеко за полночь, отхаркивание мокроты, падение в провал полуобморочного сна... И ничего, кроме тяжкого похмелья, стыда и раскаяния поутру. «Боже, помоги мне доучить, дотерпеть, извести еще один день жизни, дарованной тобой в этом прекраснейшем из миров!»

Вдруг над самым его ухом кто-то громко и отчетливо произнес:

– Отпусти ты меня, сынок, не могу я больше...

– Ты что, бабка?

– Нету сил моих...

– Нельзя! Мне тебя еще через дорогу перевести надо!

– Сил моих нету... Немцы...

Садовский приподнял голову и прислушался. Звук доносился из розетки. Очевидно, в соседнем номере кто-то на полную дурь включил телевизор.

– Немцы, как жить дальше?

– Как, как? Каком кверху!

Садовский встал, вышел в коридор и постучался в номер, в котором проживали тугоухие постояльцы.

– Бабка, ты где? Дорога есть, теперь бабки нету.

– А зачем нужна дорога, если через нее нельзя перевести

бабку? – доносилось из-за двери.

Не дождавшись ответа, он вошел и тут же услышал запоздалое приглашение:

– Проходи, уважаемый!

– Сам-то я в дверной проем пройду. А вот мое эго...

За столом сидели двое – мужчина постарше и мужчина помоложе, оба в затасканном, как у Садовского, камуфляже. На столе стояла бутылка без опознавательных знаков и акцизной марки и был разбросан всякий мусор – хлебные корки, рыбы плавники, шелуха от семечек.

– Мы тут отдыхаем, – пояснил тот, что был постарше. Он был похож на притворяющегося интеллигентом нагловатого очкарика. Очень распространенный тип, особенно среди владельцев личного автотранспорта в средней ценовой категории. На его простом лице – глаза чуть навывкате, щеки студнем, подбородок внахлест – заметно выделялся прекрасно вылепленный римский нос времен упадка империи. Несмотря на позднее вторжение непрощенного гостя лицо это не выражало ни настороженности, ни недовольства – напротив, светилось радушием, душевностью и пьяной добротой.

– Вы не могли бы приглушить звук вашего телевизора?

– Мешает спать? – искренне удивился хозяин номера.

– Нет, просто я не разделяю точку зрения режиссера. И сценариста. А также того немца, который посоветовал нам жить каком кверху...

– Аналогично!

– А еще мне жаль бабушку. Совсем она заплутала по жизни. И во времени...

– В общем, как и все мы... В России у честного человека три исхода: погибнуть на войне, сгинуть в тюрьге или спиться. Поверь, я знаю, о чем говорю... Я – Петрович. А это Гена...

Тот, что был помоложе – худощавый парень лет тридцати, внешне обычный заводской работяга или сантехник – кивнул, соглашаясь со всем вышесказанным. В каждой компании есть такой Гена – человек, к которому апеллируют. Он всю дорогу молчит и ничем не обнаруживает своего присутствия; ест как все, пьет как все, держится с достоинством, а когда надо вставить пару веских слов – вставляет. В общем, время от времени поддерживает разговор или принимает чью-либо сторону. Поэтому без него не начинают...

– Михалыч.

– Выпьешь, Михалыч?

– В моем организме и без того выпала годовая норма алкогольных осадков. Но посидеть посижу. За компанию. И даже, пожалуй, выпью.

Разлив по кругу в граненые стаканы, Петрович коротко сказал: «Ну, будем».

– Надолго в здешние края? И в целом... Выражаясь фигурально. Что, так сказать, дальше планируешь? – выпив и вдумчиво, не торопясь закусив, спросил он.

Действительно, что? Планирование бывает краткосроч-

ным и долгосрочным. В ближайшей перспективе Садовский рассчитывал встретиться с дедом. Не буквально, конечно. А потом с чистой совестью спиться. Как офицер запаса, в активе которого две войны и несколько локальных конфликтов, тяжелое ранение, неудавшаяся карьера, распад Советского Союза и семьи он имел на это безоговорочное право.

– Пустыня, – ответил он.

– Да, Пустыня, – согласился Петрович. – И мы туда же... Всякий честный человек, я тебе скажу, должен побывать в Пустыне.

– А ты – честный? – спросил, перекрывая шум телевизора, Садовский.

Петрович не удивился вопросу.

– А за что меня, по-твоему, из ментовки выгнали? За это самое... Кому нужны непродажные опера? – с готовностью ответил он.

– Давай за тебя.

– Давай! А потом за тебя.

После очередного стакана Петрович неожиданно загоревал.

– Куда страна катится!.. Ничего русского в ней не осталось. Что здесь будет лет через сто, двести, пятьсот?

– Будем мы у себя в России неграми с раскосыми глазами... – предположил Садовский, вспомнив афророссиянина, виденного им в ресторане.

– Вот-вот! Ну настроим мы домов, а кто в них будет жить?

Загромоздим все стадионами, а кто будет заниматься спортом? На каждом холме поставим церковь, а кто в наши храмы ходить будет? «Русский крест» еще никто не отменял... Где Русь изначальная? Ничего не осталось. Почти ничего. Хватаем отовсюду все что ни попадя... И тащим в рот всякую гадость, как дитя неразумное. За свое не держимся. Все комплексуем по поводу и без повода. Хватит комплексовать! Давайте делать то, что у нас хорошо получается – танки, ракеты, боевые самолеты и атомные ледоколы, давайте играть на баяне и балалайке, танцевать балет и исполнять симфоническую музыку, давайте лучше всех играть в хоккей и драться на ринге, давайте создадим, наконец, я не знаю – черти знает что, и пусть все наши недруги заткнутся и подохнут от зависти, а наши друзья проникнуться гордостью за нас. А футбол, автомобили и парфюм оставим англичанам, немцам и прочим французам, не говоря уже об американцах. Вот я сам из Мурманска, Гена из Петрозаводска. Уже лет двадцать, как в Питере. И что?

– Что? – спросил Садовский, холодея сердцем.

– Город не узнать. Вроде бы все как стояло, так и стоит. Петропавловская крепость, Зимний... Но дух-то уже не тот. Повсюду какие-то грузинские рестораны, чайханы с чебуречными... Шаурма, халяль... Тьфу... Толпы туристов и приезжих из южных республик. И я тут подумал: что за орда завоевала детище Петра? Кто превратил его в филиал халифата? И что будет дальше, если русские не будут государ-

ствообразующим народом? Россия развалится так же, как орда – вот что будет! И только мы можем сохранить ее от распада!

– От губельных трансформаций, – вдруг вставил Гена.

– Поэтому русских должно быть много. И они должны оставаться хозяевами на своей земле! Должны оставаться русскими!

Голос его уже гремел, заставляя жалобно дребезжать стаканы на стеклянном подносе.

– Но что значит – оставаться русскими?

Садовский и себе часто задавал этот вопрос.

Подняв указательный палец к потолку, Петрович пробормотал:

– А вот это... Черт... И все-таки ухлебность этого юрчя нашатывает... Наливай!

– Кому сто грамм, а кому и стоп-кран! – возразил Садовский, отодвигая бутылку.

– Щас как упрусь бивнями в пол! – пригрозил Петрович и почти исполнил свою угрозу. Качнувшись маятником, он вернулся на место. Садовский хотел его поддержать, но промахнулся и чуть не сбил с тумбочки настольную лампу с зеленым абажуром.

Абажур ехидно хихикнул и прижался к стенке.

– Спекся старшой ... – прогудел Гена как будто со дна колодца.

– В общем, он ответил на мой вопрос.

Садовский не помнил, как вернулся к себе в номер. Гостиница уже спала. Лишь где-то этажом ниже пронзительно вскрикивала в любовном экстазе какая-то женщина. В постели она называла все вещи своими именами, а имена у них были сплошь нецензурные. По-видимому, это заводило ее партнера.

Кажется, это была Аля. Значит, она все-таки нашла своего принца...

Бывают дни, когда невольно начинаешь верить, что десять дней могут потрясти мир, три дня изменить твою судьбу, а одно мгновение – создать или уничтожить Вселенную. И самое верное лекарство от головной боли – трепанация черепа, а лучший дежистив – огуречный рассол...

Садовский проснулся после полудня, как от разрыва близко упавшего снаряда и понял, что нет у него завтрашнего дня, нет будущего. Нет и не может быть. Есть только бесконечно длящееся настоящее, вечно ускользающее сейчас, в котором все его богатство – усталость, и вся его мудрость – смирение. И чем он наполнит свое настоящее, то и будет тем, что принято называть будущим.

Первое, что он сделал – наведаясь в номер к Петровичу, чтобы оценить степень его жизнеспособности. Но как выяснилось, вся его команда, включая Алю и Юлю, съехала еще утром.

По уже знакомой улице Сварога он дошел до Воскресен-

ского собора. Светланы там не было, юродивого на паперти тоже. У иконы Старорусской Божьей Матери привычно толпились богомольцы.

Зачем он сюда пришел? Глупо надеяться, что мать-одиночка обрадуется случайной встрече с ним, а блаженный Алексей снизойдет до персонального пророчества или хотя бы объяснит, почему он назвал Садовского душегубом и распутником. Ну, душегуб это понятно – командир разведбата не душка. А в распутники-то за что? Хотя...

Вот и получается: вместо того, чтобы подготовиться к броске на Пустыню – заправить машину, сделать запас продуктов и снаряжения, посетить Музей Северо-Западного фронта, который находится в двух шагах от гостиницы он бесцельно бродит по городу, ищет вчерашний день. В прямом и в переносном смысле.

Основательно проветрившись, Садовский закупил в ближайшем продуктовом магазине все необходимое из расчета на неделю. Единственное, чего он не учел – отсутствия шанцевого инструмента. Ничего, кроме саперной лопатки – оружия ближнего боя, у него в машине не было, а найти в воскресенье приличную лопату и самодостаточный лом было не так-то просто. «Одолжу у кого-нибудь в деревне. Деревня без лома не живет», – решил он и поехал на автозаправку.

Пристроившись за красным Порше Кайен с помятым задом, на котором красовались питерские номера, он стал тер-

пеливо ждать, когда подойдет его очередь. Впереди стоящая машина уже давно была заправлена, но почему-то не двигалась с места. У раскрытой дверцы стояла девушка в клетчатой юбочке-шотландке и черном топике, похожая одновременно на Гарри Поттера и главу Центробанка России и, не обращая внимания на пистолет, торчащий из бензобака, о чем-то оживленно болтала по айфону. В этом городе все были на кого-то похожи, будто он стал местом проведения фестиваля двойников.

Садовский решил начать деликатно, издалека.

– Классный у вас триндозвон. Последняя модель?

Продолжая трещать в свою «лопату», она раздражено показала ему средний палец.

– Молодец, бойкая девчушка. Люблю таких...

– Че пялишься, козел!? – очевидно, не разобрав, что он сказал, привычно взорвалась она.

– Немало повидал я красивых дур. Но вы исключение. Вы некрасивая, – негромко ответил он. Но она расслышала. Точно расслышала.

Садовскому не хотелось спорить, с кем-то ссориться, а тем более выслушивать о себе сугубо личное мнение еще одного милого создания – всего этого было достаточно и в его прежней жизни. Поэтому он достал пачку сигарет, зажигалку и сделал вид, будто собирается прикурить.

Результат не заставил себя долго ждать: дерзкая девчушка на дорогой иномарке с помятым задом унеслась быстрее

лани, словно ее тут и не было.

Странно, в молодости он был уверен, что мир принадлежит старикам. А когда сам приблизился к преклонному возрасту, ему стало казаться, что все как раз наоборот. Ведь дело не во власти, не в деньгах и не в материальных благах, а в жизненной энергии, в уверенности, что все самое лучшее впереди, в возможности обрести любовь и в том волшебном чувстве, которое она дарит. С годами мы, как правило, тратим все свои силы на то, чтобы удержать ее, сохранить ее остатки. Удел стариков – гербарий. А будущее – за такими вот девчушками...

Но не стоит завидовать молодым. Они точно так же будут обмануты и наказаны временем.

Завершив все неотложные дела, Садовский отправился в музей. Светлана упоминала о том, что он сменил место своей прописки, переехав в начале девяностых из Воскресенского собора на улицу Александровскую, в простое двухэтажное здание белого кирпича, похожее на районный универмаг. О военно-исторической принадлежности этого здания свидетельствовал только допотопный, устаревший еще в начале войны танк Т-26, установленный во дворе, и два противотанковых 76-мм орудия.

Музей был мал, тесен, откровенно провинциален, но неожиданно щедр на интереснейшие экспонаты. Это были подлинные, неотретушированные свидетельства минувшей войны, – фотографии, письма с фронта, оружие, предметы

военного быта. Казалось, они еще хранят тепло прикасавшихся к ним ладоней, хотя люди, владевшие ими или имевшие к ним какое-то отношение уже давно отошли в мир иной – кто раньше, кто позже.

Пряжка от поясного ремня с надписью «Gott mit uns», пулемет «Максим» с пробитым кожухом, снимок, на котором под плакатом «Hier beginnt der Arsch der Welt» – здесь начинается ад – запечатлены немецкие солдаты...

Все эти вещи и документы, оживая на глазах, словно разговаривали с ним. И о чем-то вопрошали, не надеясь, впрочем, на немедленный ответ. «Как вы там, без нас?» – как будто спрашивали бойцы и командиры РККА с потускневших фотокарточек. «О нас не беспокойтесь. У нас все хорошо. Живы будем – не померем...»

В лицах немцев – веселых, самоуверенных, где-то даже по-детски озорных во время летней компании и почерневших, изможденных, исхудавших с наступлением зимы читался невысказанный вопрос – как такое могло случиться? Ведь мы были непобедимы! И все делали правильно!

Да, все они делали правильно. Только в Старой Руссе за годы оккупации было расстреляно, повешено, погибло от голода и холода около десяти тысяч мирных жителей и военнопленных, содержащихся в «аракчеевских» казармах, на Сенобазе и в Успенской церкви...

И как беззвучный набат по этим жертвам, напоминание о перенесенных ими ужасах и страданиях в Зале памяти цепе-

нел колокол, который, казалось, не смел нарушить затянувшуюся на целую вечность минуту молчания. Отлитый знаменитым мастером Альбертом Беннингом в Любеке в семнадцатом веке и подаренный рушанам Петром I он был вывезен во время войны из разрушенной церкви святого Мины, перемещен обратно в Любек и после долгих мытарств вернулся в Старую Руссу. А если колокола возвращаются, если им не вырывают языки, не плавят из них пушки и не хоронят заживо, жизнь продолжается...

Из музея Садовский уходил под звуки доносившейся словно из-под толщи земли и спуда прошедших десятилетий песни:

Пушки молчат дальнoбойные,
Залпы давно не слышны.
Что ж мне ночами спокойными
Снятся тревожные сны?
Молнией небо расколото,
Пламя во весь горизонт.
Наша военная молодость —
Северо-Западный фронт.

Именно этот фронт первым остановил врага на рубеже Ильмень – Селигер в конце августа и первым же, задолго до Сталинградской битвы осуществил окружение крупной группировки вермахта спустя полгода – в феврале.

Садовский не заметил, как оказался на улице Минеральной. Проходя по ней накануне, он, конечно, не знал, что это за улица и чем она известна. Теперь знал. Здесь проводились массовые расстрелы горожан, в том числе женщин и детей, а на территории парка Старорусского бальнеологического курорта, примыкавшего к этой улице, когда-то было кладбище для солдат и офицеров СС...

Вот такое краеведение – область гуманитарной науки, изучающей природу, население, хозяйство родного края, а также популяризирующей знания о его традициях, истории и культуре...

Посещение музея не приблизило его к деду. Чем больше узнавал Садовский о демянском «котле», рамушевском коридоре и партизанском движении в южном Приильменье, тем яснее понимал, насколько трудна, быть может даже невыполнима его задача.

Наивно было бы надеяться, что этот скромный музей даст ему какую-нибудь подсказку, зацепку, поможет определиться с направлением поисков. За время боев на этом участке фронта полегло в боях, сгинуло в болотах, скончалось от ран и болезней более полумиллиона красноармейцев. И не факт, что в похоронке и справке, полученной в ответ на его запрос в Подольский архив точно указано место, где пропал без вести его так и не успевший толком повоевать дед. Там было сказано, что стрелок 349-го Казанского полка красноармеец И.М.Назаров погиб 22 марта 1942 года южнее деревни Гор-

бы Лычковского района Ленинградской области (ныне Демянского района Новгородской области). Но по открытым источникам Садовский знал, что Горбы были взяты еще 19 марта, а через три дня последовала атака на Пустыню, расположенную севернее. Следовательно...

Чем больше он размышлял над этим, тем меньше понимал, с чего ему следует начать поиски. Как сказал бы Конфуций, если б был русским, трудно найти иголку в стоге сена, особенно если ее там нет...

А ночью ему приснился сон, дурной сон о Пустыне, которую с боем приходится брать каждый день. Каждый божий день, преодолевая многократно возросшее земное притяжение, все эти несчастные, не знающие покоя, обреченные на смерть бойцы и командиры вновь и вновь поднимались в атаку. И погибали под пулеметным и артиллерийским огнем. И так до бесконечности, ибо война не закончена, пока не предан земле последний погибший солдат.

Проснувшись, он долго думал, что это – назидание, предостережение, окончательный, не подлежащий обжалованию приговор? Ему было страшно, по-настоящему страшно от мысли, что где-то там, в бескрайних полях и лесных чащобах неизвестные солдаты все еще продолжают штурмовать безымянные высоты и исчезнувшие деревни, помеченные номинальными свечами минувшей войны. Казалось, он явственно слышит их яростные крики и предсмертные стоны.

К задернутым занавескам серым дымчатым котом ласти-

ся рассвет...

Шел первый год войны. В утренней сводке Советского Информбюро от 22 марта 1942 года сообщалось, что в течение ночи на фронте каких-либо существенных изменений не произошло. После перечисления уничтоженной Красной армией живой силы и техники противника приводилось письмо унтер-офицера Гифенбайна к жене: «При продвижении к фронту мы встречаем отбившихся немецких солдат, которым посчастливилось избежать смерти. С ужасом они рассказывают о боях. Не стану тебе описывать отдельные подробности. Всё, что я здесь видел и пережил, можно выразить в одном предложении: мы попали в ад...»

Еще осенью, когда боевое охранение одного из соединений четвертой танковой группы Гёпнера стояло на конечной остановке московского трамвая, а офицеры передового саперного батальона в Химках, вооружившись биноклями, наблюдали виды столицы в такой исход событий невозможно было поверить. Теперь же взору открывалась совершенно иная картина – кладбища разбитой техники вермахта, роши березовых крестов и занесенные снегом трупы завоевателей по обочинам дорог. Похоронить их было невозможно – мерзлую землю, по твердости не уступающую бетону, не брал даже динамит.

Отброшенные от столицы на 150-300 километров, изрядно потрепанные немецкие дивизии постепенно приходили в

себя, закрепившись на ржевском плацдарме, – «Gruppen im Raum Rshew», который они называли «краеугольным камнем Восточного фронта». Именно здесь в ходе контрнаступления под Москвой развернулась Ржевско-Вяземская наступательная операция, положившая начало печально известному, растянувшемуся более чем на год кровопролитнейшему сражению – «ржевской мясорубке».

Вечерняя сводка Советского Информбюро не содержала ничего примечательного. В ней говорилось, что наши войска продолжали наступательные бои против немецко-фашистских войск. На некоторых участках фронта противник переходил в контратаки, которые были отбиты с тяжёлыми для него потерями...

О наших потерях сообщалось крайне скупо или не сообщалось ничего.

Между тем, положение на фронтах становилось все более угрожающим. Недооценка противника и переоценка собственных возможностей, распыление сил и средств, неподготовленность операций, чудовищная спешка, нагнетаемая Ставкой Верховного Главнокомандования, привели к тому, что стратегический успех, наметившийся после контрнаступления под Москвой, стал прологом для целого ряда тяжелейших поражений.

Сорвав «План Барбаросса», Сталин попытался ответить зеркально – провести собственный «блиц-криг», учинив противнику разгром на всех ключевых направлениях. И хо-

ты «товарищ Жуков» предостерегал его от столь поспешного шага, предлагая прежде усилить резервы, пополнить войска личным составом и боевой техникой, вождь настоял на своем.

Сталинское головокружение от успехов обернулось катастрофическими для Красной армии последствиями. Обезглавленная репрессиями накануне войны, потерявшая значительную часть своего кадрового состава в приграничных боях, обескровленная и деморализованная под Уманью, Киевом и Вязьмой, она была перемолота вторично в «котлах» и «долинах смерти» 42-го.

Но в марте это еще не могло привидеться Верховному Главнокомандующему и в кошмарном сне. Он был уверен в том, что в войне, наконец, наступил переломный момент. Казалось, еще одно, последнее усилие – и враг будет повержен. И действительно, для развития стратегического успеха порой не хватало всего одного-двух стрелковых соединений или танковой бригады...

Предполагалось, что потери при выполнении поставленных Ставкой ВГК задач будут большими. Возможно, очень большими. Явь оказалась куда страшнее. Все это время плохо обученные, наспех сколоченные, лишенные поддержки авиации, не обеспеченные должным количеством продовольствия, оружия, техники и боеприпасов дивизии второго формирования шли и шли в наступление, отражали многочисленные контратаки врага, вырывались из окружения и

одна за другой сторали в жестоких боях. И было что-то фатальное, самоубийственное и вместе с тем отчаянное, поражающее даже видавшего виды врага в той яростной решимости, с какой они встречали свою смерть.

Все отчетливее сквозь победные реляции с фронта и кадры пропагандистского киножурнала «Die Deutsche Wochenschau» стала проглядывать тревога, растерянность и зловещее предчувствие, связанное с непостижимостью этой богом проклятой страны и упорством населяющих ее варваров, не желающих признать себя побежденными. Все чаще немецким генералам приходилось констатировать: русские всюду сражаются до последнего человека. Первый серьезный противник.

Впрочем, тогда еще мало кто сомневался в непобедимости вермахта и разящей силе его меча. Геббельсовская пропаганда утверждала: каждый воин Третьего рейха стоит двадцати польских и десятка русских солдат. И лишь единицы – из тех, кто достаточно долго пробыл на Восточном фронте – постепенно начинали постигать устрашающий парадокс, который породила эта война: немецкий солдат, безусловно, лучший в мире. Русский, конечно, не так хорош, но он лучше лучшего, поскольку на его стороне – победа. И прольются еще реки крови, и многие немцы не доживут до полного поражения, а русские до окончательной победы, прежде чем оставшиеся в живых примут это как данность...

До гибели 33-й армии и ее легендарного командарма ге-

нерала Ефремова в вяземском «мешке» оставалось чуть более месяца. До Харьковского «котла» и разгрома Крымского фронта – два месяца. До уничтожения 2-й ударной армии под Любанью и пленения ее командующего генерала Власова – три месяца.

Тем удивительнее, невообразимее было то, что происходило на Северо-Западном фронте. Здесь в окружение попал II корпус графа Вальтера фон Брокдорф-Аллефельда – порядка ста тысяч солдат и офицеров 16-й армии генерала Эрнста Буша.

Вся эта вооруженная орава, запертая в лесах и болотах Новгородской области между озером Ильмень и Валдайской возвышенностью, снабжалась оружием, боеприпасами и провизией военно-транспортной авиацией люфтваффе. Организация первого в истории войн «воздушного моста» фактически спасла от неминуемого разгрома шесть дивизий, увязших на плацдарме, который Гитлер высокопарно называл «Крепостью Демянском» или «пистолетом, приставленным к сердцу России».

С течением времени «графство», как окрестили занимаемую территорию находящиеся в демянском «котле» гитлеровцы, превратилось в «маленький Верден». Его удержание стоило слишком дорого и, вопреки уверениям фюрера, было стратегически неоправданно. За 17 месяцев нескончаемых боев группа армий «Север» только убитыми потеряла здесь столько же людей, сколько насчитывала группировка гене-

рала Брокдорф-Аллефельдта на момент окружения. Но самый тяжелый урон был нанесен транспортному флоту Германии, потерявшему от трети до половины своих самолетов. Неповоротливые, тяжелоброхие юнкерсы, прозванные немцами «тетушками Ю», регулярно сбивались нашими юркими «ишачками» – истребителями И-16 и наземными противоздушными средствами. Впоследствии это сыграло роковую роль в Сталинградской битве – Геринг так и не смог создать полноценный «воздушный мост» для снабжения попавшей в окружение 6-й армии Паулюса, что в значительной степени предопределило ее последующую судьбу.

Но до этого было еще далеко.

В начале весны советское командование планировало расчленить и уничтожить демянскую группировку, а немецкое пребывало в полной уверенности, что удержит этот плацдарм и вобьет клин между Москвой и Ленинградом, ускорив тем самым агонию Советов. Каждая из противоборствующих сторон предпринимала чудовищные усилия, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, но добиться решающего успеха ни Красной армии, ни вермахту не удалось.

В марте крышка «котла» была уже плотно закупорена – внешнее и внутреннее кольцо окружения все туже стягивало увязшее в лесных дебрях и непроходимых болотах «графство». Для окончательного разгрома окруженных войск с Западного фронта была переброшена 1-я ударная армия, а в немецкий тыл просочилась маневренная воздушно-десант-

ная бригада, в задачу которой входила ликвидация демянского аэродрома и захват деревни Добросли, где размещался штаб II армейского корпуса. Но ночная атака десантников закончилась неудачей – они были встречены шквальным огнем и с большими потерями были вынуждены отступить.

В тот же день в дневнике начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта Франца Гальдера, который еще в начале войны написал, что кампания против России выиграна в течение 14 дней, появилась запись: «274-й день войны. Обстановка. Наступление наших войск под Старой Руссой развивается успешно. В остальном существенных изменений нет...»

Речь шла об операции «Наведение мостов», предпринятой накануне с целью деблокировать демянскую группировку. Три дивизии ударной группы генерала Вальтера фон Зейдлица вторые сутки упорно вгрызались в боевые порядки советских войск. К концу апреля в результате титанических усилий ей удалось соединиться с пробивавшейся навстречу сводной группой и образовать так называемый Рамушевский коридор, который солдаты вермахта прозвали «коридором смерти».

22 марта 1942 года на северо-западной границе «котла» завязался еще один бой, который принято относить к боям местного значения. Он не вошел в сводку Советского Информбюро, анналы истории или учебники военного искусства, но по своему упорству, слепой ярости и безрезультат-

ности был как две капли воды похож на десятки и сотни таких же боестолкновений, на которые распадалась эта нескончаемая война, становившаяся все ожесточеннее и кровопролитнее для обеих сторон.

Целью атаки была деревня Пустыня, которая затерялась где-то на восточной окраине болота Невий Мох, занимавшего площадь размером с Княжество Лихтенштейн (кстати, на другом конце этой непроходимой топи находилась еще одна деревушка – Пустынька, которую 26-я Златоустовская стрелковая дивизия, носившая гордое наименование «Сталинской», взяла еще в январе). Возможно, такое странное для этой лесисто-болотистой местности название и в том, и в другом случае было связано с существовавшей здесь в семнадцатом веке пустынью, приписанной к Новгородскому архиерейскому дому.

Бои за Пустыню и высоту 80.8, то затихавшие, то разгоравшиеся вновь, растянулись на долгие девять месяцев. Чем же была примечательна эта малоприметная деревенька, а точнее, то, что от нее осталось? И почему это затянувшееся вооруженное противостояние по своей продолжительности превзошло многие крупные сражения Второй мировой войны?

В том месте, где у подножия холма когда-то стояли три десятка деревянных домов и несколько амбаров, а на самом холме ютилась церквушка, находился стык между двумя немецкими пехотными дивизиями. Пустыня служила клю-

чом к обороне всей окруженной группировки немцев: овладев ею, стрелковые соединения 34-й армии и проникшие в тыл врага десантные подразделения открывали себе прямую дорогу к Демянску. Взятие этого опорного пункта предreshило бы судьбу «графства».

Штурм Пустыни начался в шесть часов утра. Подразделения Новгородского и Казанского полков «Сталинской» дивизии после непродолжительной и весьма жиденькой артподготовки, которая не столько подавляла огневые точки противника, сколько предупреждала о намерениях наступавших, двинулись в атаку. Увязая в глубоком снегу, продвигаясь вперед черепашым шагом, стреляя куда-то наугад, в сторону перепаханых снарядами руин Пустыни, они шли мимо занесенных мартовскими метелями солдат дивизии Штыкова, долго и безуспешно пытавшейся овладеть этой окаянной деревней в первые дни весны, шли, ступая по телам павших и содрогаясь от самой этой мысли и от сознания того, что, возможно, очень скоро им придется разделить их участь. Передний край противника словно вымер; казалось, там не осталось никого, кто может оказать сопротивление, отчего в сердцах красноармейцев тлела надежда, что бой будет скоротечным и относительно бескровным. И тут вдруг разом заговорили немецкие артиллерийские и минометные батареи, расположенные в нескольких километрах от Пустыни где-то вблизи деревень Здринога, Радово и Дедно, в небе появились «юнкерсы», которые выстроившись в «карусель»

стали с душераздирающим воем сбрасывать на головы беззащитной пехоты бомбы и всякий хлам – бэушные канистры и продырявленные топливные бочки, издававшие при падении жуткий свист. Перекрестный огонь заставил наступающих залечь, схорониться в снегу, но командиры вновь подняли прижатые к земле, сильно поредевшие после артналета и бомбардировки батальоны и с криком «Ура!» повели их в атаку. Бойцы что есть сил рванули к вражеским позициям. Когда до переднего края противника оставалось не более двухсот метров затрещали шмайсеры, бешено залаяли пулеметы-«косторезы», выкашивающие все живое на расстоянии прямого выстрела. Кто-то из красноармейцев все же успел преодолеть минное поле, колючую проволоку в два, а где и в три кола, коварное ограждение из спирали Бруно и как до земли обетованной добраться до ледяных амбразур и снежного вала, облитого водой и застывшего на морозе ночью – за ним в своих траншеях копошились полуобмороженные, обряженные во всякое тряпье, однако не утратившие боевого духа, спаянные железной дисциплиной немцы. Но это последнее препятствие оказалось непреодолимым. Лед был слишком скользким, огонь слишком губительным, оставшиеся в живых бойцы слишком малочисленны...

Атака захлебнулась.

И лишь один красноармеец достиг первой линии немецких окопов, отчаянно бросившись в штыковую атаку на пулеметный расчет, состоявший из унтер-офицера и двух сол-

дат дивизии СС «Мертвая голова». На бегу сраженный очередью, падая, он пронзил штыком эсэсовца и уже мертвый рухнул на поверженного врага. Звали его Иван Назаров. Он оказался единственным из 58 погибших и 113 раненых в этом утреннем бою «златоустовцев», кто дошел до рукопашной схватки.

Потери гитлеровцев составили: 17 раненых и 5 убитых. И среди них унтер-офицер Фриц Шмидт. Штык вместе со стволом винтовки прошел его насквозь и воткнулся в промерзшую стенку окопа. Тела его не нашли – шальной русской снаряд разворотил пулеметное гнездо, превратив его в могилу, в которой Фриц и упокоился на веки вечные.

Вместе с Иваном...

Ехать ему предстояло в исконно новгородские земли – междуречье Порусьи, Редьи и Ловати, где в годы войны пролегал так называемый рамушевский коридор, соединявший шесть окруженных в демянском «котле» дивизий вермахта с группой армий «Север».

Дороги становились все хуже, места все глуше. В глаза бросалась извечная нищета русской деревни, кое-где стыдливо прикрытая сайдингом и неуместными здесь спутниковыми тарелками. Иногда попадались окаменевшие останки колхозного хозяйства – бетонные быки коровников и свинарников, оголившиеся ребра птицеферм, скелеты заброшенных корпусов машинно-тракторных станций и маслозаво-

дов.

Здесь едва ли не каждая вторая деревня стала Пустыней, Пустошью, Пустынькой или урочищем... И как надгробные памятники этим преставившимся деревенькам с такими простыми, немудрящими, далекими от топонимического изящества названиями – Запрудно, Горбы, Норы, Лялино – стояли полуразрушенные церкви и колокольни.

Погода испортилась – заморосил мелкий, похожий на аэрозоль дождь, воздух сделался тяжелым, как старый, мокрый, местами прожженный ватник. И без того безрадостная природа окончательно облачилась в одну из самых ветхих своих хламид. И в этой тоскливой обреченности быть и длиться еще более одинокой, бесприютной и неустроенной, чем прежде чувствовала себя душа.

Доехав до Кузьминок, Садовский решил сделать остановку, чтобы узнать, как проехать в Пустыню. Он уже начинал подозревать, что для преодоления знаменитых местных хлябей ему понадобится в лучшем случае болотоход, в худшем – крестьянские мокроступы или легководолазный костюм.

Он вышел из джипа и огляделся. Улица словно вымерла. Кузьминки оказались прибитой к земле неприметной деревушкой, тихой, впавшей в оцепенение и будто не верящей, что беда уже миновала, ибо ощущение близкого присутствия войны, которая лишь затаилась где-то рядом, слилась с фоном местности, но не ушла, казалось, навсегда проникло в сны покосившихся русских изб и кривых изгородей, впитан-

лось в плоть и кровь людей, здесь живущих. Война стала главным событием этого забытого богом места. Ничего более значительного, сопоставимого по масштабу, величию и непреходящему ужасу оно не знало.

Среди многих окрестных деревень, годами и десятилетиями существующих на грани исчезновения, практически на смертном одре она была наиболее благополучной. Как больной, состояние которого стабильно тяжелое. Но населяли ее не призраки прошлого, не упыри и лешие, а реальные, в чем он смог убедиться лично, люди.

Первый человек, которого он встретил, оказался не местным. Это был коротко стриженный седеющий мужчина с цепким внимательным взглядом и рельефно вылепленными волевыми чертами лица. Одет он был как хорошо экипированный для подледного лова рыболов – в камуфляжную куртку стальной расцветки и утепленные резиновые сапоги. Садовский спросил у него, где тут дорога в Пустыню.

– Ты тоже копатель? Наш человек в гестапо! – обрадовался, будто старому знакомому, мужчина.

– Я не копатель. Так, следопыт...

– Ну что ж, следопыт, слушай. Дороги как таковой нет. Есть направление. Путь... Ты на машине?

– Можно и так сказать.

– Туда не всякая пройдет. После дождя только «Нива». Короче, дружище, от перекрестка направо километра три по просеке.

Он широким уверенным жестом полководца показал на восток.

– Через перешеек болота Гажий Мох доедешь до возвышенности. Увидишь развалины церкви в лесочке – она на самом холме. Это место и есть Пустыня. Спросишь Полковника – это я. Ориентир – «буханка», там мой штаб.

– Все еще бегают? – улыбнулся Садовский, имея в виду легендарный микроавтобус, прославившийся своей проходимостью и живучестью.

– А как же! Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится – УАЗ на пузе проползет и ничего с ним не случится...

– А Петрович здесь? – наудачу спросил Садовский.

– Петрович? – чуть насторожился Полковник. – Вчера приехал. Знаю этого старого оборотня в погонах... Уже много лет. Его еще в нулевые из органов выперли. За крышевание бандюков. Тогда дело развалилось, отделался, как говорится, легким испугом. Теперь к русским фашистам подался...

– Что-то не верится, – усомнился Садовский, вспомнив зажигательные, проникнутые искренним патриотическим пафосом речи Петровича.

– Так я с ним в одном отделе служил. Он майором, я капитаном. Теперь вот снова судьба свела на узенькой дорожке...

– К русским фашистам, говоришь, подался?

– Да кто их теперь разберет! В чем отличие между пат-

риотом, националистом и фашистом? Все Родину любят. Но по-разному. Вот ты, к примеру. Какое у тебя отношение к стране, в которой ты родился и живешь?

– Odi et amo. Ненавижу и люблю. Прости меня, господи, за мою латынь...

– Вижу, человек ты неглупый. И судя по всему образованный. Хотя немало повидал я дураков с двумя «верхними» образованиями...

– Что есть, то есть.

– Ну, в общем, ты понял, как туда добраться, – заторопился Полковник, по-видимому, уловив иронию в словах Садовского. – Если нужна местная власть – найди Ольгу Васильевну. Братская могила за мостом через Кожевню. Других достопримечательностей здесь нет. Увидимся!

Садовский пожал протянутую руку и проводил Полковника взглядом. Бывший «силовик» произвел на него двойственное впечатление. С одной стороны, мужик как мужик, хотя и очень высокого о себе мнения. С другой... Ему был хорошо знаком этот тип начальника, умело распекающего подчиненных за любую провинность, мечущего громы и молнии в обстановке, когда ему лично ничто не угрожает, и беспомощного перед лицом реальной опасности. Но если Полковник прав, то и Петрович не тот, кем кажется.

Немного постояв, Садовский медленным шагом, словно подчиняясь ритму какой-то торжественно-траурной церемонии, пошел к воинскому захоронению – простому обелиску

с гранитной стелой и плитами по периметру площадки, на которых были высечены фамилии и инициалы павших в боях за Родину.

Он долго бродил по ярко зеленеющей, наполненной весенними соками траве, переходя от плиты к плите, как будто пытаясь увидеть нечто большее, чем могло открыться взору, понять что-то важное, постоянно ускользающее от его разума.

Здесь покоились тысячи. Наверное, немногим меньше, чем погибло за все время первой чеченской войны. Такую цену пришлось заплатить всего за несколько окрестных деревень, названий которых теперь никто уже и не вспомнит. Что же это была за война, спрашивал он себя, если даже в такой глуши мы теряли целые дивизии и какой мерой теперь можно отмерять его собственную жизнь, первую половину которой он посвятил профессии, суть которой – подготовка к войне, участие в войне и подготовка к войне тех, кто еще не принимал в ней участия?

Вторую половину жизни его больше волновал вопрос: как в этом мире вообще возможна война? Насколько она укоренена в человеке? В нем самом? И как о ней можно забыть, если она стала частью тебя, твоей сутью и, что самое печальное, остаточным смыслом жизни, как ни тяжело было в этом самому себе признаться. Если ты был на войне, то ты навеки ею искалечен, даже если остался цел и невредим. Она рвет какие-то важные струны души и ввергает в тишину, которая

стократ страшнее адского грохота и горячки боя.

Его поколению выпала не война, а войнушка. И не одна, а несколько. Но правда состоит в том, что погибали на этих войнушках не понарошку, а по-настоящему. В каком-то смысле им было даже труднее. Они не знали, за что воюют и почему их предала страна, за которую они умирали. Не бывает больших и малых войн. Смерть везде одинакова, везде страшна и противоестественна и везде у человека только одна жизнь. Поэтому всякая война для него безмерно огромна, чревата тотальной утратой, полным вычеркиванием себя из списков живых.

Он много читал и думал о войне, пытался похоронить войну в себе, но это было уже невозможно. Война – событие еретическое, далекое от всех известных заповедей, самый безбожный способ лишить человека образа и подобия божьего. Она соединяет несоединимое, делает изначальное относительным, а относительное изначальным, чуждое и противоестественное органично присущим, а присущее – извращенным, разделяет, казалось бы, навеки слиянное, меняет местами небо и землю, добро и зло, смешивая их в единое целое. В ней все за гранью, за порогом понимания и нет в ее проявлениях ни здравого, ни безумного, ни человеческого, ни звериного. Только буквальное следования логике военного времени и целесообразность действий, подчиненных необходимости уничтожения себе подобных. Здесь святые убивают, а грешники становятся святыми, робкие и боязли-

вые проявляют чудеса храбрости, а герои превращаются в трусливые ничтожества, потому что нет ни тех, ни других, а есть лишь бесконечное преодоление себя исключительным напряжением сил в исключительных обстоятельствах. Война – это вызов, напоминание о варварской сути нашей цивилизации, фарисействе религии и лживости культуры. Нет никаких экономических интересов, никакого продолжения политики военными методами, есть лишь человек, который несет в себе этот вечный изъян, продираясь сквозь дебри истории. В нем причина. В нем и следствие. И пока не искоренена эта причина в человеке, война как следствие будет неизбежна, потому что нет, наверное, ничего более противного и вместе с тем более близкого, естественно присущего человеческой натуре, чем война. Она в природе человека и чтобы избавиться от нее, ему надо превзойти себя, свою природу. Что и пытались сделать во все времена проповедники мировых религий. Но пути их заповедей оказались слишком непрочны и ничего по сути не изменили ни в человеке, ни в мире. Прогресс сделал кровопролитие еще более комфортным, дистанционно удаленным, анонимным делом – теперь можно уничтожать людей со спокойной совестью, находясь в уютном офисе на вполне безопасном расстоянии от своих жертв. И если человек не сделается человечнее он просто не выживет. Он сам поставил себя на шаткие мостки, нависающие над пропастью...

И еще. Говорят, в окопах атеистов нет. Но если и молился

он, то не о себе, а о тех мальчишках, которых вел в бой. Потому что истинное предназначение и истинная доблесть командира в том, чтобы выполнить боевую задачу малой кровью, сумев сохранить жизни своих ребят. Он в ответе за каждого и жизнь каждого, взятую взаймы, обязан непременно вернуть. Иначе нет и не будет ему прощения.

И эти мальчишки, понимая все о своем комбате, отвечали ему тем же. И если посылал он их на смерть, то и сам шел в первых рядах, неизбежно принимая все на себя. И не раз прикрывали его своими телами други его, и гибли, чтобы не погиб он, и ничего с этим нельзя было поделать. Он сам их так воспитал.

И не спился он лишь потому, что ни одна смерть в его батальоне не была напрасной и бессмысленной, не легла тяжелым камнем на сердце. Только со снами своими, свирепыми ночными кошмарами, которые оказались сильнее его воли, прочнее его характера он совладать не мог. Они жили как будто сами по себе и, судя по всему, готовы были пережить его самого.

С другой стороны, на войне все было ясно и все просто. Был какой-то элементарный смысл, какая-то последовательность в поступках. А теперь, наблюдая за тем, как равнодушно катится чужая, беспамятная, равнодушная к тем боевым потерям жизнь – жизнь как жизнь, такая же нелепая, суматошная, полная забот и тревог, скупая на радости и обретения, как и всегда, везде и всюду, он уже сомневался, за та-

кую ли жизнь умирали его боевые друзья и их истолченные в ступе войны до земного праха деды. Понятно, что за мирную и благополучную, без больших потрясений, без войн, но за такую ли? Всегда кто-то оказывается обманутым. Потому что обманут тот, кто забыт...

Садовский надолго замер перед плитой, на которой обнаружил восьмерых однофамильцев деду и даже одного полного его тезку – старшего сержанта И.М.Назарова.

Дед был рядовым...

Он достал из кармана доставшийся ему от бабушки настоящий крестик – с щербинкой на ножке, нанизанный через колечко на льняную сученую нитку. Точно такой же носил его дед. На «смертник» – бакелитовый или эбонитовый пенал-шестигранник или гильзу с запиской, по которой можно было идентифицировать погибшего бойца надежды было мало. В то время их носили единицы. Да и бумага с исчезающими на ней письменами зачастую истлевала, не выдерживая поединка со временем. Крестик был едва ли не единственной тропкой, которая могла привести его к деду...

В этот момент ему показалось, что он слышит отдаленный металлический стук, напоминавший удары молота о железнодорожный костыль или монтировки о подвешенный рельс. Похоже, где-то в соседней деревне – Пожалеево или Ключах – объявили сход. А может, заработала кузница.

Садовский вернулся к перекрестку. В доме, в котором по некоторым признакам угадывалась деревенская администра-

ция он встретил главу поселения, Ольгу Васильевну – простую русскую женщину за пятьдесят с удивительно певучим голосом и грамотной рассудительной речью. Все у нее здесь было по-домашнему, без затей и даже по кабинету она ходила в тапочках с помпонами. И к руководящей своей должности относилась, судя по всему, как к обязанностям главы семьи. Для нее было важно, чтобы все были сыты, одеты, обуты, чтобы в доме было чисто и убрано, все сидели на лавках в тепле и по праздникам каждый получал свой пирожок с повидлом. По всему было видно, что всю свою жизнь прожила она в этой деревне, где по старинке верят в Бога, почитают старших, побаиваются больших городских чинов, доверяют газетам, радио, телевидению и через поколения, где-то на генном уровне помнят войну.

Садовский вкратце объяснил, зачем приехал. Слушала она внимательно и, как ему показалось, сочувственно. Не он первый, не он последний, здесь к таким каликам переходим уже давно привыкли. Понимая, что человек проделал неблизкий путь, устал и наверняка проголодался глава поселения предложила ему остановиться в своем кабинете. Само собой, бесплатно. Свои, кузьминкинские, если надо, ее и дома найдут. Тем более впереди выходные, праздники... И даже предложила кое-какие нехитрые продукты – хлеб, молоко, вареные яйца, чтобы гость не заскучал.

– Да что вы, не надо, – смутился Садовский, тронутый таким вниманием. – Подскажите лучше, нет ли тут свободной

избы. Сниму угол у какой-нибудь бабки-ежки. И мне будет удобно, и ей – к пенсии прибавка и по хозяйству помощь, дрова там нарубить, воду принести...

– Ну, углов-то у нас достаточно. Выбирайте любой, – смеясь, ответила она. Смех у нее был молодой, улыбка открытая, располагающая.

На минуту Ольга Васильевна задумалась, словно решая какую-то веселую, но заковыристую загадку и, бесшабашно махнув рукой, произнесла:

– О, отведу-ка я вас к бабе Любе. И вам спокойно будет, и ей не накладно. Может и поможет вам чем – говорунья она знатная и память у нее хорошая. Только о деньгах с ней не заговаривайте, все равно не возьмет...

«Удивительно, – подумал он. – Живут бедно, почти в нищете, а выгоды не ищут, за рублем не гонятся. Все просто, сердечно. Неужели в наших селах еще сохранились такие люди?»

Они прошли по грязной, раскисшей от дождя улочке мимо пригорка, на котором стояло одинокое дерево и остановились у старой кособокой избы, спрятавшейся в бурьяне, как гриб-подосиновик в жухлой траве. Глава поселения без стука вошла в дом и громко спросила:

– Баба Люба, ты дома что ль?

– Кому люба, а кому и так себе, – донесся из глубины дома старческий голос. Очевидно, это была обычная присказка. – Заходи, доча...

– А я тебе гостя привела. Приютишь? Человек приличный, из города...

Садовский поднялся на крыльцо, заглянул внутрь и увидел маленькую старушку в очках на резинке. Ее огромные наивно-любопытные глаза в биноккулярных линзах, казалось, заглядывали в самую душу.

– Ты чей будешь, сынок? Колтуновых, Лемаевых или Комаровых? – спросила у него баба Люба.

– А я ни тех, ни тех.

– Это как?

– Садовский я.

– Что-то не знаю таких, – игриво покачала головой старушка. – Издалека приезжий что ль?

– Да, бабушка.

– А к кому приехал-то?

– К деду. Пропал без вести в сорок втором дед мой. В этих самых краях...

– Стало быть ищешь его? Ну, помогай Бог...

Ему отвели крохотную горницу, где едва помещалась железная односпальная кровать и тумбочка.

– Не обессудь, сынок, живем как можем. А ты располагайся, будь как дома.

– Ну, если что надо – обращайтесь, – сказала Ольга Васильевна, уходя. – Вам любой подскажет, где меня найти.

Баба Люба показала ему избу, провела во двор, объяснила где у нее что находится и посетовала на протекающую в

сенях крышу.

– Ну, это мы исправим, – успокоил ее Садовский.

– А сможешь? – не поверила она. – Ты вон уже не слишком молодой, сверзнешься с крыши-то.

– Не сверзнусь, бабуля, у меня парашют есть. Я бывший десантник...

– Десантник это хорошо. В войну много их здесь полегло. Бригада целая иль две. Молодцы, все один к одному, не чета нынешним оглоедам...

Баба Люба немного всплакнула, но быстро справилась со своими чувствами.

– От, идут уже...

Она кивнула на навьюченных работяг с рюкзаками и лопатами, топавших мимо.

– Хай Гитлер, бабка! – поприветствовал ее один из них, тщедушный чернявый парнишка в немецкой пилотке с орлом и свастикой серо-мышинного цвета.

– Тьфу, сатанинское отродье, – плюнула в их сторону старушка.

– Кто это? – спросил Садовский.

– Черные копатели, – зло прошамкала она. – Их бы сюда в войну, вот бы повеселились, ироды.

– А вы помните, что здесь было?

– Конечно, как сейчас. Мне уже двенадцать годков было, партизанила я. Медаль имею, – гордо заявила она.

– Какую медаль?

– Да так, круглую, как у всех, за Победу, – отчего-то стусевалась она. – Я-то что, вот подружка моя, Катька Семенова, так та бедовая девка была. Пулеметчика раненого сменила! И стреляла, пока все патроны не исстреляла! Да, было дело... Мы все тут помаленьку партизанили, охо-хо... Шибче всех мой родной дядька. Сам начальник Главфанерпрома товарищ Вараксин с ним ручкался! В ту пору бригадир цеха он был, дядька мой. Это, значит, в Старой Руссе на фанерном комбинате. А потом стал командиром партизанского отряда. Погиб... А где погиб – не знаю... Не стало его. Все война, подлая. Все она.

– А пулеметчица ваша, жива она?

– Да куда там. Годков двадцать как померла. Она-то постарше меня была. Да и мне, видать, пора. Скоро уже...

– Жить, бабушка, надо долго, желательно, лет до ста, чтобы вернуть от государства все, что оно вам задолжало. Хотя бы в виде пенсии...

– Да какая там пенсия – слезы одне. Огород моя пенсия... А у тебя она сколь?

Он назвал.

– Видать, заслуженный ты человек, – уважительно покачала головой она. – У меня и четвертушки от твоей не будет.

«Да, – подумал Садовский, – после выдачи такой пенсии человек, трудившийся всю жизнь не покладая рук, впадает, как выразился один философ, в оцепенелое глазение на голую наличность».

– И что теперь делать будешь?

– Сейчас почию крышу. Вечерком сварю чучвару, поужинаю с вами и лягу на эту роскошную кровать. Просплю всю ночь, как ленивая чурчхела. А завтра на рекогносцировку.

– Да ты не торопись так с крышей-то. Подождет она, не обвалится. Отдыхай, соколик. Видно, забот у тебя хватат... Одна, чучрела или как ее там чего стоит...

Садовский подогнал джип, достал из него свой зиповский ящик, в котором было все – от самореза до бензопилы, вырезал кусок рубероида и залатал крышу. На все про все у него ушло не больше часа. Все это время баба Люба рассказывала ему «про старое житье – как все было и как уже не будет», сидя на завалинке у крыльца.

Напрасно он вслушивался в местную речь. Никаких особенностей, неожиданно редких, золотых словечек и звонких колокольцев, россыпей народной мудрости он в ней не обнаружил. Телевизор обнулил все диалекты. Теперь все разговаривали на каком-то усредненном новомосковском или среднепитерском наречии. И только старики еще могли что-то вспомнить... Что-то изначальное, чудом сохранившееся в говоре. Но и это уходило, чтобы уйти безвозвратно.

Со слов бабы Любы выходило, что бои в районе Кузьминок и железнодорожной станции Беглово развернулись ожесточенные. Бешеный натиск врага помогало отражать бойцам штыковой дивизии практически все местное население.

ние. Мужская половина была незаменима там, где требовались ездвые, проводники, разведчики. Женская – в тылу, в прачечном отряде, санротах и на кухне. А ученики старших классов Кузьминкинской и Бегловской школ непосредственно участвовали в боях, поднося патроны и зачастую заменяя собой убитых и раненых красноармейцев. Гитлеровцы наседали с трех направлений – со стороны Пустыни, Махлюево и Ольхи, но так ничего и не добились.

– Намолотили их тогда страсть сколько, фрицев этих, – охала баба Люба. – Хоронить не хоронили – земля-то твердая, зима стояла лютая, такой больше и не было никогда. Клали этих цуциков на лед, как мерзлые полешки, чтобы вешний паводок унес их в Ильмень-озеро. Так и получилось – уплыли все...

Садовский слушал и поражался, насколько свежи и отчетливы были ее воспоминания. Наверное, самое трудное и невыносимое в процессе старения – помнить себя молодым. Если бы природа под закат жизни начисто стирала нам память это было бы гораздо милосерднее. Что, собственно, она и делает, посылая избавление в виде склероза или других болезней, когда человек уже не помнит себя и не понимает, что происходит вокруг. Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли...

Баба Люба действительно все помнила. По-видимому, она была последней, кто помнил все это.

– Что ж получается – немцы не наступали на Кузьминки

только со стороны Курляндского? – спросил Садовский.

– Так вроде и получается... – горестно вздохнула Баба Люба.

– А цела еще эта деревня? Больно странное у нее название... Латышское...

– Так латыши ее и основали, в царские еще времена. Теперь дети уехали, старики поумирали. Еще одну деревеньку прибрала война.

– Так война уже давно закончилась...

– Кто сказал?

Шел второй год войны. 21 ноября 1942 года, по сообщениям Советского Информбюро, наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, Нальчика и Туапсе.

К этому времени на фронтах установилось шаткое равновесие – наступательный порыв вермахта иссяк, что было чревато потерей стратегической инициативы. Восточный фронт, как докладывали фюреру, был подобен швейцарскому сыру, в котором дыр больше, чем собственно сыра. Ударный клин группы армий «Б» увяз у берегов Волги, план «Эдельвейс», предполагавший захват грозненской и бакинской нефти, фактически провалился: дойдя до предгорьев Главного Кавказского хребта и водрузив флаг на высочайшей вершине Европы – Эльбрусе, группа армий «А» забуксовала. Казбек оказался ей уже не по зубам.

Уже был забыт план молниеносной войны и забит пер-

вый гвоздь в гроб 6-й армии Паулюса – двумя днями раньше началась операция «Уран», целью которой было окружение сталинградской группировки. В ходе наступления наших войск, как сообщалось в сводке, удалось полностью разгромить шесть пехотных и одну танковую дивизии противника и за три дня боёв захватить 13 тысяч пленных.

Близость предстоящей зимы вселяла в завоевателей почти суеверный ужас – многие из них уже не чаяли ее пережить и потому надеялись, что Гитлеру удастся заключить мир до наступления морозов на выгодных для Германии условиях по линии Архангельск – Астрахань.

На Северо-Западном фронте было относительно спокойно – редкие артиллерийские перестрелки, снайперские дуэли, спорадически вспыхивающие тут и там стычки... В делянском «котле» не было сплошной линии обороны – она строилась из опорных пунктов и узлов сопротивления, расположенных в населенных пунктах и зачастую удаленных друг от друга на несколько километров. Такая оборонительная тактика получила название «жемчужное ожерелье».

Пустыня, превращенная немцами в хорошо укрепленную базу, была в этом «ювелирном украшении» одной из наиболее крупных и ценных жемчужин. К концу 1942 года от самой деревни остался только топоним да развалины церкви, но это ничуть не умаляло ее значения. Георгий Константинович Жуков, на тот момент генерал армии, представитель Ставки Верховного Главнокомандования, побывав в сосед-

ней деревне, лично поставил задачу в двухнедельный срок подготовить штурм Пустыни и решительной атакой овладеть ей.

Утром 21 ноября артиллерия обрушила на нее и соседние опорные пункты ураганный огонь. Земля гудела, стонала и ходила ходуном. Даже чудом уцелевшая на обратном скате высоты баня, переоборудованная в дзот, после артподготовки была превращена в груды смешанных с грязью бревенчатых обломков, а белоснежная поляна – в чадающее серо-коричневое месиво, в котором, казалось, не осталось ничего живого...

И как заключительный аккорд этого апокалиптического концерта грянул залп «сталинских органов» – дивизиона «катюш». Такой огневой мощи солдатам вермахта испытывать еще не приходилось. Это было похоже на возмездие, и воспринималось ими как возмездие, которое с незапамятных времен неизбежно настигало каждого, кто приходил на эту землю с мечом...

В час дня, согласно распоряжению штаба, батальон моряков Черноморского флота из состава стрелковой дивизии, возглавляемой полковником Штыковым, пошел в наступление. Следуя за огненным валом, севастопольские морпехи, которых тащили за собой на волокушах из листового железа танки – мимо свежих воронок и сгоревших в предыдущих боях бронеединиц (в них с трудом можно было опознать безбашенную «Матильду», раскуроченный прямым попадани-

ем авиабомбы «Валлентайн» и пару-тройку подбитых в сентябре Т-34) – достигли первой линии окопов противника, быстро спешили, рассредоточились и черным смерчем обрушились на врага.

После короткого рукопашного боя все было кончено – злосчастная Пустыня была взята. Почти без потерь. Об этом просигналил флажками с разбитой колокольни чумазый связист в бескозырке.

Итог боя – полностью уничтоженный батальон 122-й пехотной дивизии. И 13 пленных – жалких полураздетых заморышей в рванье, прыгающих практически босиком на снежном насте. В голове у краснофлотцев не укладывалось, как всю зиму, весну и лето наши испытанные в боях орлы 26-й «Сталинской» и 202-й штыковской дивизий не могли одолеть этих бедолаг. Ненависти во взглядах севастипольцев не было – только гадливая жалость и презрение.

Спустя два дня пала и высота с отметкой 80.8.

Приказ Ставки был выполнен.

Этот бой разительно отличался от того, что было до него и что последовало после. В нем соединилось воедино все, что так необходимо для разгрома обороняющегося противника и чего так не хватало не только на демянском выступе, но и на многих других участках фронта.

Враг был по-прежнему силен, расчетлив и безжалостен. И жестоко наказывал за нежелание или неспособность постигать науку боя. Филигранная работа штабов, хорошо по-

ставленная наземная и авиаразведка, позволявшая исправно получать необходимую информацию о передвижениях наших войск, их составе и численности (в небе над головами наших солдат постоянно висел «костыль» – самолет-корректировщик), радиоперехват, четко налаженное взаимодействие между родами войск и видами вооружений, уверенность немецкого солдата в собственном превосходстве – все это превращало вермахт в совершеннейшую машину смерти, действовавшую по отработанному, но весьма эффективно-му шаблону. Бой для немцев зачастую прерасался в рутинное занятие по огневой подготовке с заранее определенными реперами и пристрелянными целями. После бомбардировки «юнкерсов» приходила очередь Бога войны – артиллерии, затем наступающих встречали минно-взрывные заграждения, ряды «колючки» и шквал фронтального, перекрестного и фланкирующего ружейно-пулеметного огня. И если вражеские бомбы и снаряды немилосердно разрывали людей на части, то осколки и пули действовали более гуманно – просто убивали или калечили...

Истекая кровью, наша плохо обученная, измотанная непрерывными боями, маршами и передислокациями, надломленная поражениями героическая пехота упорно шла вперед. Ее оружием была винтовка, граната, саперная лопатка и штык...

Война еще три месяца не уходила из этих мест. И только после того, как дивизии II армейского корпуса, несмотря на

отчаянные попытки нескольких общевойсковых армий Северо-Западного фронта воспрепятствовать этому были выведены из «графства» через узкое горлышко рамушевского коридора она покатила дальше, на Запад.

По странному стечению обстоятельств, решающая роль в этой операции принадлежала командующему группировкой, попавшей в демьянский «котел», графу фон Брокдорф-Алефельдту, одному из участников неудавшегося антигитлеровского переворота, избежавшему виселицы только благодаря своей скоростной смерти, и генералу Вальтеру фон Зейдлиц-Курцбаху, пробившемуся навстречу окруженным войскам вермахта; меньше чем через год он был пленен в Сталинграде и впоследствии возглавил Национальный комитет «Свободная Германия», целью которого было свержение Гитлера.

Далеко не все моряки, участвовавшие во взятии Пустыни, дожили до этого дня. 9 января 1943 года от осколка снаряда погиб и генерал-майор Штыков...

Неся огромные, нередко бессмысленные потери, надорвавшиеся в сверхчеловеческом усилии полки, дивизии и корпуса Красной Армии устилали костями поля и леса необъятных пространств от Баренцева моря до Кавказа. А на смену павшим нескончаемым потоком шли новые, необстрелянные бойцы, нередко попадавшие на передовую, не пройдя даже начального военного обучения. Бывало, они погибали еще до того, как их фамилии вносились в списки части...

Но время шло, возвращались в строй после ранений бывалые фронтовики, мужали в боях прошедшие ускоренные курсы командиры, набирались мудрости и опыта битые немецкими генералами советские стратеги, заработала, наконец, эвакуированная в тыл оборонная промышленность, поднялся от мала до велика осознавший смертельную опасность, нависшую над страной, народ...

И после череды бездарных наступлений и проваленных операций случилось почти невозможное и вместе с тем неизбежное – Сталинградская битва, ставшая чудом для нас и кошмаром для гитлеровцев. И весь мир замер в тревожном ожидании, в предчувствии неумолимо приближающегося финала этой чудовищной, беспощадной, грозящей взаимным уничтожением бойни...

В битве за руины Сталинграда, где жестокая схватка шла за каждый метр земли, кирпичной кладки и воронки от снаряда, за каждый коридор, этаж, подвал и оконный проем обессилевший, потерявший веру в себя и гений фюрера, утративший человеческий облик доблестный немецкий солдат, наконец, остановился. Доев последнюю лошадь, израсходовав последний патрон, докурив последнюю сигарету, он в изнеможении рухнул на мерзлую, щедро политую немецкой кровью землю и покорился своей участи. С гибелью армии Паулюса перед Германией впервые явился во всей своей неотвратимости и устрашающей беспощадности призрак грядущей катастрофы.

А в Пустыне, наконец, воцарился мир. Но это был абсолютно безжизненный, лишенный солнечного света, какой-то мертворожденный мир, ибо в деревне не осталось ни души. Теперь это была уже и не деревня вовсе, а действительно пустошь, навеки проклятая обезлюдевшая земля, исполненная кладбищенского духа и такого же давящего безмолвия, словно это место в соответствии со своим названием исполнило свое предназначение и приняло окончательный приговор судьбы.

И здесь, как могло показаться на первый взгляд, уже никто ни с кем не дрался, не спорил, не отстаивал свою правоту и не стоял за правду. И только разбитая снарядами, оцарапанная пулями и осколками церквушка на холме слепо взирала своими пустыми полуразрушенными окнами на израненную поляну, где когда-то ютились бедные крестьянские домишки и сараи.

Все сгорело в безумном огне яростных битв, все пошло прахом. Осталась только бритвенная острота елей, разлапистость редких дубов, коленопреклоненность ссутулившихся осин и скопления дремучего кустарника, переходящего в темень непроходимых чащ и смрад болот, в котором тонет даже «Ау!» и мерещутся перекошенные в крике «Ура!» лица сгинувших в вязком тумане прошлого солдат.

Когда из этих мест, грохоча коваными сапогами, ушла война, стало очевидно, что есть тишина и она неоднородна, многослойна, в ней множество смыслов и значений, во-

просов и недоговоренностей, что она не равнозначна вечному покою, монотонному гекзаметру смерти. И в этой живой, прозорливой, нарождающейся каждое мгновение тишине раздаются голоса.

И это было страшно, от этого обмирала душа, ибо зрела жуткая в своей очевидности вещая догадка, что эти почти неразличимые голоса принадлежат павшим, навеки оставшимся на поле боя и не упокоившимся окончательно; тишина наполнилась ими, обретая объем и звучание, сливаясь в свистящий шепот, неясный гул орудийной канонады, обрывки разговоров, неистовую ругань и множась, как эхо, стоны и крики...

В этой остановившейся реальности, застрявшей между двумя мирами – безоглядно живым и безнадежно мертвым все было незакончено, прервано во времени, схвачено в полужесте, полувзгляде, полувздохе. Здесь все так же прокладывала колонный путь, рубила заросли и гатила болото пехота, все так же срывали голос командиры, пытаясь добиться выполнения приказа от измученных, почти невменяемых бойцов, все так же поднимались в свою последнюю атаку оставшиеся в живых. Их бой был вечен, ибо они были обречены, не дойдя до последней черты все начинать сначала – изо дня в день, из года в год, из века в век. По неведомой, неизвестной людям причине мятущийся дух безвременно почивших в этой гиблой земле великомучеников никак не мог расстаться с бренными остатками бранных тел, и

терзался, и стонал, и не чаял освободиться от стягивавших его пут, распятый в этой адовой раздвоенности между святостью ратного подвига и грехом смертоубийства. И вопрошал, наполняясь непреходящим ужасом от пережитого и содеянного: что это было и зачем? И что же будет дальше с теми, кого по какому-то роковому заблуждению или недоразумению принято считать мертвыми, что ждет тех, кто был фатально обречен на рождение в небытие?

И как такое могло случиться – с нами?

– Как?

Вопрос упал в пустоту, растворился в ней, потому что не дошел до адресата и даже вряд ли был произнесен, поскольку не было ни вопрошавшего, ни того, к кому он был обращен. Просто каким-то образом изменилась тональность тишины, произошла тонкая ее настройка.

– Ты это у меня спрашиваешь? – пришло из ниоткуда.

– Кто здесь есть? Кто ты – кто спрашивать меня? – обеспокоилась одна из неисчислимых ипостасей тишины.

Это было похоже на продолжение диалога, у которого нет ни начала, ни конца, но есть потребность или свойство длиться, разворачиваясь во времени на границе того условного пространства, где скрижали с заповедями неотличимы от заевшей пластинки или надписи на заборе, а бесконечность закольцована, как змея, сама себя кусающая за хвост...

– Сначала ты назовись. А потом я...

Пустота неожиданно обрела образ и смысл, который стал

разветвляться и многократно, как звук или изображение отражаться и дробиться, запуская невидимый миру процесс метаболизма.

– Я не понимаю, как может быть – вопрос есть, а тот, кто прятаться за ним – нет...

И уже совсем рядом, почти осязаемо, в упор:

– На войне сначала стреляют. И только после этого задают вопросы. Разве не так?

– А мы еще на войне?

Время, вдруг ставшее паузой, оставило росчерк медленно гаснущего мгновения, в котором пустота с ее видимой бессодержательностью и безмолвие с его обманчивой глубиной и прозрачностью встретились.

– Не знаю. Наверное, – всколыхнулась, будто гладь воды, в которой заплескались отраженные в ночи звезды, уснувшая было тишина. Она еще помнила тот страшный освобождающий миг, когда все вокруг взрывалось криком, болью и разрывами снарядов.

– А где мои alte Kämpfer?

– Твои старые испытанные бойцы лежат тут же, в лесах и трясинах Новгородчины... Спи спокойно, фашистская сволочь, ты нашел свой бесславный конец.

– Verflucht!

– Теперь тебе только и остается, что посылать проклятья...

– Хочу Buergerbraeukeller, в Мюнхен!

– Пива нет и не будет. Точка.

– И тебе водка в три горла не жрать, руссиш швайн!

Прошла минута или вечность, прежде чем импульс, который исторгла пустота, пребывавшая в ветхозаветной безвидности, в которой ничего не происходит вновь достиг назначенного ему предела.

– Что ты тут делаешь? Тебя сюда никто не звал...

– Сюда это здесь? Я шел... Майн гот, куда же я шел... Да, я шел по равнина, огромный и безлюдный – нет ни живой на земле, ни мертвый под земля. И в голова мой звучать, как бим-бом, увертюра цум кантата Йоган Себастьян Бах «Господь – наш твердыня».

– Я не об этом. Что ты забыл в моей стране?

– О, это целый теория. А я есть великий теоретик!

– Валяй, теоретик.

– Орда большевиков хотел стирать с лица земли европейский цивилизаций, чтобы вырастить траву для свой конь и установить коммунизм на весь планета. Мы просто напередили вас. Принять неотложный мер.

– Мудозвонишь, как бесструнный балалаечник.

– Тут я не совсем хорошо знать ваш дикий язык. Ладно, оставим за скобка, едем дальше. Здесь, на Восток, куется великий рейх. Германия необходим лебенсраум для немецкий народ. И я целиком и полностью разделяю мнение майн фюрер в этот вопрос.

– И ради этого «жизненного пространства» вы готовы уби-

вать всех без разбора?

– Лебенсраум необходим, да, чтобы каждый немец иметь работа, хлеб и унтерменшен, люди низший раса, который будет на него арбайтен. Мы освобождаем русский народ от красный террор и власть жидов. Это есть железный фюрерпринцип! Мы несем культура унд ди орднунг. Что ты имешь? Два вершка, три горшка, ватерклозет на улица и голый жопа!

– Понятно. А знаешь ли ты, соратник Гитлера по зоологическому кружку, что в планы твоего фюрера входит освобождение оккупированных территорий от русского народа?

– Это есть большевистский пропаганда. И ты верить этот, так говорится, брехня?

– Так – повсюду, куда бы ни ступала нога немецкого солдата. Таков ваш порядок?

– Мы – херренфольк!

– Чего?

– Раса господ! И наш воля – закон!

– Зверье вы, а не раса господ. И отстреливать вас надо, как бешенных собак.

– А это есть вопрос – кто кого. Помнишь ты, большевицкий отродья, горы трупов, который лежать в красноармейский шинелька, ватник, гимнастерка, тельняшечка – все времена года и род войск в один сугроб! Мы пилил им на морозе нога, чтобы в теплый хаус потом отмерзать и снимать волшебный валенка...

– Помню. А еще я помню ваши кладбища с касками на крестах. Как по линейке – по вертикали, горизонтали, диагонали – у каждой деревни... Бедные, бедные немецкие солдаты! Они так измучились, убивая этих русских варваров! Часто обедая не вовремя, не досыпая, они неумоимо маршировали по пыльным дорогам этой проклятой страны, где, кажется, предательски стреляет каждый куст и война ведется не по правилам... Домаршировались... Только сейчас до вас стало доходить...

– Вас ист дас доходить?

– Не важно. Вы, кажется, уже поняли: кто пришел к нам, чтобы превратить нас в прах, тот в прах и обратится.

– Сказал прах.

– Я-то у себя дома. А ты... Ты стал прахом на чужбине. Я даю силу своей земле, а ты удобряешь собой чужую. И ради этого ты сложил свою буйную эсэсовскую голову?

– Мой подвиг золотым буквам вписать в книга героических дел доиче зольдатен!

– В книгу позора Германии.

– Я имею награду – Немецкий крест!

– Ага, «яичницу».

– Откуда ты знать, как мы его обзывать?

– От верблюда! Скольких наших ты положил, выслуживаясь перед начальством за свой «партийный значок для близоруких»? Будь моя воля убил бы тебя еще раз!

– Это теперь твой единственный развлечение. И мой, дон-

нерветтер, тоже. Сколько раз ты убить меня, столько и я тебя. Ду ферштест михь?

– Что ж тут непонятного...

– И я выполнить свой солдатский долг! Мой совесть требует безраздельный преданность фюрер, рейх и народ! И все, что я делаю, я делаю во имя это! Führerworte haben Gesetzeskraft – слово фюрера есть закон! Heil Hitler!

– Я тебя сейчас придушу...

– Но то же требует от тебя твой горячо возлюбленный партия и правительство! Как это по-русски говорить: валить с больной голова на нездоровый. Ты такой же я. И ты должен выполнять все, что тебе приказывать твой командир. Яволь! Приказ – это зов Отчизна! Заслушание – смерть!

– Я свою Родину защищаю. Свой дом. Советскую власть, которая высоко подняла простого человека. И все, на чем она держится – единство партии и народа, развитую индустрию, колхозный строй, бесплатную медицину и образование, всеобщую грамотность... Все наши достижения...

– Ты говорить, как ваш чокнутоватый комиссар.

– Я не партийный вожак, а всего лишь рядовой член ВКП(б). Меня в кандидаты в нашем паровозном депо приняли, а в саму партию – здесь, прямо перед боем. Для коммуниста что главное? Убеждения. И счастье всей жизни – быть не там, где он хочет, а там, где он нужен.

– Здесь ты как раз и нужен – черви кормить. Ты есть дункопф.

– А ты? Истинных арийцев черви пожирают с не меньшим аппетитом.

– Я несую идеи мой партия. А партия – не пансион благородный девица, а отряд испытанных боец. Я есть член Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei с 1940 год! И мы почти реализовать свой Fall Barbarossa!

– Вот и Fall тебе... Сам знаешь куда... Почти в Советской Союзе не считается. Накрылся ваш план медным тазом.

– О, я отлично пугать избушка на курячий ножка и будить русский медведь из пачка!

– Ты хотел сказать «из спячки»?

– Да, я котел сказать из пачки! И содрать с русский медведь три шкура, ха-ха! Сделать его драный кошка! Что молчишь, унтерменшен? Язык проглотал?

– Ничего. Теперь я знаю, как выглядит солдатский ад...

– Ад – это ваш проклятый русский зима, от него замерзать люди, дохнуть кони, слепнуть оптик и глохнуть техник! Эти вши, дизентерий и голодный паек! Этот ваш окаянный страна, который стрелять даже колобок из оглобля!

– Нет, фашистенбрут ты мой ненаглядный. Не потому ненаглядный, что насмотреться не могу, а потому что ни хрена тебя не видно. И слава Богу... Солдатский ад – это место в полузаваленном окопе, где ты, убитый, лежишь в обнимку с убитым тобой врагом и не можешь уже ничего изменить. Это война, в которой воюют не только живые, но и мертвые. Война, которая продолжается вечно.

– Я гордо поднятый голова и достоинство умолкаю. Gute Nacht, meine Herren.

– Вот и правильно. И тебе спокойной ночи. Только господ у нас давно нет, остались одни товарищи. Держим связь по радио и делегатами...

И как-то незаметно после очередного невнятного содроганья пустоты наступило тишайшее из всех безмолвий – безмолвие медленно падающего снега, укрывающего землю белым искристым саваном, безмолвие темной прозрачной воды закоряженного затона, в котором наверняка живет старый-престарый черт, давно утративший свою бесовскую прыть и желающий только одного – покоя, безмолвие одиночества человека перед Богом, по глубине своей сравнимое только с одиночеством солдата перед боем.

И не было в этой непрерывно нарождавшейся, будто сотворенной волхвами под Вифлеемской звездой тишине ничего, что нарушало бы гармонию всего сущего, умиротворенность душ и благозвучие небесных клавиш. Ничего, кроме вопроса, зацепившегося, будто перекасти-поле за ветви чахлого кустарника на развороченном бруствере: как вообще в этом мире возможна война? Ведь все что нас окружает заряжено любовью, сопряжено ее с началами и отражениями. И гравитация планет – тоже ее проявление. И космическая черная дыра, которая пожирает все вокруг вожделеет большего лишь потому, что тоскует о любви и страдает от неразделенного чувства. И даже грязь под ногами состоит из

влюбленных молекул, трепетно держащихся друг за дружку силой притяжения. И люди созданы единственно для того, чтобы радоваться солнышку, любить ближнего и творение Божье.

И только сила отталкивания напоминает нам о том, что мир несовершенен. Высшее проявление этой силы и есть война. И мы несем проклятие войны в своей крови, как первородный грех. И нет от него исцеления, нет ему ни оправдания, ни искупления, ни хоть сколько-нибудь внятного объяснения...

Далеко не каждый, кто прошел испытание войной может выдержать испытание миром. Даже упокоившись с миром, он продолжает свою войну и она не кончается в нем, и он в ней...

– Эй, фашистская сволочь.

– Что, руссиш швайн?

– Тебя как зовут?

– Ганс, как же еще. Хотя на самом деле Фриц. И не говори мне, что ты не Иван.

– Угадал, я Иван.

– Я вот только думаю, ты тот Иван, о котором я думаю, или не тот. Или это какой-то собирательный образ, развернутый во времени. Который подразумевает всех Иванов.

– Я тот Иван, о котором ты думаешь.

– Ну, здравствуй, майн Тод. Здравствуй, моя дурацкая смерть. А дурацкая потому, что ты – Иван-дурак. Теперь я

хоть знаю, как ты выглядишь...

– И тебе здравствовать, смертушка моя. Глаза б мои тебя не видели...

– Вот и договорились...

– Договорись у меня...

– Не надо пустых угроз. Руки у тебя коротышки.

– Зато штык оказался в самый раз. Ихь гратулире ди-хь, здесь тебе ничто не угрожает, потому что ты покойник, Фриц.

– И это вместо утреннего приветствия. Не с чем поздравлять. Теперь мною будут пугать ребятишек.

– Тобой и при жизни их пугали...

– Может, ты заткнешься? И без того меня переполняет Weltschmerz – мировая скорбь... Кошки на душе скребут...

– А разве не так? Скольких детей ты умертвил во славу своего фюрера?

– Ни одного. Не скрою, я получал приказы по поводу ликвидации, но исполняли их другие. И я, насколько мог, пытался облегчить участь этих несчастных...

– Я вижу охочь ты лить крокодильи слезы...

– Это я das Krokodil? Ты не веришь мне? Давай я расскажу тебе про один случай и ты сам решить, хорошо ли я поступил, гут? И мог ли поступить иначе...

– Ладно, рассказывай про свой случай...

– Слушай... Под Новгородом мы нашли лечебницу для психически больных детей. И я командовал расстрелом па-

циентов этой лечебницы. Я считаю, что применить к больным положение НСДАП об эвтаназии – das ist richtig, правильное решение. Один почтенный Herr Doctor Professor, с которым я имел беседу на эту тему, был согласен с таким подходом. Так или иначе, они неполноценные люди и это неизлечимо, хотя русские думают иначе...

– Фриц, ты рассуждаешь, как этот самый почтенный Herr Doctor Professor. Угадай ключевое слово...

– Будем считать, что я не заметил этого булавочного укола... Так вот. Лично сам я в этой экзекуции не участвовал. Я распоряжался. Выполнял приказ. И сделал все возможное, чтобы дети умерли счастливыми, без мучений, не успев ничего понять и почувствовать. Я положил на пенек горсть конфет и сказал им: «Подходите, дети, угощайтесь, это сказочный пенек. Там ваши лакомства. Это подарок великого фюрера! И поторопил их: «Шнеллер, шнеллер! А то зайка-попрыгайка все отберет! Бегите скорей!» И они побежали – радостно, напергонки, все, все, все... Тут раздались выстрелы... Они погибли на пике счастья. И не успели даже испугаться.

Помню, одна маленькая девочка не сразу бросилась за остальными. Наверное, что-то все-таки насторожило ее. А может, она просто не поняла, что нужно делать. Я легонечко подтолкнул ее и тогда она последовала за убежавшими детьми. Потом, когда солдаты закапывали ее труп я взял у нее из рук альбом. Она с ним никогда не расставалась. Для

нее этот альбом представлял особенную ценность. Я полистал, но ничего, кроме березок в нем не обнаружил. Девочка была больна, как и все остальные. И у нее была навязчивая мысль – рисовать березки...

– Гуманизм по-эсэсовски...

– Ничего не поделаешь – война. А во время войны необходимо жить по законам войны...

– Жить надо по правде и по законам совести, Фриц. Ты думаешь, война спишет все?

– Я думаю, что она не имеет ничего общего ни с правдой, ни с совестью... Это другая реальность.

– Реальность всегда одна. Не надо себя обманывать... Или ты остаешься человеком, или превращаешься в зверя...

– Я немец. И чувство долга для меня превыше всего.

– Превыше понимания? Превыше милости и сострадания?

– Зачем солдату думать, а тем более сострадать? На войне это слишком большая роскошь. Пусть за него думает ОКХ, главное командование сухопутных войск, генеральный штаб, das Oberkommando des Heeres. Долг солдата – выполнять приказы. Фюрер призвал нас забыть о морали, освободил, как сказал бы Ницше, от Минотавра совести. И как Господь Авраама благословил на жертвоприношение, на крестовый поход против большевизма. Приказом о комиссарах, Kommissarbefehl, директивой «Ночь и туман» нам было дозволено все – Alles ist erlaubt.

– Ваше чувство долга, которым вы так кичитесь, лишь удобная форма самообмана...

– Нас уже не изменить. Сущность наша отчеканена фюрером. И каждый из нас – его Knecht. И мы пришли, чтобы распять большевистскую Россию...

– И сами оказались распятыми. Однако распяли вас не как Христа, а как разбойника Варраву. Но если умирали вы на этом кресте с верой в Бога и раскаянием в сердце – вы не безнадежны.

– Давай-ка лучше сменим пластинку на этом патефоне...

– Воля твоя. А то наш разговор уже напоминает спор слепого с глухим.

– Расскажи-ка лучше, кем ты был в той, мирной жизни. Где твоя семья?

– Чего тут рассказывать... Сам я из-под Свердловска. Есть такое местечко – Мельзавод № 3 в Арамильском районе.

– Вас ист дас Мельзавод?

– Мукомольный завод. Еще в 1884 году купец Илья Симанов открыл на левом берегу реки Исеть у Кривцовского моста паровую вальцевую мельницу. С нее и пошел наш Мельзавод. Там я окончил школу, выучился на машиниста локомотива. Женился. Настрогал ребятишек – их у меня аж четверо...

– Ты многодетный отец? И как же тебя, главу такого большого семейства забрали на фронт?

– А так же, как и всех. Бронь сняли, семейное положение не учли. Иди, Иван, воюй, Родину защищай... Да я и сам бы пошел добровольцем. Только как-то все нескладно получилось... Во втором же бою... Такая вот солдатская невезуха. Что тут говорить... А ты, Фриц, из каких земель будешь?

– Я из маленького, но знаменитого на весь мир городка Танненберг, по-вашему Грюнвальд. Это севернее Варшавы и южнее Кенигсберга. В его окрестностях произошла великая битва Тевтонского ордена с объединенным польско-литовским войском...

– А, это там, где вам дали как следует прикурить...

– Не будем вдаваться в детали, суть не в этом. Я сейчас о другом. Танненберг известен тем, что в 1914 году там была наголову разбита 2-я русская армия генерала Самсонова. Она, кстати, как и ваша «Сталинская» дивизия, входила тогда в Северо-Западный фронт. Эти два сражения разделяло 500 лет и чтобы сохранить преемственность воинских традиций там был сооружен огромный [мемориал](#) с могилой президента [Гинденбурга](#). В детстве я часто его посещал, играл там с мальчишками. Но мой нежный возраст пришелся на очень тяжелое время – после поражения Германии в Первой мировой войне нам жилось трудно. Один североамериканский доллар стоил как четыре немецких марки с двенадцатью нулями. Я даже не знаю таких чисел, мы не проходили их на уроках математики. Я много помогал отцу и хорошо освоил кузнечное дело. У меня и фамилия подходящая

– Шмидт, что означает кузнец... В общем, с молодых ногтей я привык к самостоятельной жизни, честному труду и проникся настоящим прусским духом, который подразумевает власть вождя сверху вниз и ответственность перед вождем снизу вверх. И даже внешне старался походить на офицера-пруссак – носил усы щеточкой и презирал галстуки-бабочки... Потом меня призвали в армию, где я и состоялся как воин Великого Рейха. К этому времени я был уже всецело во власти идей фюрера. Как убежденного члена НСДАП меня определили в элитные войска. Вместе со своей дивизией SS «Totenkopf» я участвовал во французской кампании и, должен тебе признаться, Иван, что лучше десять раз завоевать Париж, чем один раз Старую Руссу...

– Да уж, тут тебе не Франция и сейчас не месяц май...

– Домой из Аквитании, где стояла наша дивизия, я вернулся настоящим героем. Среди особо отличившихся я был отправлен в отпуск. И тут меня настигли прекрасные глаза Гретхен, перед которыми я тут же капитулировал...

– Гретхен – это твоя девушка?

– Я, Гретхен дас ист майне мэдхен. Майне кляйне мэдхен.

– Короче баба твоя.

– Фу, какая вульгарность и пошлятина! Мой ангелочек, мой прекрасный мотылек не такой, а совсем, совсем другой. Гретхен, как простую русскую бабу нельзя схватить за руку и потащить на сеновал... Я боялся даже дотронуться до нее... Не мог надышаться...

– Зря. Может, именно этого она от тебя и ждала.

– Чего этого?

– Чтобы ты ее потискал.

– Ты грубый неотесанный мужлан с большим фаустпатроном... Как это возможно!? Ей еще, между прочим, даже семнадцати не было ... Она была невинна и хороша, как Марика Рёкк из «Die Frau meiner Träume». Одним словом, хрустальная принцесса.

– Понятно, девушка твоей мечты...

– Правильнее сказать моих грёз.

– Очень красивая?

– О, не то слово! Моя Гретхен была даже лучше Марики Рёкк – личико сердечком, зад колокольчиком... Прелестное создание...

– Почему была?

– Это грустная история. И если бы не война... А твоя фройляйн какая?

– Баба как баба. Любит петь, выпить не дура и плясунья хоть куда. Да и по хозяйству хваткая.

– В общем, никакой романтики. Вы русские все такие, вам не подвластны высокие чувства и тонкие материи. В чем суть и отличие немецкого духа? Сила, порядок, сентиментальность. Die Kraft, die Ordnung und die Rührseligkeit. Oder die Sentimentalität. В немецком языке существует целых четыре синонима этому слову. В русском синонимов нет. Вы не терпите сантиментов...

– Нас жизнь отучила от этого.

– И что же в сухом остатке?

– Долготерпение, стойкость и, наверное, извечная тоска о чем-то несбыточном. О сказочном Тридевятом царстве. Но ты не закончил. Про Гретхен...

– Она обещала ждать и дожидаться меня во что бы то ни стало. Я даже хотел уговорить дивизионного священника устроить нам удаленное бракосочетание, но тут с вашей стороны началось eine grosse Schweinerei – величайшее свинство. Атака за атакой, по несколько раз в день... Все отпуска отменили... И она нашла себе другого.

– Извини, Фриц, что смешал все твои карты.

– Я понимаю твой сарказм. Слава Господу, что все кончилось. У меня уже не оставалось сил выносить все это. Как голосит немецкая поговорка: лучше ужасный конец, чем ужас без конца...

– Вот мы и сделали вам как лучше.

– Не язви.

– Ладно. Не будем углубляться. И часто ты вспоминаешь о ней?

– Каждый день. Но несколько месяцев назад она стала снится мне в кошмарах.

– Что так?

– Однажды я видел, как расстреливали девчонку-партизанку. Здесь, в Свиное. Она была как две капли воды похожа на мою возлюбленную. Просто поразительное сходство.

Ты понимаешь, весь этот натурализм казни. Лицо в крови... Эта алая лента в косичках... И бессмысленный выкрик тоненьким, почти детским голосом: «Смерть фашистским оккупантам!» Я не мог на это смотреть. Хотя нервы у меня, как корабельные канаты.

– Твоя утонченная натура не могла такого вынести...

– Не надо. Я все понимаю. Друг потом тоже потешался надо мной...

– У тебя есть друг?

– Да. Один. Теперь уже, наверное, был, а не есть. Его звали Отто. Мы были с ним в одном пулеметном расчете. В том бою он прикрывал брешь, образовавшуюся в результате разрыва локтевой связи. А у тебя был друг?

– Да, земляк-уралец. Бедовый мужик. Скорей всего, погиб в том же бою, что и я.

– И Отто сложил голову вместе со мной... Я сам этого не видел, но что-то подсказывает мне... Где они сейчас?

– Думаю, где-то рядом. В одной из братских могил...

– Как мы с тобой?

– Надеюсь, их все-таки похоронили. Порознь...

– Не то что нас...

– Да уж...

– Ответь мне, Иван. Мы... действительно мертвы? Иногда меня берет сомнение.

– Очевидно, да. Мертвы наши тела.

– Что же от нас осталось?

– Наши неприкаянные души.

– Скажу тебе по секрету, я теперь червивый гриб...

– Почему?

– Потому что я погиб...

– Складно говоришь...

– Мне теперь не страшен грипп... Опять спросишь меня почему?

– Почему?

– Потому что я погиб!

– Ты забавный парень, Фриц. С тобой не соскучишься. И когда ты только так научился говорить по-русски?

– Я выучил по-русски только пару грязных ругательств. Помогает в боевой обстановке. И в жизни. Или в том, что вы называете жизнью. К дьяволу весь этот русский балаган, сотворенный каким-то сумасшедшим богом! Всю эту скроенную кое-как нелепую страну! Черт бы побрал всех этих ваших нищих, юродивых, петрушек и неваляшек, весь этот скомороший хлам. Неопалимые, непотопляемые, несбиваемые с ног, во сне и наяву они щерятся на нас своими беззубыми ртами и смеются сквозь кровавые слезы. Самое лучшее, что есть в России – это мат. Мат у вас крепче шнапса.

– И забористее водки, это точно.

– И ваши женщины. Да, ваши женщины. Они безбожно, просто дьявольски красивы... Но я всегда предпочитал соотечественниц. У меня были две немецкие девушки из организации «КДФ».

– Что это за организация такая?

– Kraft durch Freude – сила через радость. Мы прекрасно проводили время – до тех пор, пока не оказались в деревянном «котле». Потом я узнал, что их изнасиловали ваши негодяи из бригады РОНА, Русской Освободительной Народной Армии. Заполучили, так сказать, радость через силу.

– Они такие же наши, как и ваши.

– Ладно, опустим этот вопрос. А у тебя была фронтовая любовь?

– Откуда. Рядовому составу на передке не до этого. А вот у командного случаи бывали. Помню одну историю... Все, можно сказать, на моих глазах происходило.

– Расскажи.

– Как-нибудь в другой раз.

– Так не честно! Выкладывай!

– Об этой истории весь полк знал. Был у нас комбат. Лихой парень. Бесстрашный. И что самое главное, в военном деле подкованный. За мою недолгую службу в армии мне встречались разные командиры. Каждый из них был чем-то хорош и чем-то ущербен. Один был человеком без нервов, другой человеком без мозга, третий человеком без сердца, не говоря уже о чести и совести. Но преобладали, конечно, нормальные люди. Так вот наш комбат был командиром переднего края. Орел, одним словом. И была в нашем втором батальоне санинструктор – красавица, каких поискать и при этом большая умница. На нее все бойцы заглядывались. А

уж если легкое ранение – то только к ней на перевязку. Поговаривали, что она была на пятом месяце беременности, ждала от него ребенка. Не знаю, чем все закончилось. Живы ли. Так хотелось мне, понимаешь, чтобы они дожили до конца войны и были счастливы. От батальона после той атаки, наверное, мало что осталось...

– Это точно. Своим огнем мы сметали ваши цепи, как крошки с кухонного стола. Крошили в капусту. Эх, славный был бой! Одного не пойму – как ты добрался до нашего окопа. Похоже, ты был последним из погибших. И единственным, кто ринулся на нас в старую, как мир штыковую атаку. Один на целую роту! Угораздило же меня... Ты был быстрым, очень быстрым...

– Даже слишком.

– Но не быстрее пули.

– Не быстрее...

– Я в тебя, наверное, штук пять всадил. А ты все рвался вперед. И надо признать, было в этом что-то героическое. Да, Иван, было. Хотя героизм врага и принято называть фанатизмом... Наверное, ты считал себя заговоренным.

– Да нет, какой там. Правда, перед боем мы обменялись с моим другом-земляком нательными крестиками... Чтобы обмануть смерть. Не знаю, как он, но я смерть не обманул. Она меня.

– Как же так, Иван, тебе же положено быть атеистом!

– Нательный крестик и партбилет я всегда носил с собой.

Коммунизм он на партсобраниях хорош. А в окопах классики марксизма-ленинизма не подмога. Уповаю лишь на Бога одного или счастливый случай...

– И Бог не спас, и партия не защитила...

– Что верно то верно... Объясни-ка мне лучше, Фриц, вот что. Как это может быть: ты не знаешь русского, я не кумекаю по-немецки, а друг друга мы понимаем?

– Не знаю. Наверное, так положено. Там. То есть тут.

– Неужели для того, чтобы найти общий язык нужно было умереть? Иногда мне кажется, что если бы невозможно было убивать друг друга люди научились бы договариваться. Просто договариваться. Ничего другого им не осталось бы... Война эта проклятушая...

– Да, в прошлой жизни, Иван, мы вели себя как два младенца, которые без конца пинаются в детской кроватке. Кто кого вытолкнет... И зачем мы воевали?

– Воевали не мы.

– Ты прав. Воевали нами... Не дай себя заставить воевать собой. Если можешь.

– А если не можешь – постарайся просто выжить...

– Мы не смогли.

– Да, мы не смогли...

Извечные враги, обреченные до скончания века быть вместе, пребывающие в кошмаре непрекращающейся войны, в беспамятстве боя, еще не остывшие от ненависти, но шаг за шагом преодолевающие ее в себе, они лежали на дне разво-

роченного взрывом пулеметного гнезда в обнимку, как братья. Ведь все люди братья. И кто из них был Авель, а кто Каин, было неведомо. Возможно, оба они были Авелями. Возможно, Каинами, Каинами поневоле. И в этой нерасторжимости, неспособности быть порознь, в этих вечных объятиях они были обречены когда-нибудь прекратить вражду и сложить оружие, обрести нерушимый мир и вечный покой. Мертвые понимают, что это единственно возможный и неизбежный путь. Этим кончаются все войны. Живые этому противятся. Живым почему-то кажется, что для полного и всеобщего счастья, которое нередко понимается как счастье для избранных, кто-то должен умереть. И этот кто-то, конечно, кто-то другой, а не он...

Встав ни свет ни заря, Садовский тихо, чтобы не разбудить бабу Любу прокрался на улицу и остановился, пораженный многоголосием птичьего хора. Это была настоящая соловьиная истерика, как если бы все тенора, выступавшие когда-либо в Ла-Скала, зазвучали вдруг одновременно. Он постоял, послушал и с сожалением прервал этот удивительный концерт, заведя кашляющий двигатель своего джипа. «Пора, брат, пора менять воздушный фильтр и свечи»...

До урочища он добрался без поломок, пробуксовок и непредвиденных остановок, сходу форсировав несколько пересекавших дорогу ручейков. Затянутая туманом поляна встретила его утренним холодом и промозглой сыростью.

Чуть поодаль клубилась мрачная дубовая роща из деревьев-уродцев с артритными стволами и ветвями. У подножия холма он заметил две палатки цвета хаки и следы кострища с подвешенным над ним котелком. По-видимому, здесь квартировал отряд Петровича. На возвышенности возле опушки леса стояла полковничья «буханка», возле которой был разбит шатер. Рядом прилепилась маленькая, желтая, как цыпленок, палаточка-двухместка. Очевидно, все обитатели и того, и другого лагеря еще крепко спали.

Садовский решил осмотреть местность. Не торопясь, прошел по берегу Ларинки – речки порой спокойной, доверчиво льнущей к рукам, порой вертлявой, непоседливой и своенравной, как коза-дереза. Послушал ее журчание, побродил вдоль запруды, наблюдая за игрой мальков на мелководье...

Да, подумал он, есть у нас гиблые места и целые местности, в которых война поселилась на веки вечные; она присутствует тут не явно, а опосредованно, в виде воспоминаний и предчувствий, видений и снов. Здесь ходишь так, словно любым неосторожным движением боишься ее разбудить.

Садовский поднялся к развалинам церкви, притаившейся на вершине холма в редколесье. Устрашающе-святотатственный, разоренный ее вид навевал невеселые мысли; она как будто взывала о помощи к тем, кто был еще не окончательно потерян для покаяния. Но помочь ей было некому...

Вдруг он услышал какое-то невнятное бормотание, доносившееся из подточенных временем, зазубренных кирпич-

ных стен и чудом уцелевшей, как будто свежесмытой колокольни. Ступая по возможности тихо, он приблизился к источнику звука и через арочный проем увидел стоящего на коленях перед рукотворным алтарем старика, в котором сразу узнал блаженного Алексия. Перед ним была установлена горящая свеча и обгоревшая икона с изображением младенца Христа, более напоминающего отрока, чей взгляд был устремлен куда-то вправо и чуть вверх. Лик его казался вечно юным, дарующим свет и надежду, и вместе с тем суровым и неумолимым, таящим в себе невысказанную угрозу, словно Сын Божий говорил – «Мне отмщение, и аз воздам». Внутри первого яруса колокольни была навалена куча всевозможного тряпья с наброшенной поверх нее старой овчиной. Очевидно, это была ночлежка юродивого.

Молитва его напоминала жалобный плач, застывший на одной монотонной ноте; в дрожащем голосе молящегося сквозила такая бездна одиночества и беспросветной тоски, словно он давно и навсегда уверился в своей богооставленности.

– О, Превидная Владычице, молю тя умилено... – слезливо тянул старик, – изми от нас оклеветания и ссоры, сохрани от молниеноснаго грома, от запаления огненаго, от глада, труса, потопа и смертоносныя язвы... подаждь нам отраду, утешение, защиту и помощь...

«Странно, на иконе Иисус, а обращается он к Богоматери», – подумал Садовский, но не придавал этому особого зна-

чения. Все его внимание было поглощено словами молитвы, разобрать которые стоило большого труда.

– ...умоли Единородного Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да упокоит души усопших раб Твоих воинов Иоанна и Татианы, и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное...

Садовский не сразу заметил, что произнеся «аминь» блаженный Алексей умолк. Напряженный испытывающий взгляд старика был устремлен прямо на него. Мгновение они молча смотрели друг другу в глаза.

– А знаешь ли ты, мил человек, что смертию умрешь? – вдруг спросил юродивый вкрадчиво.

– Знаю. И что?

– Так ведь умрешь ведь.

– Так все умрут.

– Все да не все. Некоторые, кто жил праведно воскреснут.

– Ну это бабушка надвое сказала. Оттуда еще никто не возвращался, – пребывая в какой-то зыбкой и убаюкивающей, как набегающая волна морского прибоя, реальности отвечал Садовский.

– Востер ты на язык-то. Бабушка ему гадала, надвое сказала, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Одино и вернулся, кто все нам рассказал, как будет.

– Так это был Сын Божий.

– Так мы все сыны Его.

– На словах сыны. А на деле пасынки...

– Вот тебе и ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса!

Старик выглядел рассерженным.

– Так ты живешь здесь, старче? – спросил Садовский, чувствуя неловкость и вновь подступающее наваждение, природа которого была ему неведома. Этот старик вводил его в состояние некоей снопоподобной оглушенности и легкой спутанности сознания.

– Откуда сам-то будешь, старче?

– Родина моя – гноище, дом мой – навозная куча, сны мои – похабщина, – мелко захихикал блаженный Алексей и затряс бороденкой.

– А о чем молишься?

– А все о том же. Любви передай, что и ее грехи отмаливаю... И твои... Но запрешь свои, ибо грешен я...

«Это о ком он, о бабе Любе что ли? – удивился такой осведомленности Садовский. – А откуда он знает, что я...»

Тут вдруг со стороны поляны донеслись сердитые выкрики и скрежещущий звук, как будто кто-то в сердцах шандалахнул железом о железо. Похоже, там намечалась какая-то крупная разборка.

– Прости, старче, вынужден прерваться, – сказал Садовский и быстрым шагом спустился, почти сбежал с холма.

Издали это напоминало игру Царь горы. Одна команда защищала березовый крест с надетой на него ржавой немецкой каской, другая пыталась захватить пригорок, где он был

установлен.

Когда Садовский приблизился исход битвы был уже фактически предрешен: два крепких мужика деловито вытряхивали душу из Петровича, а Гена стоял на четвереньках, вытирая разбитую губу. Третий, незнакомый Садовскому парень, держа штыковую лопату наперевес, пытался прийти на помощь командиру своего отряда, но путь ему преграждал габаритный детина за центнер весом с трубой на плече, напоминающей трамвайную сцепку или карданный вал. Грудь его в распахнутой рубашке имела до неприличия женский вид – настолько, что хотелось прикрыть ее бюстгалтером. Между ними метался чернявый в пилотке солдата вермахта, а в стороне, равнодушно наблюдая за происходящим, стоял мрачный тип, которого Садовский видел в ресторане с эффектной блондинкой, похожей на Барби. Всем своим видом он как будто говорил: ребята, чем вы можете удивить человека, который вилкой легко может выколоть глаз? Что за возню вы тут устроили?

Силы были неравны. Стоявшие в отдалении Аля и Юля – одна с сучковатой палкой на плече, другая с растерянно опущенными руками – ничем не могли помочь. По всему выходило – быть Петровичу битому. И если не вмешаться немедленно – сильно битому.

– Что за войско!?! А ну расправили животы, убрали плечи! – с гонором пьяного дембеля заорал Садовский первое, что пришло ему в голову.

Есть такой избитый прием: ты произносишь какую-нибудь бредовую фразу типа «Где португя, профессор!? Почему майка в трусы не заправлена!?» И пока твой противник грузится – бьешь ему в челюсть. Но сходу вступать в бой Садовский поостерегся.

– Командира красных следопытов срочно к телефону, – уже спокойнее произнес он и вырвал из рук опешивших мужиков истерзанного Петровича. – Мэр Териберки на проводе...

– А ты кто такой? – спросил один из них, не веря такой наглости.

– Я из кружка друзей леса. Может, слышал про такой? «Лесовичок» называется.

– Эй, лесовичок, вали отсюда, – опомнился другой.

Этих двоих он мог сравнительно быстро нейтрализовать. Того, кто держал руках изобретение гениального ученого-мистика Джироламо Кардано – тоже. Главное правило в работе с тяжеловесом – не стой под стрелой и бей под основание крана. Но четвертый, по всей видимости, не был легкой добычей – в нем, как заметил Садовский еще в ресторане чувствовался опытный, хладнокровный, безжалостный боец.

– Шо це за птыца? Шо за незаможный селянин? Подывитесь, хлопцы...

Этот «с Запорижжя», понял Садовский.

– Дядя, вы с мозгами не поссорились? – подал голос чер-

нявый. К рукаву его тужурки был пришит шеврон танковой дивизии СС «Мёртвая голова» – череп со скрещенными костями на черном геральдическом щите.

– Один на один. Любой из вас, – внешне спокойно сказал Садовский. – Кто победит, тот и решает, что делать с этим крестом.

– Ты у меня захид сонця не побачишь, – распалаясь, двинулся ему навстречу здоровяк с карданом, но его одним движением руки остановил «телохранитель» Барби.

– Один на один, говоришь? – прищурился он.

– Ты и я, – уточнил Садовский, уже понимая, что вызов принят.

– Ух, щас потеха начнется! – предвкушая удовольствие от предстоящей драки азартно взвизгнул чернявый и как палочку для добычи огня потер ладонями нос.

Садовский повнимательнее присмотрелся к «телохранителю». Одет он был не по-бойцовски: обтягивающие джинсы, подчеркивавшие особенности его анатомии – и кавалерийскую параболу, и венчающую ее гиперболу – стесняли движения, мягкие кроссовки не представляли большой угрозы на верхних этажах, однако массивный торс с крепко посаженной на него квадратной башкой внушал уважение.

– Штаны по швам не разойдутся? – поделился своими опасениями Садовский.

– Вчера в «окно» угодил, пришлось чужие одолжить... – скривился в усмешке «телохранитель». – Да ты не бзди, я

тебя и без ног уделаю...

Для разминки Садовский сделал несколько размашистых ударов в воздух, потом попытался сделать «вертушку», но не удержал равновесия, и всей массой хлопнулся на траву.

– Как говорят в народе, есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах! – смущенно проговорил он, поднимаясь на ноги.

Весь этот концерт был рассчитан на одного зрителя. Садовский хотел убедить «телохранителя», что перед ним обычный увалень, с которым можно разобраться не напрягаясь, без особых проблем. Кажется, ему это удалось.

– Надо оттачивать мастерство. Или хоть что-нибудь... – сказал он, отряхиваясь.

– Например, ум, – подсказала блондинка. Она незаметно подошла к нему со спины и с интересом наблюдала за происходящим.

– Например, ум, – многозначительно повторил Садовский, имея в виду явно не себя. – Ты с ними?

– Я сама по себе.

– Но все-таки с ними.

– С ними, но сама по себе.

– Ну так вы будете тут махать или мне забыть вас навсегда? – начал проявлять нетерпение чернявый. – Альбина, уйди уже, а то мы все хотим досмотреть, шо тут будет...

– Ладно, ушатаю твоего альбиноса – тогда и поговорим...

«Телохранитель» набылчился и тяжело засопел – очевид-

но, сравнение с альбиносом его задело. Нужный эффект был достигнут, можно было начинать.

В первые несколько секунд Садовскому пришлось уйти в глухую защиту. Удары сыпались на него сериями, под разными, порой непредсказуемыми углами, но, к счастью, вскользь. Отступая и уворачиваясь, он «случайно» повалил крест и вместе с каской отшвырнул его в сторону. Выдержать такую массированную штурмовку оказалось непросто – перед ним был действительно сильный, быстро соображающий, хорошо обученный противник с нестандартной техникой боя. Улучив момент, Садовский ударил его ногой по коленной чашечке и провел связку «почтальон» – сдвоенный джеб левой и прямой правой.

– Убедительно. Но не убедил, – прорычал «телохранитель», сплевывая кровь.

Похоже, он только разогревался.

– А ну кончай этот балаган! – раздался властный голос Полковника, высунувшегося из своей «буханки». – Что вы тут устроили!?! Как пацаны, ей богу...

– Мы еще не закончили, лесовичок, – веско проговорил «телохранитель» и, немного прихрамывая, зашагал в сторону штаба на колесах. Чернявый, подняв поваленный крест и каску, понуро поплелся за ним. Остальные, в том числе и Барби последовали их примеру.

– Друг! – крикнул Полковник, обращаясь к Садовскому. – Можешь зайти на минутку?

Поскольку разведение враждующих сторон состоялось причин отказывать ему не было – конфликт в его острой фазе был исчерпан, Петрович находился в относительной безопасности, самому Садовскому в данный момент ничто вроде бы не угрожало. Почему бы не продолжить миротворческую миссию на территории потенциального врага, включив все возможные дипломатические рычаги? Привычно веселея от близкой опасности, он подошел к «буханке».

– Я же говорил, они шизанутые, эти патриоты, – с досадой проговорил Полковник. – Куришь?

– У меня свои...

– Почему надо непременно делить всех на своих и чужих? – демонстративно доставая сигарету из серебряного портсигара с орлом и свастикой, – проговорил он. – Война давно закончилась. И теперь мы все занимаемся одним делом – восстанавливаем историческую правду... Пусть одни ищут русских, а другие немцев, зачем друг другу мешать? А то, что мы похоронили штурмбаннфюрера СС – это же нормально... Так поступают все цивилизованные люди. Или мы дикари?

– Целого штурмбаннфюрера? – удивился Садовский.

– Ну как целого... Все, что от него осталось... – не понял посыла Полковник.

– Это его портсигар?

– Это мой портсигар. Мы же работаем на раскопе немецкого кладбища. И все, что находим – наше. А здесь, по сви-

детельству французского историка Жана Мабира, кого только не было – и пехотинцы, и эсэсовцы из боевой группы «Зимон», и даже парашютисты... Саму деревню обороняла пулеметно-минометная рота, которой командовал обер-лейтенант Плеш, тридцатая пехотная дивизия...

– У тебя тоже команда пестрая.

– Да уж, кого только нет. Ты, наверное, подумал – вот, драка наследников Победы с фашистскими недобитками... за территорию, бесценное наследие... Что там еще? Умы и сердца грядущих поколений. И, конечно, сразу принял сторону этих фанатиков, как же... Ну, увлеклись ребятишки нацистской символикой, заигрались в ваффен-СС... Но зачем же за лопаты хвататься?

– Ну да. Вообще-то я тоже патриот. Увижу березку – сразу начинаю обнимать ее, плакать и тосковать о России. Поэтому не надо при мне с придыханием о ваффен-СС...

– Да не об этом речь! – горячо возразил Полковник. – Мы должны знать, с кем воевали, как воевали... Что это была за война. Кого мы, в конце концов, победили. И самое главное – какой ценой... Ведь трупами закидали, чего уж там... Ты почитай, что пишут об этом участники тех событий. Кто еще не потерял остатков совести. И не совсем заврался. Тот же комдив Златоустовской дивизии. Слышал про такую?

– В этой дивизии воевал мой дед...

– Тогда тем более это нужно знать. Так вот он прямым текстом писал, что наша разведка практически бездействова-

ла, части и соединения, привожу его слова почти дословно, шли в наступление неподготовленными, сходу, при дефиците всего – боеприпасов, горючего, фуража, продовольствия. Ни хрена не было, понимаешь? А их – а бой. Управление войсками хуже некуда, решения принимались вопреки элементарному здравому смыслу. И за все просчеты, за бездарность командования и весь этот бардак, за русский «авось» приходилось платить солдатской кровью. Большой кровью...

– Можешь не продолжать. Воспоминания Павла Григорьевича Кузнецова я читал.

– И что? Что ты обо всем этом думаешь?

– Думаю, сначала надо поднять наших бойцов. Всех до единого. А потом, если у кого-то возникнет желание заниматься поисками героически погибших эсэсовцев. И ставить на их могилах не кресты, а придорожные камни с надписью – кто к нам с мечом придет... Ну, дальше ты знаешь, в школе учился, кино смотрел... Чтоб им и на том свете дышалось с трудом.

– Да с этим я тоже согласен. Только как отделить одних от других? Они ведь умирали на одной земле. Ищешь одно, а находишь другое. Счастье поисковика переменчиво.

– И давно вы его нашли?

– Штурмбаннфюрера Краузе? – спросил Полковник и прикусил язык.

– Даже фамилия его известна?

– Да, известна... В прошлую пятницу его нашли... В об-

щем, мы обнаружили при нем неотправленное письмо. Оно плохо сохранилось. Только подпись и обратный адрес... По-слушай, у меня к тебе просьба...

«А вот и причина внезапно наступившего перемирия и затянувшихся переговоров», – подумал Садовский, подозревая, что Полковнику с самого начала от него что-то было нужно.

– Тут дело такое. Завтра нужно встретить в Парфино одну девушку. Моя «буханка» что-то забарахлила. Боюсь застрять. Подъедешь? В долгу не останусь...

– Без вопросов.

– Тогда к трем на автостанцию. Зовут Светлана...

Из лагеря Полковника Садовский вышел беспрепятственно. «Полтора землекопа», как он прозвал про себя обидчиков Петровича проводили его угрюмыми взглядами, «хлопец с Запорижжя» процедил на мове что-то вроде «попался бы ты мне в окопах Донбасса» и только чернявый не выказал откровенной враждебности. И даже попытался с ним заговорить.

– Как дела, дядя? – спросил он с поддевкой.

– Спасибо, сидим на жопе ровно, песок весь уже высыпался, ждем, когда полезут камни.

– А ты приезжай к нам в Одессу. А че? Город у нас тихий, спокойный. В любой подворотне тебе аккуратно и вежливо могут обновить лепнину и фасад...

– Зачем так далеко ездить? В Воронеже тебе сделают то

же самое. И гораздо быстрее...

– Забей, не кипишуй, все ништяк, дядя! Ты думаешь мы кто тут?

– Кто?

Садовский даже приостановился. Ему действительно стало интересно, что думает о себе этот мозгляк.

– Мы нормальные адекватные нацики. Украинские патриоты.

– Braune Pest, вашу мать...

– Сам ты коричневая чума, – обиделся чернявый.

– Ладно, пока, гитлерюгенд...

Какой смысл что-то объяснять или доказывать людям, у которых мозги с «перевернутым фронтом»? А таких не только на Украине, но и в родной сторонкушке достаточно.

«Телохранителя» и Барби он увидел на пологой полянке возле излучины Ларинки. Они отрабатывали удары в спарринге – он в черном кимоно, которое трепетало на нем, как пиратский флаг на мачте судна, идущего на abordаж, она в ослепительно белом, идеально сидевшем на ее идеальной фигуре. Садовский спрятался за стволом дерева, чтобы понаблюдать за их тренировкой.

Барби работала красиво, с кошачьей грацией – движения ее были максимально экономны, точны до миллиметра и очень пластичны. «Телохранитель» шел вперед, как бульдозер, непрерывно атакуя увесистыми молотобойными ударами, то и дело норовя переломить ее как соломинку. Она отве-

чала блоками, нырками, уклонами вправо-влево и ответными хлесткими ударами. С прозрачным оранжевым козырьком от солнца и задорным хвостиком, порхающим вокруг ее головы, словно белка-летяга, она напоминала не девочку с обложки мужского журнала, а настоящую белокурую бестию на пике своей бесноватости.

Казалось, еще немного – и они начнут драться по-настоящему, в полный контакт. И в этот момент случилось то, чего Садовский не мог не предвидеть: войдя в раж, «телохрани-тель» все-таки хрястнул ее по носу, по ее маленькому аккуратному припудренному носику.

– Не так уж я и накозявила, чтобы ты меня приплюснул, – сдавленно произнесла она, сложившись пополам.

Он нагнулся над ней, пытаясь определить, насколько она травмирована, что-то пробурчал... Потом, потеряв к ней всякий интерес, развернулся и пошел в направлении лагеря. Тренировка, судя по всему, была закончена.

Садовский, стараясь не попадаться ему на глаза, спустился к реке, где Барби промывала прохладной водой свой распухший нос и намечающийся где-то на уровне скулы великолепный фингал.

– Ну и зверь, – сказал он.

– Это мой тренер... Тебе, кстати, повезло, что бой остановили. Он даже не успел как следует разозлиться, а ты уже начал замедляться...

– Зря ты говоришь, что я замедляюсь. В горизонтальной

динамике я могу развить более высокую скорость, чем ты при пикировании!

– Ты по сравнению со мной просто сидячая утка! – хмыкнула Барби.

– У меня грязно-белый пояс по карате. Настолько грязный, что почти черный... Где-то в машине. Надо бы простирнуть... Так ты мастер боевых искусств, Альбина?

– Альбина я для всяких мутных типов.

– А на самом деле?

– Для тебя – Алена. Ты вроде бы нормальный. Более-менее...

– Спасибо на добром слове. В вашем паноптикуме любой псих сойдет за нормального. Михаил...

– Ладно, лесовичок, мне пора, – засобиралась она. – Да и тебя твои лисички уже заждались...

Алена бросила взгляд в сторону лагеря Петровича, откуда уже поднимался волнующийся, изрядно прореженный, точно борода старика-Хоттабыча дым костра.

– Кстати, а эта емкость, которая образовалась у тебя под кубиками пресса тебе не помеха? Я так думаю, туда войдет не меньше кегля крафтового пива, – насмешливо сказала она, уходя.

– Кстати насчет кстати. Правая грудь не мешает тебе скакать на лошади и стрелять из лука? Никогда не видел живых амазонок...

Алена ничего не ответила и даже не оглянулась.

Он посмотрел ей вслед. Все на свете блондинки похожи друг на друга, как две капли воды. Но эта чем-то неуловимо отличалась от них. В ней было бы что-то кукольное или конфеточное, если бы не страдальческая складка у губ. Не кондиция. Бракованная Барби, подумал он.

В лагере Петровича его приняли радушно, как своего. И сразу предложили миску супа со стаканом самогона «смерть аристократам».

– Да ты просто герой, – сказал ему Юля. – Вышел один против этих мордоворотов.

– Ну да, – не стал скромничать Садовский. – Герой нашего времени. На заслуженном отдыхе...

Только пухленькая Аля держалась холодно и отстраненно. Это был особый тип женской мести, означавшей примерно следующее: теперь крутить шуры-муры я буду с кем угодно, только не с тобой. Даже если очень попросишь...

– Прошу всех к столу! – сказал парнишка, который пытался отбить у супостата командира своего отряда. Звали его Андреем.

– Алечка, пить будешь? – спросил он, очевидно, заметив, что отчего-то не все рады гостю.

– Я не пью...

– Непьющая Алечка, пить будешь? – еще раз спросил он.

– Ладно, наливай...

– Отчего-то, отчего-то пить охота, пить охота. Отчего же, господа, пить мне хочется всегда!

Вокруг перевернутого ящика, накрытого клеенкой, вмиг образовался тесный и очень теплый кружок единомышленников. Кто сидел на бревне, кто на пне, кто просто так, на траве, поджав под себя ноги.

– О чем с Полканом беседовали? – спросил Петрович как бы между прочим.

– Излагал мне диспозицию. Рассказывал об участниках обороны Пустыни. Одного я знаю. Это обер-лейтенант Плеш...

– Этот Плеш проел всю плешь...

– Это точно. А второй некто Краузе. Штурмбаннфюрер СС. Для меня загадка – как капитан из дивизии «Мертвая голова» оказался в таком неподходящем месте в подчинении у младшего по званию?

– Это тот, кому они поставили крест?

– Он самый.

– С землей сровняю, – проскрежетал Петрович. – Трактор из деревни подгоню – а сровняю... Понимаешь, понабирали всякого сброда и творят что хотят. Кого там только нет! Запорожский бандеровец из «Айдара», футбольный фанат из Одессы, бывший киллер, оборотень в погонах и так, всякая мелкая шушера... Одни ищут оружие, другие фашистскую символику, третьи иконы и драгоценности...

Садовский был склонен верить сказанному.

– А это правда, что вы с Полковником в одном отделе работали?

– Правда. Расскажу тебе как-нибудь. А сейчас на раскоп идти надо. И так времени много потеряли...

Петрович бросил укоризненный взгляд на пустые стаканы.

– Ты только не подумай – мы сюда не квасить приехали. Просто утро суматошное выдалось... Да, если интересуешься нашими технологиями – Андрей тебе все покажет, подскажет, объяснит. Тут особая сноровка нужна. Как у медвежатника, чтобы открыть мудреный сейф. Он в этом деле – лучший...

Андрей и в самом деле оказался уникалом. Этот лучезарный голубоглазый парнишка далеко не богатырского сложения, выражаясь языком Шекспира, был могильщиком, то есть зарабатывал себе на жизнь рытьем могил. И, надо сказать, неплохо зарабатывал. В одиночку он часа за два мог сдать «под гроб, как под ключ» нужного размера яму, прогрызаясь в землю сквозь камни, песок, корни деревьев, гниль и кладбищенский мусор хоть в самый лютый мороз. И там, где «полтора землекопа» провозились бы полдня, он играючи выполнял две-три нормы.

У него была при себе лопата конструкционной стали, была кирка, был лом и самый главный инструмент поисковика – крюк. В работе с ним он считался настоящим виртуозом – из грязи и болотной жижи мог выудить на свет божий и котелок, и ложку, и солдатские косточки, скорбные свидетельства минувшей войны, и даже осколок снаряда. А

однажды, говорят, вытащил из какой-то зловонной канавы, бывшей некогда окопом, «смертник», который впоследствии удалось прочитать.

Конечно, при таком роде занятий Андрей не мог не быть поэтом и немного философом. В своей профессиональной среде он слыл не только отменным работягой, но и мастером эпитафии, то есть мог грамотно упаковать и красиво, в стихах это обставить. Правда, от этого немного страдала его личная жизнь. Как-то познакомившись с одной впечатлительной девушкой, он признался ей, что у него очень много работы и что по ночам он частенько пишет некрологи. Она пришла в ужас. Андрей постарался успокоить ее, сказав, что некрологи он пишет не только ночью, но и днем. Больше они не встречались...

Весь день Садовский провел с поисковиками на раскопе, присматриваясь к их работе, подробно расспрашивая о прежних находках, слушая байки Петровича о службе в угрозыске и осторожно ковыряясь своей саперной лопаткой в лесных кочках. Ничего, кроме нескольких обгоревших гильз и лошадиной кости он не нашел. Итог работы всей команды – два противогАЗа, ржавый остов от винтовки-«мосинки» и заточка из немецкого дюрАля, изготовленная неизвестным умельцем.

Сама собой напрашивалась мысль о необходимости изменить алгоритм поисков, иначе их экспедиция могла затянуться до скончания века. Но как это сделать он не знал и

уже начинал сомневаться, что у них в итоге что-то получится. Петрович приводил свои доводы. «Если солдат захочет быть найденным он обязательно даст знать и мы его поднимем, – говорил он. – Иной раз исходишь с щупом и металлоискателем крохотный пяточок земли вдоль и поперек – нет ничего. Год нет, другой, третий... А потом вдруг земля заговорит, и пропавший без вести даст знак – здесь я! Можно тысячу раз пройти мимо одного и того же места и ничего не заметить. А в тысячу первый раз «зазвенит» или «само схватит за ногу». Сработает счастливый случай. Мистика? Может быть. Просто ты настраиваешься на волну, которая позволяет установить с ним связь. А что эта связь существует я убеждался не раз...»

Садовский верил и не верил. Точнее, знал, что от него в этой ситуации вряд ли что-нибудь зависит. Увы, горами движет не вера, не воля к власти или к жизни, не жажда славы и богатства и даже не либидо, а иллюзия. Когда она умрет – остановится все: иссякнет вера, ослабнет воля, исчезнет жажда, улетучится любовь и не останется ничего, что бы поддерживало человека перед лицом неизбежности. Быть может, это сказывалась накопленная за последние годы усталость, смертельная усталость от всего – от людей, от жизненных обстоятельств, от самого себя. Даже когда он чему-то радовался, то вопреки всему не чувствовал радости, но ощущал временное освобождение от усталости. Наверное, это и есть возраст. Наверное, это и есть опыт. Когда из жизни ухо-

дит радость она превращается в лист ожидания или копящую урну на трамвайной остановке.

– Все это смутно напоминает мне грязевулканы Тамани и нефтепромыслы Баку, – сказал Садовский, присаживаясь рядом с Юлей.

В отличие от Андрея, болтавшего без умолку, работала она молча, сосредоточенно, как сапер на минном поле, который не имеет права на ошибку. Ему нравилась такая старательность. Нравилась такая отстраненность. Она каким-то образом умела, оставаясь дружелюбной и приветливой, держать людей на известной дистанции. И только Але, своей лучшей подруге, позволяла некоторые вольности.

– Мы тут как золотодобытчики. Ради одной крупинки драгоценного металла перемываем тонны пустой породы. Сама не знаю, зачем мне все это нужно... Как-то затянуло и сама не заметила...

– Хорошее сравнение. Золотодобытчики...

– Можно вопрос? – вытащив щуп и внимательно посмотрев на его кончик, спросила Юля.

– Конечно.

– Ты ведь в городе проездом был? И вдруг – свидание. С кем?

– Случайная знакомая. Экскурсовод.

Я ее до дома провожал,

Крепко ее за руку держал.

Я ее до дому проводил.

О любви слова ей говорил...

– Красивая?

– Не знаю. Я ведь весь день искал, с кем бы соприкоснуться эрогенными зонами. А нашел Петровича. И вместе с ним упился до поросычьего визга.

– А чем ты сейчас занимаешься?

– Ответ все тот же. Ничем.

– И ни к чему не стремишься? Не строишь никаких планов? С женой вон развелся...

– Что есть то есть. Переживаю вторую молодость: опять хочется, а не с кем, негде и не на что.

– Странно. Такой видный, интересный мужчина. Можно сказать, в расцвете сил. Многого мог бы добиться, – вслух рассуждала Юля.

Наверное, стоило попытаться, подумал он. Только зачем? К тому же большой шишкой он стать уже не мог, для этого у него не было ни времени, ни денег, ни связей, а начальником средней руки не хотел – тогда все совещания, все переподвыперты и запердоны руководства твои, а он уже слишком великовозрастен для этого. Эти перспективные «лидеры России», которые уверены, что у них из одного места встает солнце, всякий раз, приходя на новую должность, отключают мозг и начинают креативить, а потом, когда дров наломано достаточно, идут по карьерной лестнице дальше. Приходящие за ними амбициозные недоучки начинают все с начала и своими «свежими идеями», «инновациями» и «кейсами»

окончательно разваливают то, что кое-как, с горем пополам еще работало...

– Неужели ты совсем-совсем ничего не хочешь?

– Почему же? Хочу стать начальником цеха насосно-фильтровальной станции. Насос качает, фильтр фильтрует. Ты ничего не делаешь, но чувствуешь себя большим человеком. Да, что-то наполеоновское во мне все-таки есть...

– А если серьезно?

– Хочу найти деда.

– Это понятно, – нетерпеливо произнесла Юля и поджала губы – он все время съезжал с темы, уклонялся от откровенного разговора. – А потом?

– Честно говоря, уже не надо ни карьеры, ни яхты, ни виллы на Канарах. Хочу собрать каких-нибудь звонких, шепчущих пацанов и научить их чему-нибудь хорошему.

– Драться?

– И это тоже. Но сначала объяснить им, что драться надо только за женщину. Это единственная уважительная причина для драки. А умирать – только за Родину. Это единственная уважительная причина для смерти...

Садовский заметил, что к их разговору внимательно прислушивается Андрей. Гена, как всегда, был где-то глубоко в себе и где-то далеко отсюда. Трезвый он всегда в разной степени отсутствовал. А Петрович отмывал замызганные сапоги в речке, готовясь к ужину.

– И все?

– Почему же все? Я прочитал бы им свой стих.

«Сейчас она спросит: ты пишешь стихи? – загадал Садовский. – И если я не ошибся все у нас получится...»

– Ты пишешь стихи? – спросила она.

– Нет. Как говорил один знающий человек, стихи не пишут, стихи приходят. Однажды пришло вот это:

Два предмета в школе надо знать,

Чтобы до сути во всем добраться.

Мальчикам – науку побеждать.

Девочкам – науку сдаваться.

– Я не сильна в поэзии, – отчего-то нахмурилась Юля и стала собираться. Вслед за ней зачехлил свои «снасти» и Андрей. Кажется, она ему нравилась. Гена уже стоял в готовности к маршу – заправленный, полностью экипированный, качающийся на ветру...

Садовский бросил взгляд на бивуак Полковника, живший своей разнообразной, насыщенной, весьма деятельной жизнью. Весь день там хлопала задняя дверца «буханки», раздавались команды, возгласы и какой-то надсадно-демонстративный смех. Негласный договор о ненападении, предполагающий мирное сосуществование двух систем, не нарушала ни та, ни другая сторона.

На ужин он не остался, сославшись на то, что баба Люба будет беспокоиться, куда пропал ее постоялец. Уже подъезжая к ее дому, он по какому-то наитию вдруг вздумал вернуться туда, где днем раньше слышал (или ему почудилось

будто слышал) отдаленные звуки работающей кузницы. Слуховые галлюцинации? Раньше он не жаловался на проблемы со слухом. Хотя кто знает – в этих диких, труднодоступных, кем-то давно проклятых местах, где среди поросших бьельем разоренных и давно обезлюдевших деревень, превратившихся в урочища и солдатские кладбища, из века в век бродят чьи-то неприкаянные тени могло померещиться все что угодно.

Он заглушил двигатель и прислушался. Сначала ничего, кроме завываний ветра и приглушенных расстоянием звуков засыпающей деревни – стука топора о полено, скрипа калитки, козьего бляения в сарае – нельзя было разобрать. Потом ветер внезапно стих и он почти отчетливо уловил один, два, три удара, будто кто-то, находящийся за тридевять земель, трижды, чтобы это не вызывало у него сомнений, обрушил молот на наковальню...

– Чертовщина какая-то, – вслух проговорил Садовский, поворачивая ключ зажигания.

Жизнь, в сущности, странная, удивительная, непостижимая штука, рассеянно думал он. И человек в ней – слепой странник, подверженный всяческим внезапностям: что-то неожиданно вселяет в него надежду, что-то бесповоротно лишает иллюзий, что-то нежданно-негаданно ранит, что-то беспричинно исцеляет. О том, что в судьбе его могут произойти крутые перемены предупреждает только холодок неизвестности, который стылым, промозглым сквознячком

обдывает душу. Можно назвать это интуицией. Можно предчувствием. Но что-то подсказывало ему – скоро, очень скоро и для него все изменится, перестанет быть прежним, предстанет в истинном, быть может, устрашающем виде. Давно сказано: не спрашивай, по ком звонит колокол. . .

Баба Люба встретила его как родного – наварила картошки, достала соленых огурчиков, нарезала сала и, подмигнув, с хитрым видом спросила:

– Чай, не хватает чего в сервировке стола?

– Да все есть, бабуля. Вот еще, нам на двоих хватит, – сказал он, вынимая из своего рюкзака копченую колбасу, сыр и старорусскую тушенку.

– По этому случаю пустоговорка тебе. Вот послушай-ка. Случилось – в Ларинке вся вода высохла. Стало быть – что? А то – всему самогону в деревне выпитым быть. А у меня-то есть! Баба Люба тем и любя, что запасец всегда имеет!

Садовский выпил поднесенный ему стакан самогона, который на сей раз назывался «смерть фашистским оккупантам», отдал должное бабкиным разносолам и поинтересовался, не заходил ли сегодня блаженный Алексей.

– А ты откуда знаешь? – удивилась бабка.

– Видел в Пустыне. Он и о тебе молится. . .

– Обо мне? Это хорошо. А дело утром было, сразу как ты уехал. Не знаю, как он прознал, только меня скрутила хворь, сынок. Да так, что ни вздохнуть, ни пернуть, прости старуху за натурализм картины. А он тут как тут: зашел меня про-

ведать. Открываю я глаза и вижу: явился ко мне муж юрод – длинная борода раздвояется на персях. И сияние от него, как от торшера. Снадобье какое-то заварил. Так после его травки и молитвы сразу полегчало. Ночью я ни единым перстом двинуть не могла, днесь же своима ногама до околицы дошла!

– Своима ногама? – переспросил он, вслушиваясь в это архаичное, как будто явившее себя из недр глубокой старины выражение.

– Как есть! Так это он так сказал, его слова. Своима ногама, говорит, дойдешь, Любка. И сбылось как по-писаному! К нему полдеревни ходит, что к дохтуру, за диагнозом и прогнозом...

Выпили еще – Садовский полстакана, баба Люба с четверть. Беседа потекла ровнее, задушевнее.

– Тут у вас что-то непонятные иногда происходит, – сказал он, подступаясь к загадке, которая второй день не давала ему покоя. – Может, мне одному кажется, но иногда я слышу стук. Как будто кто-то кувалдой бьет. Может, где-то рядом есть кузница?

– Давно уж нет. А стук остался. Что такое? Никто не знает, – понизила голос баба Люба. – И ведь не одному тебе такое чудится. Сейчас глуховата я, а когда ушки на макушке были – слышала. Сказывают, это Бориска, здешнего кузнеца внук. Он как в начале войны родителей лишился ушел к деду своему в другую деревню. А дед у него кузню держал.

И вот пришла сюда немчура. Один нехристь возьми да и пореши старого. Так Бориска недолго думая молотом тому по голове – хрясь! Да так, что и мокрого места не осталось! Что делать-то? Взял он свой молот и ушел к партизанам. Так с ним и провоевал. Другого оружия не признавал, что ты! Даже танки останавливал. Подойдет бывало, ударит по броне, как звонарь в колокол, а из него фрицы, точно зайцы напуганные выскакивают. Тут их всех и кладут – кто из ружья, кто из пушки...

– Бориска, говоришь? – задумчиво произнес Садовский.

– Он самый. Никак не уgomонится. Где-то в Пустыне он погиб, а все бродит, стучит, ищет того, кто его убил. Немец, поди, уж давно от войны оправился, хоть и бит был. А мы нет. Мир у нас ненастоящий, соломенный. Так и живем в ней, в войне-то. Никак не можем в мир перейти. Все непрочно у нас...

Выпив, баба Люба совсем разнюнилась, стала вспоминать свою подружку – не Катьку-пулеметчицу, а другую, которую за помощь партизанам казнили фашисты.

– Блаженный был ей, почитай, двоюродным братом, – ревмя ревела она.

Садовский утешал ее как мог.

Всем сострадала баба Люба, всякое человеческое горе была готова омыть слезами.

– И тебе не сладко, соколик, – пошмыгивая носом, нараспев сказала она. – Я же вижу. Мужчына ты видный, а один,

как перст. Негоже быть одному. Мы тебе невесту-то подыщем, хоть днем с огнем, а найдем...

«Хорошо быть старушкой: ты видишь всех, тебя – никто», – с грустью подумал он.

Так и просидели они весь вечер, жалея друг дружку.

Житие инокa Алексия Христа ради юродивого

И вот однажды, когда я тихо-мирно беседовал с белой смертью и слушал ее колыбельные на дне заснеженной канавы, которая на языке военных называется *окопом*, разбудил меня дивного вида воитель, у которого над головой поблескивало острие штыка, брови заиндевели, как у Деда Мороза, а из ноздрей шел густой пар. Он растормошил меня, взял на руки и отнес в *землянку*, где было сухо и тепло, а на печке грелся чайник. Звали его Иван. Для меня он с первой минуты стал самым дорогим человеком – не мудрствуя лукаво, нимало не колеблясь я назвал своего спасителя дядя папа Ваня.

Он о чем-то спрашивал меня, а я забыл, зачем нужны слова и почему их обязательно нужно произносить, если лицо твое превратилось в задубевшую маску, а мысли смерзлись, как мокрые варежки. Ведь и так понятно, что я хочу сказать и что говорю, когда я смотрю человеку в глаза. Меня всегда удивляло, почему люди не понимают этого, почему они не слышат мою речь, которую я произношу в своей голове, когда разговариваю с ними.

А дядя папа Ваня все слышал и все понимал. Только он один. Все остальные, кто был в землянке были либо глухими, либо немوتствующими, либо слышали только самих себя. Даже сам командир, который все знал, все подмечал и соображал быстрее всех. «Чудо, что ты жив, курилка», – сказал он. Оказывается, здесь была *передовая*, и все дивились, как это я здесь оказался и почему меня никто до сих пор не подстрелил.

– Боженька спас, – кое-как выговорил я.

– А зовут-то тебя как, сынок? – спросил дядя папа Ваня.

– Алеша.

– Алешенька, божий человечек, – сказал он и ласково погладил меня своей удивительно мягкой лапицей по голове.

– Прекратить религиозную пропаганду, – то ли в шутку, то ли всерьез скомандовал тот, кого все называли *комбатом* и кто был самым главным над всеми красноармейцами.

– У тебя есть кто-то из родных? Куда ты идешь? – стал допытываться у меня комбат.

– Баба Тоня. Она в деревне Пустыня. И я туда иду...

– Деревня эта под немцем. От нее бревнышка на бревнышке не осталось. Почти ничего. И нам приказано ее взять. Но сначала надо отбить Горбы.

– А они тоже под немцем? – не поверил я.

– Под ним. Ну и что мы с тобой теперь будем делать? – спросил он у меня и в глазах его заплясали чертики. Он хотел казаться сердитым, но я сразу понял, что это понарошку. На

самом деле он просто из тех, кто любит будить лихо, пока оно тихо и задираться, чтобы вволю подраться. А так, конечно, добрый и покладистый.

– А пусть живет пока у нас. Идти-то ему все равно некуда, – предложил дядя папа Ваня.

– Конечно, пусть остается. У него такой милый пушок на макушке. Будет помощником военфельдшера. Мне как раз такой нужен.

Это сказала девушка в военной форме с красным крестом на рукаве. Она сразу показалась мне самой красивой на свете.

– Будем знакомы. Меня Таня зовут.

И протянула мне ладошку для рукопожатия.

– Тетя мама Таня. Военфельдшер, – будто во сне проговорил я и пожал протянутую руку.

– Нет, я вам ни за что его не отдам! – весело сказала она и поцеловала меня в щеку.

– Какая еще тетя мама Таня? – хмыкнул комбат.

– А еще у меня есть дядя папа Ваня, – сказал я и уткнулся носом в ватник своего спасителя.

– Если дядя, то не папа. Если тетя, то не мама. Понимаешь?

– Оставь его, – сказала тетя мама Таня. – Пусть будет так, как он хочет. Натерпелся, видно, мальчонка. И ему нужны родители.

– Где ж их теперь искать? Вряд ли они...

Он не договорил. Но я понял, что он хотел сказать.

– Война... – вздохнул дядя папа Ваня.

– Короче, слушай боевой приказ, – произнес комбат, обращаясь ко мне с наигранной строгостью. – Как только возьмем Пустыню – сразу разыщем твою бабушку. А как только разыщем твою бабушку – сразу передадим ей тебя. Под роспись!

На том и порешили. Меня накормили кашей, напоили горячим чаем, даже с сахаром, отвели в медпункт, который оказался совсем крохотной землянкой, в сто раз меньше прежней, и уложили спать. Тетя мама Таня поцеловала меня, пожелала спокойной ночи и куда-то ушла.

Комбат всем приказал отдыхать, потому что батальону была поставлена задача к исходу следующего дня взять Горбы. Я бывал там когда-то – так себе деревенька. Но зачем-то ее нужно было отобрать у немцев.

Дядя папа Ваня сказал: война...

Война – это плохо, очень плохо. Когда идет война – умирают все, хотя раньше умирали только старики. Когда идет война все голодают, хотя раньше еды хватало всем. Ну, почти всем. И мерзнут все, потому что дома разрушены, печи не топлены и дрова не нарублены. Почему же тогда война, если всем от нее только плохо? Зачем война? И что это такое – эта самая война?

Вот пришли вражьи люди. Они проделали большой и трудный путь. Чтобы нас убивать. И очень устали, потому

что убивать – тяжелая, неблагоприятная работа. Но они, вражьи люди, и сами боятся смерти и точно так же не хотят умирать, как и мы. Они такие же, как мы, только говорят не по-нашему. Среди них есть добрые и злые. Один дает тебе конфетку, другой затрещину. Среди них встречаются умные и глупые. Ум – он виден сразу. А глупость – тем более. Есть смелые. Есть трусливые. Красивые и уродливые. Высокие и низкие. Толстые и тонкие. Какие еще? Всякие. Может быть, им нечего есть? Но я видел, какой у них паек. Там нет только птичьего молока, а жвачка такая вкусная, что от нее аж челюсти судорогой сводит. Или им нужны наши женщины? Например, тетя мама Таня или баба Тоня. Тоже нет. И дети наши им не нужны. Я видел, как их убивали вместе с женщинами на переправе.

Чего же они хотят?

Наверное, они хотят завладеть нашей землей, захватить обитель и все наши деревни – одну за другой – и никогда больше не отдавать их нам. Кому ж отдавать, если все мертвы? А больше всего им нужна Пустыня. И вся эта война из-за этой самой деревни. Или нет? Ведь комбат сказал, что деревня давно разрушена. Тогда из-за чего? Из-за клочка земли, на которой она стоит? Из-за церквушки, которая моргает спросонья? Может, там зарыт какой-то клад?

В общем, выходило так, что в этой войне вообще нет никакого смысла.

Тогда почему она идет и не кончается?

Я лежал в закутке на ворохе одежды, подложив под голову чурочку, и все никак не мог заснуть. И тогда я понял, что сплю и мне снится сон. Просто я не мог отличить сон, в котором мы живем, от сна, в котором видишь сны. Моим сном была война. Про то, как пустил немец силу свою по Ловати и Редье с Полистью да по другим новгородским рубежам, и дальше, к Северу, к городу Ленина, и разлился по всей русской земле. И этот страшный сон снился всем, одолевая, как морок, бодрствующих и усыпляя бдящих. Но иногда мне было непонятно, сплю я или нет. Ведь не может быть война сном, в котором мы все живем. Этот кошмар не должен быть нашей жизнью. И однажды мы проснемся, и поймем, что все мы просто спали. И никто никого не будет убивать...

Еще я думал о том, как хорошо, что теперь у меня есть дядя папа Ваня и тетя мама Таня. Вот бы им еще пожениться. Или мне, когда вырасту, самому стать военфельдшером и пожениться на тете маме Тане. И если они есть у меня только во сне про войну, то я готов был остаться в этом сне навсегда...

С этой мыслью я куда-то вознесся, потом стремительно провалился, проведя остаток ночи в метаниях и беспокойстве. И вот настало утро, и все пошли штурмовать Горбы. У некоторых наших бойцов – не у всех, но у многих – были сумрачные, какие-то серые лица, но тогда я не придал этому значения. Из окопа я видел, как они бежали по глубокому снегу в атаку, как падали, поднимались, снова падали и уже

не поднимались, видел, как завязалась рукопашная схватка, в которой самый большой и сильный красноармеец – наверняка это был дядя папа Ваня – трижды нанизал на штык и перебросил через себя, как охапку сена, нападавших на него вражеских солдат. Как скукоженные летучие мыши они падали в своих куцых шинелишках в сугроб и больше не вставали.

А когда стрельба затихла и все улеглось земляк дяди папы Вани мрачно пошутил:

– Будут вам гробы из деревни Горбы...

Он всегда шутил. Но тем, кого притащили на носилках и волокушах в наше расположение было не до шуток. Они либо тяжело стонали, либо молча лежали укрытые плащ-палатками. Мне было до слез жалко их.

В тот день в батальоне царило какое-то подавленное, почти похоронное настроение. Солдаты вполголоса, таясь от начальства, говорили о больших потерях. И о том, что выполнить боевую задачу не удалось – Горбы остались за немцем.

Комбат почернел лицом. Ему лучше было не попадаться на глаза. Как коршун он носился по подразделениям, отдавая необходимые распоряжения для подготовки ночной атаки, и часами проводил время над картой в своей землянке.

Мне очень хотелось как-то помочь ему. И вот когда он и подчиненные ему командиры куда-то в очередной раз отлучились, я проник в штаб и внимательно рассмотрел, что же

они нарисовали на разноцветном листе бумаги. Увиденное разочаровало меня: там красным и синим цветом были обозначены какие-то кружочки, зазубренные скобочки и ромбики. Я сделал печальное открытие – они совершенно не умели рисовать цветными карандашами! А я умел. И мог показать им, как нарисовать домик или цветочек.

Старательно разрисовав карту, я пошел спать. Получилось так здорово, что я сам удивился. Но не прошло и часа, как меня растолкали и поволокли к комбату.

– Что же ты, пострел, наделал!? Это что за художества? – набросился на меня командир, потрясая картой.

– А ты куда смотрел, раззява? – обратился он к часовому, который в тот момент нес службу возле землянки. – Пойдешь в первой цепи атакующих, чтоб в следующий раз неповадно было...

– Как скажете, товарищ капитан...

– Молчать! Умники... Что один, что другой... Чтоб духу этого нахаленка здесь не было!

Остальные командиры, кто был в штабе, на меня не смотрели и были заняты своими мыслями. Наверное, думали, где достать чистый лист вместо испорченного, на котором уже невозможно было рисовать.

Я решил про себя – все, ночевать мне в сугробе, а к утру околеть, как обозная лошадь. И понуро поплелся в медпункт. Но тут меня догнала тетя мама Таня.

– Малыш, не бойся, ничего он тебе не сделает, – горячо

заговорила она. – Я попрошу его. Он вспыльчивый да отходчивый. Все будет хорошо...

В тот день был какой-то женский праздник, который бывает только раз в году. Это когда мужчины дарят женщинам цветы и всякие подарки. Раньше я никогда не слышал про такой.

Она оставила меня в медпункте одного и строго-настрого наказала никуда без ее ведома не отлучаться. Сама же пошла в штаб. А я подумал: какая она красивая, моя тетька мама Таня! И хотя женщин в нашем батальоне больше не было – она все равно была самая красивая. Как мадонна с иконы...

Пока ее не было я соорудил из марли птичку и положил ее на самое видное место – на сумку с красным крестом. Потом, не дождавшись возвращения тети мамы Тани, заснул. Мне снилось, что меня поцеловал ангел...

Что же было дальше?

Целую неделю я прятался от комбата, чтобы ненароком не попасться ему на глаза. И много размышлял. О разном. О себе и своей дальнейшей участи, о людях, меня окружавших и, конечно, о войне, окружавшей людей. По всей округе гремели бои. При этом в разговорах солдат часто упоминались такие знакомые мне с малых лет деревни, как Норы, Лялино, Вязовка, Свиной и, конечно, Пустыня.

Мимо расположения нашего батальона и днем, и ночью проходили колонны солдат – «*маршевые роты*». Это было пополнение для «штыковской» дивизии, штурмовавшей

Пустыню. «Штыковской», потому что командовал ими бесстрашный командир Штыков, о котором ходила слава, что он почти такой же храбрый, как наш комбат.

«На убой», – провожая их взглядом, с ненавистью непонятно к кому говорил земляк дяди папы Вани. Еще он говорил: «Пушечное мясо». А солдаты все шли и шли. У многих из них были серые лица. Откуда-то я знал, что это означало только одно – назад они уже не вернутся, сгорят, как полешки в устрашающе огромной, от горизонта до горизонта топке. Так и было – они уходили десятками, сотнями, тысячами и не возвращались. За исключением редких счастливицков – израненных, покалеченных, едва живых. У этих лица были бледными. Там, куда они уходили, стояла Мертвая голова. Я не знал, как она выглядит, но представлял ее себе в виде испанского черепа в рыцарском шлеме, торчащем прямо из земли. С рогами и прорезями для пустых глазниц. Вот с ней-то, Мертвой этой самой головой, они и бились. Не на жизнь, а на смерть.

Сам я не боялся умереть, эта мысль меня как-то не особо заботила. Ведь еще Эдуард надоумил меня, как сделать так, чтобы похоронить смерть. Страшно было другое – что наши солдаты могут внезапно кончиться, кончиться быстрее, чем у врага. И дураку тут было понятно: кто первый останется без солдат, тот и проиграет войну.

С другой стороны, думал я, если не будет солдат, наступит мир, правильно? И если бы совсем не было солдат, не было

бы и войн, так? Ведь так?

Я не хотел, чтобы наши солдаты кончились быстрее, чем у врага. И не хотел, чтобы их не было вовсе. Потому что солдаты – самые лучшие люди на свете. Они никогда не обижают сырых и убогих. Делятся последним куском хлеба. И умирают, чтобы жили другие.

Но разве могут самые лучшие люди на свете убивать друг друга? Или наши добрые солдаты убивают злых?

Тут мой скудный детский умишко делал спотычку. Ответить на этот вопрос, полагаясь на собственное разумение, я не мог. И обратился с ним к дяде папе Ване.

Как-то вечером мы сидели кружком у печурки, говорили о хорошем, о том, что было у каждого в прежней жизни и что будет, когда кончится война. Было тепло и уютно. В животе у меня не бурчало. Дядя Папа Ваня вырезал мне свистульку, научил в нее правильно дудеть. И тогда я спросил у него:

– А мы воюем, чтобы наши добрые солдаты убили злых?

– Да, Алешенька, божий мой человечек, так и есть. За это мы и воюем. Хотим их прогнать. Но они не хотят уходить. Поэтому приходится их убивать.

– А разве с ними нельзя договориться, чтобы они ушли подобру-поздорову?

– Видно, нельзя. Они пришли, чтобы отнять у нас все.

– Что все?

– Все, что мы любим, что нам дорого. А чтобы отнять все это надо нас сначала убить. Сами-то, по своей воле мы не

отдадим. Ни пяди родной земли. Вот и получается... Вставай страна огромная...

Мне было непонятно – как можно убивать и при этом оставаться добрым. Однако, солдаты хоть и убивали других солдат, казались добрее бескрылых ангелов из моей обители и всех, кого я знал прежде. У них было большое сердце. Не у всех, конечно, но почти у всех. Поэтому умирали они как правило от выстрела в сердце. Но почему, спрашивал я себя, должен погибнуть дядя папа Ваня? За что нужно стрелять в него? Почему должен умереть тот, в кого стреляет дядя папа Ваня, ведь он даже не знает его, никогда не видел и, наверное, уже не увидит. В чем тот, другой виноват?

– Никто ни в чем не виноват, – горько усмехнулся земляк-уралец, который краем уха прислушивался к нашему разговору. – Но если не убьешь ты – убьют тебя. Вот как все дьявольски хитро устроено.

«Неважно как-то устроено», – думал я и чем больше думал, тем больше

мне казалось, что есть какая-то сила, которая толкает людей убивать друг друга. Что это за сила? Неведомо. Но силу эту не одолел еще никто. Война продолжается. Она стала нашей жизнью. И другой у нас нет.

Утешало только то, что боженька любит их, этих солдатиков, они такие несчастные, им так часто бывает больно и каждый день для них может стать последним днем. Умирая, они смешиваются с землей, их раны становятся ее ранами,

их боль становится ее болью. Ведь ей тоже больно, она больна войной.

О командирах и начальниках у меня сложилось другое мнение. Чем выше должность того, кто посылает солдат на смерть, тем хуже человек. Иначе как бы он решился на такое? И самый плохой, самый злой из них тот, кто занимает высший пост, кто начинает войну и командует всей армией, чтобы она воевала. Этот и есть настоящий злыдень.

Не помню, чем закончилась наша беседа – была уже глубокая ночь. Видимо, я незаметно для самого себя закемарил. И приснился мне сон, будто осенило меня как провидца, который знает будущее, что один из бойцов, бывших в землянке, веселый такой связист, смешивший всех своими побасенками, обречен на смерть. У него на лице, словно посыпанном пеплом, было написано, что он уже в сени смертной и обратного пути для него нет. Я как посмотрел – так и ахнул! Никто мне тогда не поверил. Но случилось так, как я сказал.

Как же хорошо, что было это только во сне, а не наяву.

Наутро я проснулся и услышал радостную весть – Горбы взяты! Стремительной ночной атакой. Немец и опомниться не успел, как на него обрушились наши молодцы. Комбат ходил сияющий, как начищенный пятак. Увидев меня, он на ходу бросил:

– Ну что нахохлился, воробышек? Обломали мы рога фрицам! Скоро добьем фашистского зверя в его логове!

И пошел по своим делам дальше, весело насвистывая.

Следующие три дня после этого боя – до атаки на Пустыню – вместили для меня так много, что всего я и не упомяну. За эти три дня я научился сворачивать в аккуратные рулончики постиранные бинты, доставлять донесения из штаба и исполнять всякие важные поручения. Например, скручивать для легкораненого в руку бойца сигарку. Или растапливать на огне снег для чая. Заваривать сам чай. За сухарик или за спасибо.

Мне запомнился просторный немецкий *блиндаж*, отбитый нашим батальоном на подступах к Горбам. Там было пулеметное гнездо с *амбразурой*. И в этот с умом обустроенный, хорошо протопленный блиндаж, как в деревенскую хату набилось множество народу, чуть ли не целый взвод. Всем хотелось погреться и обсушиться возле печки.

Там я впервые увидел пленного немца, прикованного цепью к столбу. Он был в каракулевой шубе и длинном меховом шарфе, который кто-то из бойцов назвал *боа*. На руках тряпичные обмотки с воткнутыми в правую руку палочками – для того, чтобы не отморозить пальцы, нажимая на спусковой крючок пулемета. Сзади у него был собран какой-то странный обрубленный хвост, замотанный бечевкой. Такое приспособление я уже видел у некоторых убитых немецких солдат – таким способом они спасались от дизентерии и обморожений. Если надо было сходить до ветру, товарищи разматывали проволоку, солдат делал свое дело через дырку в штанах и хвост возвращался на место. Лицо у немца было,

как щербатый топор, с зазубринами, глаза белые – то ли от страха, то ли от голода. В батальоне как раз был обед. И он с жадностью следил за каждым движением красноармейцев, которые бодро стучали ложками по своим котелкам.

Я встретился с пленным взглядом и почувствовал, как немеют у меня пальцы с зажатым в них куском хлеба. Он смотрел на меня так, как будто только от меня зависело – жить ему или умереть. Это было странное, пугающее чувство. И еще как-то сам собой возник вопрос: если я вижу только из своей головы и понимаю то, что вижу только своей головой, то что тогда видит и понимает пленный немец? Мне стало интересно: мы видим одно и то же или разное? И одинаково ли мы понимаем то, что видим?

Мне показалось, что нет.

Но не это главное. Почему-то я был уверен, что мы с ним могли бы найти общий язык. И даже подружиться. А с теми, кто послал его в бой – нет. Ведь что происходит вокруг: одни солдаты убивают других только потому, что те, другие – именно другие. В этом суть. Найти другого, назвать его другим, объявить врагом и за это только, за его чуждость и непохожесть убить – вот цель и задача тех, кто начинает войны.

Но это же безумие! Мы же не убивали придурков только потому, что они другие. И придурки не убивали нас только потому, что мы на них не похожи. Почему же нормальные люди позволяют себе такое? И нормальные ли они после этого? Те, кто послал этого солдата и всю эту орду вместе с ним

в бой?

Еще не понимая, что я делаю, я протянул пленному свой котелок. Немец, словно с цепи сорвавшись (это сравнение напрашивалось само собой) набросился на еду. Но едва он набил рот перловой кашей, как котелок с тупым стуком отлетел в сторону – кто-то из бойцов выбил его из рук пленного.

– Кормить эту тварь? Брось, малец, – сказал мне земляк дяди папы Вани. – Он еще в том, дневном бою два десятка наших положил...

– И за это его приковали к столбу? – спросил я.

– На цепь его посадили за другое. Свои же. За провинность какую или чтоб не сбежал...

Я боялся этого земляка – не знаю почему. Физиономия у него была такая, будто на нем, как говаривала баба Тоня, черт свайку играл. Кто-то сказал, что это последствия осколочного ранения.

– Почему ты его кормишь? Отдаешь свое, последнее. Он же враг... – спросил дядя папа Ваня.

– Он ни в чем не виноват. Его заставили...

– Заставили, говоришь!? – прямо-таки взъярился земляк-уралец. – Их всех заставили! Только почему-то никто не отказался! Все в охотку побежали...

С этими словами он протянул мне свою винтовку.

– Возьми, малец. Убей врага! Ну же, убей! Как они убивают нас, наших жен и детей...

– Охлонись, друг. Разве можно так, – подал голос дядя

папа Ваня. – Он же совсем дите...

– Стреляй, малец! – уже почти кричал земляк. – Убей эту сволочь!

Тут свет в моих глазах померк и все, что было в блиндаже куда-то запропало. Была только неясная думка о том, как хорошо было бы сейчас оказаться в обители, а еще лучше в церквушке, но она, эта думка быстро улетучилась, истаяла. Вместо нее некий голос, принадлежащий неведомо кому весомо и назидательно произнес: «Когда идет война хорошие становятся добрее, а злые – злее». Я долго силился понять, как это, но так и не понял и все допытывался, блуждая где-то впотьмах, – почему?

– Почему? – спросила тетя мама Таня.

– Потому что война, – ответил ей мужской голос. Принадлежал он комбату.

– Война войной, а жизнь-то продолжается. И если не доживем до победы мы, может, доживет он...

– Потом, все потом. Как я по тебе соскучился!

Я открыл глаза и увидел перед собой пеструю занавеску в цветочек. Кто-то положил меня в закуток на дощатые нары и укрыл полушубком. Я хотел было громко объявить, что уже проснулся, но какой-то странный звук, похожий на причмокивание жующей коровы заставил меня замереть и прислушаться.

Немного отодвинув занавеску, я увидел, что комбат впился ртом в рот тети мамы Тани – да так, что та даже не могла

вздохнуть. Как Глашка она давала трогать себя и не сопротивлялась, когда он начал снимать с нее одежду. Мне было нехорошо от этого, потому что тетя мама Таня совсем не такая, как Глашка. И очень не хотелось, чтобы комбат лез ей под юбку своими руками. Но он настойчиво шел вперед – как танк, как пароход «Таймыр», как наш обительский Пионер, противный и прилипчивый.

В ногах у меня лежала чья-то саперная лопатка и я решил – если тетя мама Таня позовет на помощь, я немедленно брошусь ее спасать. Что с того, что я маленький? Мал да удал!

Но что-то было здесь не так. Комбат ломал ее, как березку, она стонала, всхлипывала и плакала, но не как плачут обиженные, а как плачут счастливые. С непонятой мне радостью. И только это останавливало меня. У меня не укладывалось в голове, как может моя тетя мама Таня все это терпеть. Наверное, она понимала, что другого выхода просто нет и надо смириться, потому что комбат все равно добьется своего, он никого не боится, даже генералов, и наверняка сделает с генералами то же самое, что и с ней.

Мне было стыдно не только на это смотреть, но даже слушать. Я зажмурил глаза и заткнул уши. Но по-прежнему все слышал, слышал против своей воли.

Я сидел в своем закутке почти не дыша и боясь высунуться. А потом, когда они ушли, как-то боком выбрался из землянки, побежал в кусты и заскулил там, будто побитая собачонка. Я мечтал только об одном – чтобы комбата убило в

первом же бою, а тетя мама Таня навсегда осталась со мной и мы уехали с ней далеко-далеко.

Наплакавшись вволю, я прислушался к странным звукам, доносившимся до меня со стороны Горбов. Чей-то ровный голос, каким в церкви батюшки читают молитвы и нестройное пение навели меня на мысль, что идет *служба*. Эта догадка показалась мне настолько нелепой, что сначала я отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Но голоса не умолкали. И я пошел на голоса.

И вот что предстало передо мной: возле единственного уцелевшего в Горбах дома собралась толпа, перед которой стоял человек в ризе с крестом на груди. Среди неведомо откуда взявшихся оборванных стариков и старух было несколько красноармейцев. Особенно выделялся своей статью дядя папа Ваня – он возвышался надо всеми, точно гранитная скала. Увидев его, я сразу обо всем позабыл – и о несчастье, случившемся с тетей мамой Таней, и о своих невозможных обидах.

– Испросити у Христа Бога нашего Ново-граду непоколеблему и безмятежну пребывати от поганьского нашествия, и умирение миру, – певуче говорил батюшка. – Ибо кто зачинает рать – того Бог погубит! Молитесь, православные, за победу над супостатом. Дабы не было вражьей силе помощи ни от людей, ни от Бога!

Когда батюшка закончил говорить и все разошлись я, взявши дядю папу Ваню за руку, пошел с ним в блиндаж, где

сидел на цепи пленный.

– Что это было? – спросил я у него.

– Молебен, Алешенька, божий мой человечек, – сказал он.

– Теперь уже можно?

– Почему же нельзя, если батюшка к нам пожаловал и крест на нас?

Он вытащил из-за пазухи и показал мне нательный крестик с щербинкой, будто какая мышь надкусила его острыми зубками.

– Говорят, звонили самому члену Военного совета армии. И он дал разрешение. Ведь за правое дело молимся, коммунисты и беспартийные.

– А ты коммунист?

– Кандидат. Не сегодня – завтра примут в партию.

– Вот оно как...

– То-то и оно...

Что-то всколыхнулось во мне тогда, какое-то забытое воспоминание или пережитое еще до моего земного схождения чувство, чем-то близким, домашним, почти родным повеяло от слов «молебен», «батюшка» и в особенности от этого ласкового ко мне обращения – «Алешенька, божий мой человечек»...

У входа в блиндаж я стал как вкопанный.

– Что с тобой? – обеспокоился дядя папа Ваня.

– А твой земляк еще там? И этот немецкий фашист?

– Немецкого твоего фашиста отвели в штаб, а земля-

ка-уральца моего тебе бояться нечего. Он тебя не обидит...

Я нерешительно протиснулся в укрытие и увидел спящих вповалку бойцов. Только двое бодрствовали, поддерживая огонь в печке. Я тихонько присел рядом и прислушался к их разговору.

– Эту Пустыню уже сколько раз приступом хотели взять. Ни черта. Уйму народу положили – все без толку, – негромко, как бы разговаривая сам с собой, сказал один.

– Завтра нам погибать... – отозвался другой.

– Это точно. От батальона голый ноль останется.

– Без палочки, ага.

– Один штыковский говорил... Там политрук молоденький погиб, еще 3 марта. Мальчишка совсем. Пытался поднять бойцов в атаку. Личным, бля, примером! И что? Встал во весь рост, что-то закричал своим, бедолага. Его ж напичкали в училище евоном пропагандой, херней этой – давай-давай! Только вперед! На врага! А за ним никто и не поднялся. Огонь не то что человека – каску в дуршлаг превращает. Так он и застыл в сугробе с пистолетом в вытянутой руке и перекошенном ртом. Как памятник. Морозы-то нынче ого-го. Посышь – струя как колокольчик звенит!

– Этот еще ладно. Геройски погиб. А есть такие дуrolомы, каких свет не видывал. Один партийный, сказывают, приказал лыжникам валенки к лыжам прибить, чтобы в пылу боя имущество казенное не растеряли. Пошли они в атаку. И тут начали их косить напрапалую – из автоматов и пулеметов.

тов, гавкалок этих. Повыскакивали они из валенок и залегли по сугробам – головы не поднять. Да все ноги-то и поотморозили. Сейчас им и костыли уже не подмога. Кто выжил – всем ножищи поампутировали по самое не хочу. Вот тебе и сходили в атаку. Теперь и до туалета не доковыляешь... Да что там...

Я внимательно посмотрел на лицо говорившего и обмер – оно было серым. Такой же землистый цвет лица был и у его собеседника. Потрясенный своим открытием, я блуждал взглядом по лицам спавших солдат и видел только эту убийственную серость. И у земляка дяди папы Вани было такое же, и, что самое ужасное, у него самого.

Я подошел к осколку зеркала, прикрепленному к столбу, и посмотрел на себя. Несмотря на некоторую бледность выглядел я еще по-божески. Что же получается? Завтра все они погибнут и я останусь совсем один? И ничего нельзя уже предпринять, чтобы избежать этого?

– Чего всполошился, малец? – повернулся ко мне земляк-уралец, приоткрыв один глаз. – Или опять мертвяка углядел?

– Нет, ничего, – смешался я.

– Смотри мне, без фокусов. Судьбу свою знать никому не дадено...

И опять заснул мертвецким сном, как и привалившийся к его плечу дядя папа Ваня.

Надо было что-то делать, как-то спасти этих ничего не

подозревавших людей, так близко подступивших к черте, за которой только боль, страдания и смерть. Комбат! Мне надо срочно увидеться с комбатом, чтобы предупредить его о грозящих нам бедствиях, о том, что настоящее солдатское счастье навсегда отвернулось от нас!

Битый час я пробегал по расположению батальона в поисках комбата. Он, говорили, был то в штабе полка на совещании, то на позициях, где проводил *рекогносцировку*, то в тылу, то вообще Бог знает где. Столкнулся я с ним только у медпункта. Он стоял, держа за руку заплаканную тетю маму Таню и о чем-то говорил с ней ласковым, уговаривающим голосом.

– Ты чего такой взмыленный, пострел? – с улыбкой спросил он, завидя меня.

А я, глядя на него и тетю маму Таню сквозь какую-то едкую дымовую завесу, разъедающую глаза, стал медленно оседать в снег. Мне казалось, что я стекаю в него, словно талая вода и явственно слышу, как без лишних мытарств, будто балалаечная струна обрывается во мне тонкая звенящая нить, какой душа крепится к телу.

Лица у них были *серыми*.

И был мутно-серый, сгинувший еще до своего рождения рассвет. И казалось, что дыхание всего живого пресеклось и окружающая мгла, которую пьешь, как болотную воду не рассеется никогда. И был жестокий бой, и длящийся бесконечно миг отчаяния и боли, о котором лучше не вспоминать.

Немногие выжившие в этой *мясорубке* потом думали-гадали, почему так вышло, что батальон полег практически весь, почти в полном составе. Как это было? Как бывает, когда случается злое, нарочитое, непоправимое. Один боец, счастливо избежавший общей участи (ему осколком мины срезало кисть, а пулей разmozжило колено) сказывал: и вот рванули мы вперед, на немецкие пулеметы, без поддержки танков, авиации и артиллерии, вооруженные лишь винтовками, солдатской отвагой да забористым матом – русские, хохлы, братья-белорусы, казахи и прочие киргизы. Комбат выпил чуть ли не целую флягу водки и, выполняя приказ комполка, пошел поднимать только что прибывшее, необстрелянное еще пополнение, что залегло на подступах к деревне. И обратился он к своему войску со словами:

– Ну что, уважаемые господа уголовники, спецпоселенцы, ссыльные и политические. В атаку? Ура?

И закрутилось. А потом кто-то закричал: «Комбата убили»! И ротных поубивало. И взводных. Командовать стало некому. Оставшиеся в живых бойцы залегли – кто где.

Что-то удалось увидеть и мне, когда очнувшись после глубокого забытья я выбежал из землянки взглянуть, что творится в округе и отчего такая стрельба. У околицы Пустыни или того, что от нее осталось, какие-то фигурки копошились в снегу. Это были наши солдаты. Иногда, приподнявшись и сделав широкий замах, кто-то из них кидал гранату и снова плюхался в снег, отчего казалось, что там, на склоне

холма гурьба каких-то отчаянных молодцов затеяла штурм снежного городка. Один красноармеец, поднявшись во весь рост, решительным броском преодолел расстояние, отделявшее его от немецких окопов. И куда-то пропал, словно его и не было. А потом в том месте, где он только что был раздался мощный взрыв. Это рванул артиллерийский снаряд, выпущенный с нашей стороны. Потом еще и еще. Но было уже поздно. Силы атакующих иссякли.

Потом, когда вынесли с поля боя раненых и убитых – кого смогли найти и до кого удалось добраться – вдруг спохватились: а где санинструктор? Все видели ее, как она перевязывала и вытаскивала из-под огня бойцов, как бросилась искать убитого командира, но никто не знал, где она, жива ли. Ни комбата, ни тети мамы Тани нигде не было. Так их и не нашли. Ни на другой день, ни на следующий. Не нашли и моего дядю папу Ваню. И его земляка-уральца тоже. Все посчитали, что они *пропали без вести*. То есть все равно что умерли.

Но я не хотел в это верить. Хоть и говаривала баба Тоня – «все там будем, только в разное время», всё во мне восставало против этого «там». Солдаты не умирают. Они уходят в бой и иногда не возвращаются. И уж конечно не пропадают. Просто все, кого я знаю и кого так люблю, в ком нуждаюсь каждую минуту сговорились, решив меня немного попугать, поиграть со мной в прятки. Совсем как дети. И когда я найду, куда они спрятались, все вернется и будет как было. Уж

мне-то хорошо известно, где они укрылись. Я сразу узнал полуразрушенную церквушку на холме, которая часто грезилась мне во снах. Правда, сейчас она не подмигивала мне, ибо стояла безглазая, безголовая, застывшая в немом крике, почти до неузнаваемости искалеченная войной. Но я знал, что как только мы добьем фашистского зверя в его логове, а комбат это твердо обещал, они тотчас отыщутся в этой церквушке.

И хотя плохо верилось мне тогда, что враг будет повержен, и не ведал я, какой он, фашистский зверь и где его логово мне очень хотелось, чтобы его поскорее доби́ли. Пусть это будет та самая Мертвая голова, о которой ходило столько леденящих кровь слухов. Или огнедышащий дракон о трех головах. Или Декстер об одной. Лишь бы люди перестали играть в эти страшные, никому не нужные прятки, вышли из своих схронов и укрытий, восстали из безымянных могил и зажили, как прежде. Даже лучше прежнего.

Не знаю, сколько дней прошло после этого, только время как будто остановилось, свернулось клубочком и легло почитать. Меня не было в настоящем, где крутилось нескончаемое черно-белое кино про каких-то незнакомых мне людей, которые продолжали штурмовать Пустыню, пополняя списки раненых, убитых и пропавших без вести. Я не видел себя в будущем, которого на войне нет ни у кого, пока она не закончилась победой или поражением. Я весь, без остатка остался в прошлом. Только там пребывали те, кто был дорог мне.

Так я дожил до разлей-весны, когда снега превратились в топкие хляби, полноводные ручьи и грязные лужи, а леса стали непроходимыми дебрями. Наверное, я всем порядком намозолил глаза, потому что постоянно путался под ногами. Солдаты привечали меня, а вот новому комбату я пришелся не по нраву. Не знаю, каким образом у него оказался мой «роман» – скорей всего, я оставил его в медпункте, да и позабыл о нем. Батальонный фельдшер внимательно пролистал его и доложил командиру, мол, мальчонка-то, которого мы приютили, нуждается в лечении. В истории болезни зафиксирован диагноз – расстройство сознания, астеническая спутанность. И еще черт знает что.

Комбат выдернул меня к себе и учинил настоящий допрос. Началось с того, что военфельдшер, присутствовавший тут же, зачитал ему «роман». В нем подробно расписывалось и про эпилептические симптомы, и про судороги при «закатывании», и про опистотонус...

Услышав это слово, комбат оживился и спросил, что это за опистотонус такой, переиначив его на свой лад.

– Это когда больной делает «мостик»...

– А я думал это когда стоит, а не с кем, – хмыкнул он. – Что еще?

– Абсанс...

– Час от часу не легче. Это еще что?

– Если мне не изменяет память, разновидность припадка при эпилепсии. В этом случае человек словно каменеет. В

общем, мальчишка болен и с этим надо что-то делать...

– Все ясно, – уже серьезно произнес комбат. – Раз болен – надо отправлять в тыл...

Я понимал, что он хочет поскорее избавиться от меня и уже не противился этому. Чему быть того не миновать. Но не мог согласиться с ним в главном. Диагноз «расстройство сознания» можно было поставить всем, кто взял в руки оружие, чтобы убивать. Всем, кто болен войной. Потому что война – это самое опасное заболевание, это эпидемия, которая косит людей хуже любой чумы.

И еще я возразил бы ему насчет того, что я больной. Я – другой. И кто не понимает этого, вольно или невольно пытается избавиться от меня, от моего присутствия, сделать так, чтобы я перестал быть другим либо перестал быть совсем.

Но это ведь невозможно. Другие будут всегда.

Так же и с чужими, с которыми мы воюем. Пока один человек будет считать другого чужим – войны не прекратятся. Чтобы они прекратились, надо чтобы чужой стал близким и понятным. А это самое трудное.

Но я молчал, словно набрав в рот воды.

– И еще поговаривают, что он видит смерть, – нерешительно добавил военфельдшер. – Знает, когда кому суждено умереть... Такой вот он – сын полка и божий человек...

– Божий человек, говоришь? Не нужен мне каркальщик, который смерть накликает, – решительно произнес комбат.

Так и сказал – каркальщик.

– Как мне с бойцами, кому он предсказывает гибель в бой идти? Он же морально-боевой дух батальона моего подрывает. Поэтому пусть остается в деревне. Может, кто и приютит его...

Я не стал говорить ему, что лицо у него серое, как карандашный грифель и что он, сам не ведая того, слепо стремится в объятия смерти. Зачем? Все равно это ничего не изменит. Я не испытывал к нему сочувствия. Все сочувствие было вычерпано из меня до последнего наперстка. Я слишком устал...

Новый комбат погиб на следующий день. Как и предыдущий, смерти которого я так желал. Теперь-то я понимаю, что хотеть этого было зломысленно и святотатственно, ибо покушение на жизнь, пусть даже в мыслях есть самое страшное преступление в глазах Бога. Но что было то было. И все, что остается мне отныне – молить о прощении и спасении душ убиенных. Теперь все, кто принимал участие в моей судьбе, кого я всем сердцем любил ждали меня на холме, в церквушке, почти на небесах. А я так и остался на грешной земле, на задворках жизни, мечтая о скорой встрече с ними...

Проснулся он задолго до рассвета. И сразу в голове его закружились, заходили по кругу, заколобродили старые, изглоданные до последней косточки, изрядно опостылевшие мысли. Еще одна попытка собрать из пустоты и боли, из оскол-

ков прошлого что-то цельное, пригодное для ваяния так называемого образа будущего. Но чем упорнее ты пытаешься найти ответы на вопросы, которые объясняли бы причину твоего исчезновения из прежней жизни, причину исчезновения самой этой прежней жизни, чем активнее ищешь выход из множющихся тупиков, тем больше запутываешь ситуацию и усугубляешь душевный раздрай.

Было ли расставание с Идой неизбежным? Не было ли это ошибкой? Или ошибкой была встреча с ней? Давно прошло то время, когда он был готов совершать ради нее безумства, рисковать всем, что у него есть и до беспамятства целовать ее черноморский загар, особенно в тех местах, где он отсутствовал. Наверное, это была любовь – большая, захватывающая все существо человека, та, о которой он мечтает и которую ждет всю свою жизнь. Говорят, трудности только усиливают ее. Но странное дело, с какого-то момента преодоление препятствий на пути к ней стало важнее ее самой. И было уже не понятно, ради чего все это – ради Иды или ради чего-то другого? Может быть, ради него самого? Или только потому, что так нужно?

Но все когда-нибудь кончается. С годами характер ее испортился. Ида подурнела, растолстела и превратилась в настоящую мегеру, дико ревновавшую его ко всему, что относилось к местоимению «она». Его всегдашняя готовность лететь, мчаться, скакать на море, в горы, в поля и леса, к черту на куличики – лишь бы подальше от дома, в котором уже

не осталось ни уюта, ни тепла, ни любви – делала ее глубоко несчастной.

Наверное, в этом была и его вина. Хотя, говорят, когда люди расстаются – виноваты оба. И не виноват никто. Просто не сложилось. Их любовь – когда-то жгучая, страстная, окрыляющая, вызывавшая ощущение полета и желание, взявшись за руки, бегать босиком по росе или раскаленным углям, не выдержала испытание временем, не смогла переплавиться в неодолимую привязанность, в потребность быть вместе.

То, что когда-то умиляло – стало раздражать, что вызывало восхищение – оставляло равнодушным, туманящий флер влюбленности постепенно развеялся, зрение, как после операции на хрусталик предельно обострилось и теперь все чаще в человеке, которого ты, казалось, изучил вдоль и поперек обнаруживались острые углы и слепые зоны. Ему казалось, что в ее взгляде он всегда мог прочесть понимание и сочувствие. Потом вдруг выяснилось, что это всего лишь оптический обман, что взгляд ее просто так устроен – глаза понимающие и сочувствующие, а душа нет. И сердце – морозильная камера.

Она изводила его своей подозрительностью, пуская в ход все доступные человеку органы чувств – зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, обвиняла во всех смертных грехах, полагаясь на хваленую женскую интуицию, и была готова приревновать даже к соседской таксе, а в обычной поездке на рыбалку видела ни что иное, как хорошо замаскированный

воблерами и виброхвостами банно-прачечный разврат.

Вместо того, чтобы держать мужа на длинном поводке или укоротить его до в меру короткого Ида со всей деспотичностью освобожденной женщины Востока попыталась посадить его на цепь. И тут же получила бродячего пса.

В общем, Ида была, конечно, в чем-то права – он частенько давал ей повод. Но не попадался. Ни разу не был пойман, застукан, изобличен. А значит, не было. К чему тогда все эти сцены ревности, если предмет ревности абстрактен и как таковой отсутствует?

Да, он, бывало, швырялся деньгами направо и налево. Особенно налево. Но на материальном благополучии семьи это никак не отражалось. Иногда не вовремя приходил домой. Как-то после корпоратива вообще не пришел ночевать. Это переполнило чашу ее терпения.

– Где ты был? – спросила Ида.

– Развозил девушек, которых... развезло. По просьбе начальства.

Он тогда устроился начальником службы безопасности в одну крупную компанию.

– Всех развез? По просьбе начальства. Вот к ним и иди.

Она захлопнула дверь прямо у него перед носом. И закрылась изнутри.

Он и не заметил, как его семья – до этого тихая гавань – стала тихим омутом, из которого повылазили все черти. И даже дочь, прежде боготворившая своего отца, стала ему

чужой.

С годами жить на вулкане ему осточертело – эти вечные скандалы с битьем посуды и требованием развода, которые устраивала ему Ида, эти всполохи страстей и бесконечные разборки по поводу «мужик ты или не мужик и если мужик, то сделай хоть что-нибудь» измотали его. В общем, вышло, что настоящий мужик – это бессловесное существо, которое должно много зарабатывать, не выпускать из рук молоток (ножовку, дрель, перфоратор и далее по списку), наполнять холодильник продуктами и безропотно выполнять все распоряжения жены.

Когда же он ушел с друзьями на футбол она сменила дверной замок и объявила, что он здесь больше не живет. Пусть возвращается туда, откуда пришел. «К ней или к ним, не знаю сколько их у тебя».

В общем, выгнала его на улицу. Потом, правда, разрешила забрать вещи. Он бесконечно долго копошился, разбирая поломанные Идой удочки, и это окончательно вывело ее из себя. Сначала она выкинула за порог его «нераздвоенные копыта», потом вытолкала и его самого.

Он не стал спорить, хотя и не понял, что это было. Во-первых, квартира принадлежала ему. А во-вторых, он действительно ходил с друзьями на футбол. Но возражать не стал. Иде ведь тоже надо где-то жить. И дочери, которая всегда принимала сторону матери. Приняла и сейчас. Вот и пусть живут. Он не будет им мешать, не снимая при этом с себя

обязанности помогать им...

Потом он развелся. Но даже в ЗАГСе Ида продолжала ревновать – безумно, яростно, самозабвенно. Он отнесся к этому философски. «Не всем достаются Афины Премудрые, Василисы Прекрасные и добрые феи». Хотя когда-то она, как ему казалось, органично сочетала в себе эти ипостаси, эпитеты и достоинства.

Но когда теряешь ту, ради которой был готов разбиться в туркменскую лепешку или раскататься в армянский лаваш тебя неизбежно настигает поразительная легкость бытия. Как после ампутации души, когда в грудной клетке всю свещет ветер...

Пойдя через семейный ад с Идой, он с некоторых пор испытывал потребность в женщине такого типа, о котором один философ презрительно говорил – *коровы*. Спокойная, хозяйственная, чадолюбивая, с большим теплым выменем... Не то, чтобы он целенаправленно искал такую. Но роковых, феерических, сногшибательно красивых особ теперь старался избегать...

С минуту-другую он прислушивался к тишине. Было так тихо, что даже сон бежал от нее прочь. Так тихо было, наверное, до сотворения тишины...

Баба Люба еще спала. Он не стал ее будить и, вспомнив навыки передвижения по тропе разведчика, бесшумно вышел из избы.

Урочище, окутанное утренним туманом, еще не просну-

лось. Дремали деревья, сонно баюкающие на своих ветвях мирно почивающих лесных духов, дремала речка, журча себе что-то спросонья, дремал бивуак Полковника, дремал лагерь Петровича. Даже вновь установленный на пригорке березовый крест с криво посаженной каской имел вид часового, уснувшего на посту.

Вдруг где-то рядом неожиданно раздалось: ку-ку. С возрастом, как он успел заметить, кукушки стали все чаще задумываться. Паузы становились все длиннее. В такие мгновения его прошлое укладывалось кольцами, проявляясь будто на свежеспиленном пне, и устало шевелилось в нем обрывочными, полузабытыми воспоминаниями, сполохами угасшего счастья и несбывшихся надежд.

Кукушка замолкла на четвертом повторе.

Краем глаза он уловил едва заметное движение на запруде, от которой его отделяло не более трехсот метров. Садовский взгляделся и опешил: по воде, аки по суху от берега к берегу, почти не перебирая ногами шел не шел, скорее плыл старик – судя по всему, блаженный Алексей. Видение было настолько отчетливым и до того скоротечным, что даже не успело отпечататься в его сознании и теперь он не смог бы с уверенностью утверждать – было это на самом деле или ему только почудилось. Пораженный, Садовский приблизился к запруде, но юродивого уже не увидел – его и след простыл. Не осталось ничего – ни кругов на водной глади, ни туманных завихрений над ее поверхностью, ни шорохов в при-

брежной растительности.

Зато теперь его взору открылось другое, не менее завораживающее зрелище.

Он увидел Алену.

Она медленно, словно боясь обжечься, заходила в воду... На ней не было купальника или нижнего белья – лишь причудливо обвивающая тело алая лента. Всего одна. Да, всего одна...

Лента ниспадала со спины, проскальзывала между ног и опоясывала правое бедро, затем струилась вверх по животу и, т-образно прикрывая грудь, венчалась кокетливым бантом.

Все это напомнило ему старую истину: наполовину обнаженная женщина выглядит гораздо более обнаженной, чем совершенно обнаженная.

Что-то заставило его шагнуть в тень деревьев. В этот момент ему не хотелось быть замеченным и для этого у него была веская, исключительно уважительная причина. Купающаяся почти нагишом красивая женщина – это всегда интересно и увлекательно. Наблюдателя, сидящего в кустах, ждет множество прекрасных открытий, озарений и вдохновенных порывов. Но сидеть надо тихо, очень тихо, чтобы ненароком не спугнуть ее...

Дыхание его участилось, глаза слегка затуманились, вбирая в себя быющую через край, избыточно щедрую, разящую красоту женского тела. Что тут скажешь? Сложена безупреч-

но, просто божественно – в этом не было никаких сомнений. У некоторых блондинок свободна от загара только «зона бикини». Все остальное – «зона барбекю». Она, само собой, была из этих некоторых... Солярий? Или первый майский? Неважно. Так, что у нас с грудью? Да, что-то у нас с грудью. С грудью у нас, прямо скажем, катастрофа. Не то чтобы прыщ на ровном месте, но и не вершины Каратау. Все как-то вскользь, размыто, ненавязчиво. Но сильная оптика, силикон или какие-либо другие ухищрения лишь нарушили бы эту хрупкую, чарующую своей соразмерностью гармонию. Все зависело от величины и нежности мужской ладони. И самое, наверное, главное. Несмотря на утреннюю прохладу, эта нимфа пахла солнцем и горячим речным песком. Она пахла массандрой и сексом на пляже.

Кто ты? Дьяволица или неприрученный ангел?

Она ненадолго погрузилась в воду и неторопливо, позволяя каплям стечь естественным путем, вышла. Лента намочила, чуть сбилась и перекрутилась, превратившись в красную нить, которая в иных местах была уже практически неразличима...

А если ты русалка – где твой рыбий хвост?

Алена завернулась в большое махровое полотенце, оранжевое, как солнце на закате, прикрыв себя выше колен и ниже ключиц. И сорвала с себя скомканную, дразнящую воображение, ставшую уже ненужной ленту.

– Эй, лесовичок! – глядя куда-то в сторону, насмешливо,

как ему показалось, произнесла он. – Не надоело сидеть в кустах?

Садовский солидно, как баритон на распевке прочистил горло и вышел из засады.

– Да вот, шел мимо... – неопределенно развел руками он, чувствуя себя пятиклассником, которого застукали возле женской раздевалки.

– Не спится? – щурясь от первых солнечных лучей и отжимая кончики мокрых волос, спросила Алена. Она откровенно потешалась над ним.

И тогда он решил сбить спесь с этой Барби...

– Ты знаешь, все реже хочется раздеть женщину, чтобы посмотреть, как у нее все там устроено. Вспомнить принцип работы и меры безопасности.

– Импотенция – не приговор...

Садовский понял, что заход не сработал и решил действовать иначе.

– Ты так естественно себя вела... Есть опыт работы с мужскими журналами?

– Некоторое время я была моделью. И сейчас, если поступают интересные предложения – не отказываюсь.

– Наверное, уже не часто.

– Да, примерно так же, как у тебя с женщинами.

И здесь фиаско, подумал он.

– Ты снималась ню?

– Не ню, а полуню, – холодно ответила она.

Он понял, что чуть-чуть перегнул палку и впредь решил вести себя с ней поделикатнее.

– Послушай, мы не были знакомы в какой-то прежней жизни?

– Вряд ли. Ладно, я к своим...

Садовский почесал затылок и, стараясь не смотреть на Алену, вообще ее не замечать, сосредоточившись на красотах природы, направился к холму. Один-ноль в ее пользу. А может уже и два. Короче, всухую, как Аргентина – Ямайка...

Что связывает ее с компанией Полковника? С кем она, если не одна? Он никогда бы не поверил, что такая женщина может быть одинокой...

В развалинах церкви не было ни старика, ни обгоревшей иконы с ликом младенца, ни свечи. В разломах стен, поросших зеленеющей травой, толпился какой-то радостный народец. Васильки? Он не разбирался в полевых цветах. Вокруг царила такая благодать, что хотелось на миг закрыть глаза, вдохнуть в себя пряный дух вольно растущего редколесья, запечатлеть в памяти завораживающую игру света и тени и уплыть неведомо куда вместе с великой тайной вечно возрождающейся жизни. И как далеко это было от того, что творилось здесь в годы войны. По сути, в Пустыне не осталось камня на камне – церковь была снесена ураганным огнем, деревня глубоко перепахана и смешана с землей, деревья разбиты в щепу. Каким-то чудом, чьими-то молитвами уцелела

только колокольня – искалеченная снарядами и минами, иссеченная пулями и осколками, глухонемая, безъязыкая, слепо и чужестранно бредущая по дорогам времени.

На куче старья, наваленной в первом ее ярусе, где блаженный Алексей устроил свое нищенское обиталище он обнаружил рваную картонку с неумело, точно детской рукой нацарапанными словами:

Я – Свет, а вы не видите Меня.

Я – Путь, а вы не следуете за Мной.

Я – Истина, а вы не верите Мне.

Я – Жизнь, а вы не ищите Меня.

Я – Учитель, а вы не слушаете Меня.

Я – Господь, а Вы не повинуетесь Мне.

Я – ваш Бог, а вы не молитесь мне.

Я – ваш лучший Друг, а вы не любите Меня.

Если Вы несчастны, то не вините Меня...

Очевидно, эти письма были откуда-то позаимствованы. Нет, не Библия. И точно не апокриф. Слишком литературный, осовремененный слог, слишком отточенная форма. Кажется, эти неровные, скособооченные строки сами собой отслаиваются от картонки и парят в каких-то неведомых высях, среди гомона птиц и эоловых арф плывущих по небу облаков. Но Садовский так и не вспомнил, где, когда, в связи с чем мог видеть их. Кажется, они были как-то связаны с Францией, может быть с Фландрией, а для него все, что касалось католиков и протестантов, к которым, насколько он

помнил, относились и несчастные гугеноты, не пережившие Варфоломеевскую ночь, было китайской грамотой. Забрезжившая было догадка растаяла, как инверсионный след за хвостом самолета...

Беспорядочно перебегая мыслями от предмета к предмету, стараясь погасить в своем воображении навязчивый образ Алены, обвитой алой лентой, точно Лаоокоон аполлоновыми змеями, он задумался над тем, кто же на самом деле этот старик и что кроется за его обличениями, молитвами и проповедями.

Со слов Петровича, хорошо знавшего здешние места и его коренных обитателей, кто-то считал его святым старцем, кто-то юродивым, кто-то лжеюродивым или вовсе сумасшедшим. Таковых было большинство.

– А сам ты как считаешь? – спросил у него Садовский.

– Не знаю. Больно странный он. Не ко времени пришел. И отгостился не вовремя. Он как будто из другой эпохи, что ли...

– Вот и мне так показалось.

– Но он не сумасшедший. Точно не сумасшедший...

Быть может, как Иоанн Предтеча, бывший последним из пророков, блаженный Алексий был последним из юродивых? Чего ради покинул он семью, если она у него была, сменил дом на подворотню, если имел крышу над головой, стал кормиться подаванием, если имел источник пропитания? Что заставило этого праведника с раскаленным глаголом на устах

проповедовать на паперти, ходить по деревьям и урочищам в поисках Бога? Какой храм он собирался воздвигнуть? Для кого? И вообще – откуда берутся такие как он?

Наверное, не случайно святая Русь не в пример Европе стала самым благодатным местом для божьих людей, а из всех русских земель – именно новгородская земля приютила их.

Но давно прошли те темные, непроходимые, как прильменские дебри, века, когда цари страшились проклятий, угроз и пророчеств юродивых. Когда сам Иван Грозный не смел послушаться их, смиренно терпя обвинения в кровопийстве и святотатстве.

Само это явление, обреченное на измельчание и полное исчезновение, насколько он, человек невоцерковленный, мог судить, перестало быть частью религиозной жизни. И кем бы ни был блаженный Алексей дни его сочтены; время, нанося дробящие удары, перемалывая суеверия, предрассудки и саму веру словно задалось целью окончательно превратить его в пыль. По-видимому, он был не божьим человеком, а шальной, полубезумной пародией на божьего человека, ходячим анахронизмом, своего рода оптическим обманом. Говорят, некоторые старцы обладают такой способностью – находясь в одной точке пространства явить себя в другой, за десятки и сотни километров от места своего действительного пребывания. И если бы Садовский был человеком внушаемым, экзальтированным, верящим в знамения, то непременно

но побежал бы в Кузьминки благовещать о свершившемся чуде – хождении юродивого по воде. И случилось бы обычное: одному что-то показалось, другой передал, приукрасив, третий присочинил, остальные подхватили...

Так и слагаются, передаваясь из уст в уста, легенды...

Однако воинственные крики, долетавшие со стороны бивуака Полковника, не могли быть плодом его воображения. Это утреннее громкоголосие больше напоминало дежавю. Там, на поляне, опять что-то происходило. И то, что там происходило требовало его незамедлительного вмешательства.

Садовский появился на линии разделения враждующих сторон, как это уже было накануне, как раз вовремя. Еще немного и дело дошло бы до рукоприкладства.

«Полтора землекопа» уже начинали сближаться с Петровичем. Один из них на ходу вставил в рот капу, второй по возможности незаметно просунул пальцы в кольца кастета. «Хлопец с Запорижжя» нацелил свой кардан на Андрея, вооруженного лопатой. Чернявый с каким-то хлыстиком в руках выплясывал джигу перед Геной. На его правом плече были наколоты эсэсовские руны в виде двух молний. Этот мозгляк, по-видимому, гордился своей татушкой. Телохранитель, предусмотрительно одетый в черное кимоно, стоял чуть поодаль, не вмешиваясь.

«Будут бить, как пить дать», – подумал Садовский.

К счастью, у него с собой оказалась саперная лопатка – грозное оружие на дистанции ближнего боя, которым он вла-

дел в совершенстве.

Когда-то.

Много лет назад.

– Похоже, очень похоже, что здесь нам дадут, непременно дадут по роже, – задумчиво произнес он, став между ними.

Блаженны миротворцы.

– Як справа, колорад?

– Як справа, так и слева. Ваше хитрожопое лицо, ясно-вельможный пан, кажется мне смутно знакомым.

– Москаляку на гиялку, – зло пробулькал свидомый и сплюнул. Судя по его налившимся кровью, лоснящимся, будто смазанным свиным салом глазкам он был готов ринуться в атаку.

– А где ваш фюрер? – спросил Садовский, полагая, что Полковник, встревоженный шумом разгорающейся битвы, давно уже должен был выскочить из «буханки». – Мы заключили с ним перемирие. Пакт о ненападении, чтобы вам было понятнее...

– Не морочьте мне то место, где спина заканчивает свое благородное название! – азартно и звонко, на запредельно высокой ноте воскликнул чернявый. – Вы первыми им и подтерлись!

– Мы держим слово.

– Це брехливы обицянки! Ганьба!

– Закрой рот, бендеровская сволочь! – взвился Петрович. – Тут, в России тебе вообще слова никто не давал! Та-

кую страну развалили, уроды! Украину, мать вашу! Теперь вам только и остается... Орать ганьба и радоваться нашей мелкой жопе, глядя из своей глубокой... Больше вы ни на что не годитесь!

– Ганьба!

– Ты у меня еще за Ватутина ответишь!

– Почему крест не убрали? – пытаюсь остановить перепалку, спросил Садовский.

– Про крест Полковник ничего не говорил.

Это был телохранитель.

– Скажет.

– Тебе не об этом сейчас думать надо, лесовичок. Ну что, продолжим? Скребок свой только спрячь. Так изукрашу, что и капменский утюжок не поможет... – проговорил он с нехорошей ухмылкой.

– Эх, не дадим врагу топтать родную землю! Будем топтать ее сами... – сказал Садовский и, воткнув саперную лопатку в землю, принял стойку.

– Щас мы вас убивать будем, чтоб вы знали! – проверещал чернявый.

– Вы можете нас только убить. А мы вас еще и закопать, – ответил Андрей и, как лопасть вертолета раскрутил над собой лопату.

Садовский провел удар с разножки – мимо. Вообще-то он намеренно промахнулся, чтобы потянуть время. Полковник что-то медлил. Пришлось сделать вертушку. Для острост-

ки. На сей раз он не стал падать, демонстрируя ограниченные возможности своего вестибулярного аппарата. Очертил круг и стал как вкопанный.

– Тебя мама в детстве на балет не водила? – усмехнулся телохранитель.

– У меня другой диагноз – ВДВ головного мозга. А десантник, что б ты знал, не барышня кисейная, а смелый, сильный, отважный и преданный Отчизне боец Красной Армии, – выдал целую тираду Садовский и покосился на «буханку». К ним уже бежал, что-то выкрикивая и размахивая на ходу руками, Полковник.

– Что ж ты не сумел с ними договориться? – запыхавшись, спросил он, имея в виду свое изготовившееся к сражению войско. – Мы же вроде как условились...

– Это мой провал как педагога. И дипломата.

– Отбой, ребята. Крест уберите. Пока...

– Засуньте его себе сами знаете куда, – хрипло проговорил Петрович.

– Давайте не будем обострять...

Полковник был настроен примирительно. Очевидно, приезд девушки по имени Светлана, которую надо было сегодня встретить, имел для него гораздо большее значение, чем разгром идеологического противника. Однако, никто из его подручных даже не шевельнулся.

– Поступил приказ прекратить наступление и начать окапываться, – громко объявил Садовский. – Что не понятно?

– Расходитесь! – повысил голос Полковник.

И только после этого они подчинились. Нехотя.

– Ну ты и везунчик, – хмуро проговорил телохранитель. –

Второй раунд слил...

– Встретимся в третьем, – пообещал Садовский. И проследил взглядом за чернявым, который, тужась изо всех сил, вытаскивал крест из могильного холмика, под которым упокоился штурмбаннфюрер Краузе.

Шел пятый год войны. Поверженный Берлин, лежащий в руинах, словно город-побратим Сталинграда, постепенно возвращался к мирным будням. Казалось, эхо отгремевших боев никогда не затихнет на этих улицах и площадях, а исписанный автографами рейхстаг так и будет стоять веки вечные мрачным надгробием Третьего рейха и напоминанием о триумфе человеческого безумия. Двенадцать лет этот проклятый в разных концах света город пожирал, как Кронос, собственных детей и даже теперь, оскверняя небеса своими вывороченными внутренностями, не переставал в силу какой-то чудовищной инерции требовать новых жертвоприношений.

В июне здесь погиб в автокатастрофе первый комендант и начальник берлинского гарнизона генерал Берзарин, командовавший во время Демянской операции Северо-Западного фронта 34-й армией, в которую входила «Сталинская» дивизия.

Но день ото дня дух войны рассеивался, и из горького пепелища, раскинувшегося по всему фатерлянду, вырастала другая, совершенно непохожая на прежнюю, кропотливо отстраиваемая трудолюбивыми немцами жизнь.

2 августа 1945 года во Дворце Цецилиенхоф завершила свою работу Потсдамская конференция, определившая послевоенное будущее Германии. Вместо старого лозунга «Один народ, один рейх, один фюрер» был провозглашен новый, базировавшийся на четырех «Д»: денацификация, демилитаризация, демонополизация и демократизация.

Однако едва выкурив трубку мира, «большая тройка» – Сталин, Черчилль и Трумэн – вновь выкопала томагавк войны, на сей раз холодной, растянувшейся на многие десятилетия. Надежды Рузвельта на справедливый миропорядок, которым будут управлять действующие в согласии победившие державы окончательно рухнули вместе со смертью последнего великого президента США. Едва забрезживший мир уступил место новому глобальному противостоянию...

До атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки оставались считанные дни, до окончания Второй мировой войны меньше месяца, до фултонской речи старого британского лиса, в которой он вынес приговор доктрине равновесия сил и объявил о том, что от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился «железный занавес» – чуть более полугода.

Советский Союз спешно перековывал мечи на орала. В

стране, сменившей солдатскую гимнастерку на рабочую спецовку, развернулась четвертая пятилетка ударного труда: открывались новые производства, восстанавливались разрушенные города, создавались колхозы, отстраивались исчезающие, почти или полностью исчезнувшие деревни. Стариков, детей, калек и вдов на освобожденных территориях было едва ли не больше, чем здорового, крепкого, не обездоленного люда. Целые районы оказались разорены и обезлюдели настолько, что напоминали библейскую землю, которая, как сказано в Ветхом Завете, была безвидна и пуста. И все, что происходило вокруг, напоминало новое, уже рукотворное, не осиянное божественным вмешательством сотворение мира. Народ, упоенный Победой и воодушевленный планами мирного строительства, несмотря на повсеместную нищету и унижительный коммунальный быт обретал необходимое великой нации достоинство и неистребимую веру в светлое, счастливое будущее. И все говорило о том, что на глазах обеспокоенных западных демократий под бодрящие звуки советского гимна, заводских гудков и тракторных моторов, под треск лесоповалов и тихую сапу знаменитых шаражек поднимается новая супердержава.

Но параллельно этой стремительно меняющейся реальности существовала и некая иная, где все как будто замерло, впало в анабиоз, вернулось к первобытному состоянию. Оказалось, что время непостоянно и текуче в разных направлениях, в том числе и в обратном, что оно может трансформи-

роваться и изменять скорость своего бега, может обретать подвижность ртути и застывать, как смола, превращаясь в янтарь.

В Пустыне время остановилось. Она так и не оправилась от войны и окончательно пришла в упадок, обретя вид брошенного солдатского кладбища. Здесь не осталось никого и ничего, кроме изрезанной оплывающими окопами и воронками от снарядов, издающей трупный запах высоты и развалин церкви. И превратилась она в блуждающую деревню, которая, будучи неприкаянной, бредет во сне сама не зная куда и не может очнуться от объявшей ее тяжелой летаргии. Еще теплилась надежда, что Господь вобьет в продырявленный купол храма золотой крест и пришьет свое творение к вершине холма, но и она со временем угасла. И стала Пустыня урочищем. В тихую безветренную погоду здесь можно было услышать едва различимые, будто доносящиеся из-под земли звуки молота или какого-то невидимого метронома, отсчитывающего нитевидный пульс той, прежней, отшумевшей жизни, так и не сумевшей найти свое продолжение и пресекающейся вместе с последним павшим в Пустыне воином. Природа вошла здесь в состояние, предшествующее смерчу, когда все обращается в слух, который чуток к неслышимым, почти неуловимым вещам и глух, невосприимчив к громким. И ни один, даже самый чувствительный радар не смог бы уловить всполохи хаотически мерцающих в этом зазеркалье токов и энергий.

Но в часы, предшествовавшие рассвету, внешне безжизненное пространство урочища оживало и, словно повторяя полустершиеся кадры старой кинохроники, снова и снова воспроизводило картины минувшего. И сбившееся с наезженной колеи время, как сумасшедший киномеханик, без устали крутило один и тот же сюжет – о войне, страданиях и смерти, проецируя метание теней и мельтешенье призраков на мутно-белесое, будто матовое стекло, небо. И в этом переплетении свершившихся здесь когда-то историй и судеб, о которых уже никогда никому не узнать, в нагромождении застывших всплесков ярости и словно изваянного из ржавого металла отчаяния и ужаса, в смешении мертвых голосов и канувших в вечность картин, запахов и звуков вновь явно проступал пробивающийся из-под толщи прошедших лет ручеек нескончаемого разговора.

– Расскажи-ка мне, Фриц, о самом страшном на войне. Чего ты боялся больше всего?

– Больше всего? Непростой вопрос, я тебе скажу... Один раз я сильно сдрейфил. Чуть в штаны не наложил. В начале марта на нашу позицию с диким криком поперли разъяренные толпы полупьяных иванов. Мы вас так и называли. Иваны или просто – русские. Как вы нас фрицами или гансами. Сколько же там было? Может, полк. А может и больше. Прикрывавшее нас орудие вышло из строя – снаряд из-за сильных морозов разорвался прямо в стволе, отчего тот превратился в «розочку». Вся орудийную прислугу посеколо оскол-

ками. Я думал – все, аллес, всем нам капут. Спас нас только старый добрый MG 42, который мы называли теткой-заикой. Много же ваших тогда полегло... И еще эти ваши «катюшечки»... Вот чего мы боялись как огня. Врагу не пожелаешь.

– Залп из «кадушек», ваших тяжелых шестиствольных минометов, тоже не подарок...

– А что тебе запомнилось, Иван?

– Атаки стервятников, от которых душа уходила в пятки. Особенно первая. Сначала над нами долго кружил самолет-разведчик. Потом появились эти гады... Они шли, как на параде, с черными крестами на фюзеляжах, выстроив в воздухе многоярусную пирамиду из истребителей и пикирующих бомбардировщиков. Немецкие летчики настолько презирали нас, что даже не стали уклоняться от огня, когда проснулась наша чахоточная, бессильная против такой воздушной армады зенитная артиллерия. Просто прилетели и как следует нас отутюжили... И вот сижу я в окопчике, не помня себя, трясусь от страха и никак не пойму, то ли жить так хочется, то ли умирать так страшно... Смерти может и нет. Но страх смерти точно есть. Умирать всегда страшно, даже если у тебя за плечами стоит святой великомученик Георгий Победоносец...

– С этим не поспоришь. А последняя атака? Что ты можешь о ней сказать?

– Все было как в бреду. Все бежали и я бежал. Все стреляли и я стрелял. Все кричали и я кричал. И вот: все погибли

и я погиб. Как так получилось – не знаю. Нашла меня вражья пуля. Твоя, Фриц. И не одна. И в тот момент, когда я это понял – а я это понял, помню это точно! – меня охватил настоящий, ни с чем не сравнимый ужас. И вместе с ним, знаешь... что-то вроде облегчения: все, отвоевался, конец моим мучениям...

– Видеть, как штык пронзает твою грудь тоже не очень приятно. Честно, Иван, это не доставило мне удовольствия. Но вот что я тебе скажу. Обстрелы, бомбардировки и сам бой – не самое страшное. Есть кое-что пострашнее.

– Что, например?

– Сны.

– Ты видишь сны?

– Здесь – нет. Но помню, что мне снилось во время войны. Сплю, бывало, а перед глазами такая картина – солдаты пилят мерзлую буханку хлеба ножовкой по дереву. Или рубят ее топором на пять частей. В действительности так оно и было...

– Что же здесь страшного? Это обыденные на фронте вещи...

– Самое страшное – просыпаться на войне... Особенно после того, как приснился дом, крошка Гретхен или кто-то из родных... Ты сразу оказываешься лицом к лицу с реальностью. Со своим одиночеством и мыслями о смерти. Перед нашим передним краем все время лежали трупы ваших солдат, промерзшие до твердости бронебойно-подкалиберного

снаряда. Мне казалось, что ими можно пробить броню всех типов танков... Во снах они приходили ко мне и молча смотрели в глаза, как бы утверждая: ты – следующий... От этого можно было сойти с ума. Особенно этот комиссар... Ты помнишь его?

– Конечно. Он погиб еще 3 марта, когда Пустыню штурмовала дивизия Штыкова. Совсем молоденький. Пытался личным примером увлечь бойцов в атаку, но за ним никто не поднялся – настолько плотным был огонь. Он так и застыл в сугробе, будто пловец вольного стиля с пистолетом в вытянутой руке и открытым в последнем крике ртом.

– Я его никогда не забуду. Этого фанатика...

– Для нас он – герой.

– Пусть будет герой. Его срезал наш пулеметчик. Не я, честно. Хотя теперь без разницы...

– Земляк-уралец мне о нем рассказывал. А ему кто-то из штыковских. Этот бедолага на месяц раньше нас на фронт попал. Как-то раз кто-то из бойцов увидел, как он рассматривает фотографию своей девушки. Политрук заметил и сразу стушевался, залился краской, как будто его застукали за постыдным занятием. Быстро спрятал карточку во внутренний карман... Да... О нем ходила байка, что при первой бомбардировке он забился в щель и накрыл голову газетой «Правда». От бомб. Понятно, что с каждым на передке такое случалось. Но тут еще и политическая подоплека была. Комиссар все ж... В этой атаке он хотел реабилитироваться. Я хо-

рошо помню, как мой земляк-уралец говорил о нем. С какой-то странной злостью говорил. Тогда мне не понятной. Но сквозь эту злость прорывалась что-то такое... Какая-то неприкрытая боль, что ли, словно речь шла о его нашкодившем неразумном сынишке. В его пересказе это выглядело так: «За Родину, за Ста...», – успел выкрикнуть комиссар звонким мальчишеским голосом. И тут ему осколком снаряда снесло полчерепа и ошметки мозга с «Кратким курсом ВКП(Б)», речью вождя народов на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы 11 декабря 1937 года и работой вождя мирового пролетариата В.И.Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин» забрызгали обмотки, ватные штаны, телогрейки и побелевшие от ужаса лица бойцов... Теперь я понимаю, почему он так злился. И на кого. Болела у него душа при виде наших бессмысленных потерь. От дурости начальства болела. От неумения воевать. Вот и зубоскалил на каждом шагу...

– Этот комиссар служил нам термометром. Мы полагали, что как только он «даст отмашку» кончится эта окаянная зима и начнется таяние снегов. С первой же оттепелью он должен был опустить замерзшую руку с пистолетом... Но я так и не увидел этого. Зато несколько раз он приходил ко мне во сне и говорил: «Весны ты не дождешься...» Жуть... По сути он оказался прав...

– Жаль парнишку. Мне всегда казалось, что его кожа отликает бронзой...

– Все трупы на морозе покрываются бронзовым загаром.

– Нет, тут другое... Он стал как бы памятником самому себе... И глядя на него, мы, тридцатилетние, старики по фронтовым меркам, не могли позволить себе смалодушничать...

– Кстати, Иван, если ты не дашь мне закурить я буду являться тебе в ночных кошмарах...

– Ага, в наушниках из русских портянок, как это было в демянском «котле»...

– Между прочим, солдату вермахта полагается семь сигарет в день. Никогда бы не подумал, что на том свете так хочется курить...

– А ты уверен, что мы уже на том?

– А на каком?

– Ни на том, ни на этом. Мы не упокоились с миром, ибо не все еще сделали, что должно нам сделать. Ведь есть у нас какое-то предназначение, раз мы здесь...

– Что же мы должны сделать, Иван?

– Покаяться. Простить. И примириться. Лютая, неизбежная наша прижизненная вражда да пребудет навеки братством по смерти.

– Похоже, ты не даешь мне попасть в ад, хоть я того и заслуживаю, а я не отпускаю тебя в рай...

– Может, и так.

– По-твоему, что-то можно еще изменить? Что теперь с нами будет?

– Все, что могло с нами произойти уже произошло. Теперь имена наши забыты, а мы сами принадлежим вечности. И изменить уже ничего нельзя. Да и незачем. Ты никогда не скажешь мне «Lebewohl!» – «Прощай!». Я никогда не скажу тебе – не поминай лихом... И мы никогда больше не закурим. Здесь нет ни табака, ни спичек, нет ничего из прежнего мира. Здесь нет нас.

– Потому что мы умерли?

– Умерли. Но не окончательно. Как – не знаю. Видимо, есть что-то незавершенное нами, какие-то земные заботы, которые до сих пор держат нас. Что-то еще мы должны совершить.

– Что же мы должны совершить?

– Не знаю. У нас будет возможность над этим подумать. Целая вечность. Расскажи-ка мне лучше, Фриц, о самом удивительном случае на войне. Попробуем скоротать время, если оно тут есть. Я подозреваю, что такая роскошь, как время нам тоже не доступна...

– О самом удивительном? Умеешь ты задавать хорошие вопросы...

– Что ты увидел в этой бойне, кроме самой бойни, Фриц? Ведь это главное, а не опасность, которая подстерегает тебя на каждом шагу...

– Когда смерть – обыденность невольно начинаешь задумываться о том, ради чего все это. Поэтому начну издали. После французской компании мне казалось, что победить

англичан, поляков, русских, да кого угодно не труднее, чем разогнать стадо быков. Мы недооценили вас. Стадо оказалось слишком большим, а быки слишком упрямыми... Что я знал о России, кузнец-недоучка из Танненберга, что видел в этой жизни? Жители нашего городка хорошо помнят, как в Первую мировую по улицам вели огромные толпы русских пленных. Пленные везде выглядят одинаково. Даже если они представляли когда-то победоносную армию. Теперь я знаю, что ни одна победоносная армия не является непобедимой. Но не буду забегать вперед... Мне рассказывали, как наши доблестные войска в 1917 году уничтожили три русских пехотных дивизии. Где-то за рекой Стоход. Из всей этой огромной массы тогда спаслось лишь восемь человек. Восемь! О, как я гордился несокрушимой мощью немецкого оружия! И даже наше поражение в Первой мировой войне, Версальский мир и низложение германской армии до уровня жалкого рейхсвера я считал роковым стечением обстоятельств, проявлением какой-то высшей несправедливости по отношению к тем, кто действительно заслуживал победы. Потом, уже будучи солдатом дивизии «Мертвая голова», упиваясь своей принадлежностью к СС, я не раз испытывал ни с чем не сравнимое чувство человека, который взял реванш. Нет ничего упоительнее этого чувства! Ты ощущаешь себя кем-то вроде Господа Бога, вершителя судеб и всемирной истории... Мы бравировали своей силой, потешались над бессилием русских, хотя подспудно, в глубине души каждого из

нас нарастала пока еще неясная тревога. Во всем этом чувствовалась грозная поступь неумолимого рока. Опять и снова мы повторяли ошибки наших отцов. По мере продвижения вглубь России нам начинало казаться, что мы увязаем в каком-то смрадном болоте или бесконечно кружим в колдовском лесу, где топоры отскакивают от деревьев, а деревья перебегают с места на место, и впереди нас ждет что-то ужасное, непоправимое, нечто вроде окончательной расплаты за все совершенные нами злодеяния. Мы понимали, что за спиной у каждого, кто пришел в эту страну – смерть. И она точно так же бравирует своей силой, потешается над нашим бессилием, играет с нами в кошки-мышки. И если сначала она – крохотная черная точка на ранце немецкого солдата, то с течением времени это уже огромная жирная клякса, которая, все больше разрастаясь, накрывает его как исполинская тень. И эта тень постепенно ложится на всю Германию – как расплата за нашу детскую жестокость, самонадеянность и преступное легкомыслие... Это было предчувствие чего-то фатального. Тогда еще смутное. А потом, уже после моей гибели появилась усталость металла в броне «тигров» и «фердинандов», в выкриках унтер-офицеров, в железных доспехах надломленного тевтонского духа. И стало уже почти все равно, чем и как все закончится, лишь бы закончилось поскорее. Глядя на вашу беспомощность в военном деле, привычку воевать толпой, полную неспособность организовать огневое взаимодействие танковых сил, артиллерии, авиации

и пехоты, мы и предположить не могли, что через год-другой вы сможете самолетами перепахивать землю, пушками изменять ландшафты, а танки научите летать... И знаешь, когда я, лично я понял, что мы проигрываем вам вчистую? Нет, не когда ваши штыковые атаки одна за другой захлебывались под пулеметным огнем, а вы все равно упорно шли вперед. Мы косили одну шеренгу за другой, зная, что когда-нибудь ваши ряды иссякнут. Так обычно и случалось. Я понял, что мы обречены после одного-единственного случая. Это был ничем не примечательный бой. На первый взгляд не примечательный... Если бы не тот лейтенант-танкист. Представляешь? Он на виду у всей нашей роты... философствовал молотом...

– Честно говоря, Фриц, не понимаю, о чем ты...

– Сейчас поймешь. У одного нашего знаменитого философа – Ницше есть трактат «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом». Я не читал его, но не раз слышал о нем. И как-то сразу связал его с этим танкистом. Произошло что-то странное. Непонятное. Непостижимое. Фигуры Ницше и русского молотобойца вдруг слились для меня в одну. Может, потому, что этот тяжелый ритм соударения молота и наковальни, запах каленого железа и горячий воздух кузни я впитал себя с молоком матери. А может, и по какой-то другой причине. И тогда у меня возникло ощущение, что наш великий мыслитель уже не с нами, что он на вашей стороне. И это плохое для нас предзнаменование. Это сумерки наших

идолов. Нашего фюрера. Рейха. И всего немецкого народа...

– Яснее от твоих объяснений, Фриц, не стало. Умеете вы, немцы, напустить туману... Давай котлеты отдельно, мухи отдельно. Что это за история?

– Забавная поговорка. У нас есть похожая – *Krieg ist Krieg und Schnaps ist Schnaps*, то есть война есть война, а шнапс есть шнапс. Но я отвлекся... Рассказываю, как было. В этот день русские пошли в атаку при поддержке четырех танков. Три мы подбили сразу. Четвертый чуть позже. Он закрутился на месте, размотал гусеницу и остановился. Идеальная мишень! Но экипаж не хотел покидать эту «тридцатьчетверку». Кто-то кричал из леса командиру танка: «Четвертый, отбегай от коробочки! Сейчас еб...т!» А он вместо того, чтобы спастись бегством вылез через донный люк и стал ремонтировать перебитую снарядом гусеницу. В дело пошли запасные траки, соединительные пальцы и, конечно, кувалда. С такой-то матерью, как это у вас принято... Я никак не мог поверить в реальность происходящего. Это было запредельное зрелище. Даже грохот разрывов не мог заглушить удары молота о металл. Наводчик в это время продолжал огрызаться, крутить башней, вести огонь по нашим контратакующим танкам. Их было семь. Лейтенант, не обращая на это внимания, продолжал махать кувалдой под перекрестным огнем целого танкового подразделения. Как бессмертный молотобоец. Он сумел придать этому действию какой-то глубинный, сакральный смысл. Я никогда не забуду этого русского. Он

был похож на разящего раскалённым молотом Тора, бога грома и бури.

– Что молот? Это ты еще не познакомился с нашим серпом. Тебе известно его предназначение?

– Не смейся. Это совсем не смешно. Я видел поляков, с шашкой наголо скачущих на танки, видел русских, бросающихся в лихой кавалерийской атаке на бронепоезд, но не это поразило меня. В их безудержной храбрости, храбрости без головы сквозило отчаяние обреченных. А танкист разил молотом осмысленно. И он сделал свое дело. Несмотря ни на что, всем смертям вопреки, понимаешь? Его «тридцатьчетверка» снова стала маневрировать и вступила в огневой бой. И не просто вступила. Один за другим вспыхнули четыре наших танка. Остальные были вынуждены отступить... Что это было? Как такое вообще возможно? Оказывается, в России все возможно. И все это поняли. Да, все это поняли и что-то в нас надломилось. Каждый из нас увидел в этой стране нечто такое, от чего он содрогнулся и впал в оцепенение, в состояние апатии и обреченности. Это был момент истины... Именно тогда я понял, что этот народ победить нельзя. Истребить можно. Победить нельзя. Поэтому мы вас так безжалостно убивали. Зачем, во имя чего? Во имя какой великой цели? Каждый должен был ответить на этот вопрос сам.

– И как отвечал на него ты?

– Ты знаешь... Мы пришли сюда, чтобы освободить от варваров жизненное пространство, разбив врага. И мы раз-

били его – в пух и прах. Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выполнили свою миссию. Но при этом сами оказались наголову разбиты. И навлекли гнев божий на Германию. Будь мы прокляты...

– Кажется, Фриц, ты начинаешь понемногу прозревать.

– Майн гот, если бы все у нас тогда получилось... Все ведь могло сложиться иначе... Но произошло то, что произошло. И произошло так, как произошло. И хватит об этом. Теперь твоя очередь, Иван, пускаться в откровения. Давай, выкладывай все начистоту. Не сомневаюсь, у тебя что-то припасено. Как солдат солдата я пойму тебя...

– Да какой я солдат... И десяти дней не провоевал. Слишком короткой она оказалась для меня, эта война. Как и вся моя жизнь... Но была у меня встреча, о которой я не забуду никогда.

– Что за встреча? Неужели тут все-таки замешана женщина?

– В каком-то смысле да. Но не о ней речь. А встретил я на фронте Алешеньку, божьего человечка...

– Это был киндер?

– Да. Этот мальчонка перевернул мне душу. Когда я впервые увидел его что-то в ней в единый миг оборвалось. Он смотрел такими ясными, чистыми глазами, так пытливо всматривался в меня, что было неведомо, то ли лицо его в следующее мгновение озарит омытая слезами улыбка, то ли он заскулит от ужаса и безысходности. И какая-то последняя

надежда сквозила в его взгляде, словно он спрашивал – вы ведь не убьете меня, ведь вы же не звери, как все вокруг, вы не стреляете в живых людей и не казните детей. Я не сделаю вам ничего плохого и буду хорошо себя вести, буду послушным мальчиком, только не отнимайте у меня жизнь... Наверное, если бы в наш солдатский ад спустился ангел, он выглядел бы таким же испуганным, жалким и растерянным, как этот найденыш... Как все было? Однажды ночью, когда наша группа находилась в дозоре, я услышал детский плач. Сначала не поверил своим ушам. А когда увидел свернувшегося за бруствером мальчонку – своим глазам.

– Как ты сюда попал!? – спрашиваю.

– Пришел.

– Откуда?

– Из рая. Я там жил. До войны...

– Мы все до войны в раю жили, только не знали этого, – говорю. – Чего плачешь-то? Замерз или оголодал совсем?

– Жалко.

– Кого жалко?

– Всех, кто там...

И показывает в поле, в сторону Пустыни, где еще до нас полегло много наших.

– И я скорблю... – говорит.

Представляешь? Так и сказал: «Скорблю...»

И давай снова слезы лить.

– Что поделаешь – война... – я ему. И как-то сам собой у

меня вырвался вопрос:

– А ты о ком скорбишь – о погибших красноармейцах?

– Обо всех. Они все – люди.

– И о немцах тоже? Они ведь наших убивают...

– Немцы – это те, кто в мундирах мышиноного цвета?

– Ну да.

– А, это они делают лица красноармейцев серыми...

Тогда я не понял, что он хотел этим сказать. Понял потом.

– А если тебя, дурачок, они убьют, тоже будешь их жалеть? – спрашиваю.

– Тоже. Но меня не убьют. Как можно меня убить? Никак...

– Пожалуй, тут ты прав, – не стал спорить я. – Но ведь ты можешь просто замерзнуть. Совсем продрог уже. Полежай ко мне под тулуп, согрейся. Скоро смена, отведу тебя в землянку. Поешь, поспишь в тепле, а там командир решит, что с тобой дальше делать...

Так мы и порешили. И вот мое дежурство подошло к концу, меня сменил мой товарищ и мы с Алешенькой пошли отогреваться в штабной блиндаж, к которому я был приставлен для караула. А там комбат наш боевой – сидит у стола в раздумьях, колдует над топографической картой. Увидел пацаненка. И сразу – кто такой будешь? Откуда взялся? Я объяснил ему что да как. Недолго думая, комбат приказал отвести мальчонку в тыл, накормить и передать на попечение кому-нибудь из местных жителей. Не место, говорит, ему на

передовой.

Как только Алешенька понял, что от него хотят избавиться, с ним случился припадок. Посинел вдруг ни с того ни с сего, будто ошипанный куренок, потом побледнел и сделал «мостик», как на уроке физкультуры. Судорога его скрутила. Тут же послали за нашим санинструктором, я тебе рассказывал о ней. Таня – так ее звали – была нарасхват. Ее хотели переманить к себе все – от начальника медсанбата до начсандива, но она предпочла остаться на передовой, вместе со своим суженым. И только она прибежала, запыхавшись, Алешенька, будто по волшебству тут же пришел в себя. Увидел меня, зашелся плачем и бросился обнимать.

– Я хочу, – говорит, – остаться с дядей папой Ваней! Не прогоняйте меня! Я научусь стрелять во врага!

– И то правда, товарищ капитан. Как-нибудь приютим. А то пропадет ведь...

Комбат посмотрел на него внимательно и спрашивает:

– Как ты его назвал?

– Дядя папа Ваня.

– А где твой настоящий отец?

Мальчонка показал пальцем вверх.

– Ясно. *Божий человечек*. Только ты все-таки определись, кто тебе этот боец. Если дядя, то он не может быть папой. А если папа, то он не может быть дядей.

– Давайте его ко мне. Бинты будет стирать и сушить, – сказала санинструктор Таня.

– Тетя мама! – обрадовался мальчонка.

– Что ты будешь делать! – усмехнулся комбат. – Он и маму себе тут нашел...

В общем, остался он у нас. Кем-то вроде сына полка. Как сейчас вижу его и душа разрывается на части... Вот он стоит передо мной, несчастный, полуживой, потерявший нить жизни оборвыш, а я все сокрушаюсь, спрашиваю себя – кто же мы, если не можем защитить своих детей, если смогли допустить такое. И тогда я понял, что ради спасения одной только этой жизни готов идти с одним патроном в трехлинейке на пулеметы, готов принять самую лютую смерть...

– И что с ним, с этим Алешенькой было потом? Чем закончилась эта история?

– А дальше, Фриц, началось самое удивительное. До сих пор у меня в голове не укладывается... Мальчонка-то и в самом деле будто свыше послан нам был. Кем-то вроде вестника. Хотя поначалу ничего особенного никто за ним не заметил. Припадки больше не повторялись. Правда, однажды, увидев зажженную спичку, Алешенька закрылся руками и заскулил, как собачонка... Ну, с кем не бывает. Может, вспомнил что. Говорил чудно, это да... По-церковному. Так дети еще и не такое скажут. Но однажды случай произошел, который все изменил. Сидим мы как-то в землянке – тепло, огонек в печурке, байки разные друг другу рассказываем. На переднем крае изредка ухает, немец иногда для остротки палит, запускает осветительные ракеты, а так, в общем, спо-

койно. Мы только-только Горбы взяли, к штурму Пустыни готовились. А до него без малого три дня еще оставалось – для фронта целая вечность...

Помню, земляк-уралец тогда рассказывал, как Алешенька разрисовал оперативную карту. С нанесенной обстановкой. А дело было так. Комбат проводил совещание с командирами рот – объяснял поставленную перед батальоном задачу. Противник неустановленной численности и нумерации закрепился в деревне Пустыня, которая расположена на возвышенности и командует над окружающей местностью. Задача – взять ее. Что не понятно? Все понятно. Замысел боя такой: атакуем в лоб. С криком «Ура»! Такова стратегия штарма, то бишь штаба армии. Что не понятно? Все понятно. Авиации не будет. Обещают дать три танка «Матильда», 0,5 заправки. Хватит, чтобы доехать до переднего края противника и заглухнуть. Обратной дороги нет, потому что нет горючего, товарищи. Провизии – 1 сутодача. Больше уже не понадобится. Кормить-то будет некого. Артподдержка из расчета 0,2 боекомплекта боеприпасов – чтобы достойно отсалютовать в честь павших героев. Вопросы есть? Нет вопросов. Вот оно, биение мысли командира!.. «Короче, мертвые не сдаются, победа будет за нами», – сделал вывод мой земляк, прослушав диспозицию. Он там как раз у входа на часах стоял. И тут комбат показал ротным на карту, мол, ознакомьтесь с замыслом боя. А там домики с окошками, солнышко да цветочки. Благодать! И все это аккуратненько так, цветны-

ми карандашиками. Надо было видеть налитую кровью физиономию нашего боевого командира. Чуть не прибил Алешеньку. Хорошо, что тот на глаза ему не попался. Чудом его тогда в тыл не спровадили... Но рассказ не об этом. Был тогда с нами в землянке один связист. В каждой роте есть такие балагуры – умеют рассказывать всякие истории в лицах, не хуже любого артиста. Он еще рта не раскрыл, а тебе уже смеяться хочется.

– Да, у нас тоже в них недостатка не было. Мой друг Отто, например. Такие люди поднимают настроение. И укрепляют боевой дух. Извини, я перебил тебя...

– Да, так тот связист и говорит – это еще что, у них, мол, бывает и похлеще. Как-то вызывает его и командира роты новый начсвязи полка – прежнего убили накануне – и ставит задачу: «Обеспечить связь через кабельно-шестовые и постоянные линии». Ротный ему: «Разбомблены вражеской авиацией». «Телеграфом Бодо». «Вышел из строя». «Через рацию». «Нет питания». «Лыжными эстафетами!» «У нас нет лыж». «Конными вестовыми!» «Последнего коня пустили на фарш еще в феврале». «Ну на нет и суда нет!» «Так точно! Глухо, как в танке, товарищ капитан!» – ротный ему. «Что хотите делайте, но связь должна быть! Иначе расстреляю всех к чертовой матери!» Ну, ничего не попишешь, приказ есть приказ! Пришлось ползти к немчуре, обрезать телефонный провод и прокладывать линию к штабу за счет трофея. Утром пришли к майору на доклад, так он их снача-

ла не узнал. Наверное, за нечистую силу принял. Жгли они этот самый трофейный провод для освещения, чтобы ночью работать можно было. А он, зараза, чадит и копоть на лице оставляет. Начсвязи сморит на них – негры пришли! Черти по его душу! Его чуть кондратий не хватил. О, как бывает. И смех и грех, одним словом.

В общем, вволю нашутились, насмеялись мы в тот вечер. А это, говорят, не к добру. Смотрю я – Алешенька как будто заскучал, пригорюнился, глядя на связиста. С чего бы это, думаю? Решил его немного подбодрить, развлечь чем-нибудь. Спрашиваю у него:

– Во что ты играть любишь? Были у тебя какие-нибудь игрушки?

– Игрушек не было. А играть я люблю в больничку. Я умею ставить диагноз!

– Да что ты говоришь, – удивилась санинструктор Таня. – Поставь кому-нибудь этот самый диагноз.

– Кому, например? – он спрашивает.

– А хотя бы и мне! – со смехом говорит связист.

– *А у тебя лицо серое.*

– У всех тут серое, брат, с голодухи.

– Нет, не поэтому. Ты скоро уйдешь далеко. Все, у кого лицо серое уходят далеко.

– И не возвращаются? – интересуется связист и натянуто так улыбается.

– Нет, не возвращаются.

– Что ж, от судьбы не уйдешь, – нам он. И вздыхает. Куда-то вдруг засобирался. Пойду, мол, принесу еще дровишек, а то огонь совсем слабенький, печка тепла не дает...

И ушел. И больше не вернулся. Через минуту неподалеку от землянки раздался взрыв, а после выяснилось, что связиста убило осколком мины. Дуриком к нам залетела...

– Ну, малец, у кого еще *лицо серое*? – с натугой вымолвил мой земляк-уралец.

– Не надо, – сказал я.

– Мальчонка, поди ж ты, Христа ради юродивый, – подал голос кто-то.

– Да мало ли таких смертей? Что ни день, – отозвался дружкой.

– Так ведь смерть принял именно тот, на которого он показал, – хмуро заметил третий.

И пошли по полку слухи.

– А мальчонка тот, что был не в себе, посмотрел на него, и как вскричит:

– Сей падет лютейшим падением!

И тычет своим пальчиком в него.

В тот же день и убило этого бедолагу. Нелепая смерть – от шальной пули...

– А малец-то, ровно пономарь, говорит по-писаному... Гляди-ка, без остановки.

– Эт точно. Наш пономарь вашего пономаря перепономарит... И мимо не нагадает – все в точку.

Никто из батальона к мальчонке больше не подходил. Никто не хотел знать, когда умрет.

А перед атакой на Пустыню Алешенька будто обезумел от горя. Не хотел нас пускать. Никто и не спрашивал – почему. И так было ясно – *лица у нас у всех серые.*

– Да, это и в самом деле удивительная история. Не факт, что киндер, про которого ты рассказал, был прозорливцем и мог видеть будущее. Может, это просто совпадение. Но не кажется ли тебе, что чудо в другом? Что ты, Иван Назаров, прежде неизвестный, чужой этому мальчишке человек стал для него светом надежды, Назарянином?

– Ну ты тоже скажешь! Сиротинушке всяк добрый человек ближайший родственник. Кто первый погладит и приголубит. Но в одном с тобой соглашусь: когда таким светом станет каждый для каждого, наверное, что-то и изменится. И, может, прекратятся войны...

– Что-то не верится мне. Гораздо больше меня волнует вопрос: когда же мы вернемся с войны? Именно мы, а не кто-то другой, не каждый? Когда она, наконец, закончится?

– Нет у меня ответа на этот вопрос. Сдается мне, Фриц, нам предстоит совершить долгий и трудный переход. Из ниоткуда в никуда. Лишь тогда война для солдата, даст Бог, будет закончена. А впрочем, для оставшихся в живых, как и для мертвых она не закончится никогда. Они всегда будут носить ее в себе и в той, и в этой жизни...

До полудня Садовский бродил по урочищу, ломая голову над тем, что ему делать дальше. Документов и свидетельств очевидцев не осталось. Последнее письмо от деда пришло из Калинина, где эшелон делал остановку по пути следования на фронт. А через два месяца бабушка получила похоронку...

До приезда в Пустыню ему казалось, что по прибытии на место все каким-то чудесным образом прояснится, появится какая-нибудь подсказка, зацепка, ниточка, сработает, в конце концов, шестое чувство... Но эта обильно политая солдатской кровью земля не хотела отдавать своих безымянных героев.

– Не торопись, – видя, что дело застопорилось, советовал Петрович. – Ты же видишь – у нас тоже пусто. Третий день, а ни одного бойца не подняли. Вообще ничего. Это они нас испытывают. И если не отступишься – все получится.

Садовский решил вести поиски исходя из того, как бы командир немецкой пулеметно-минометной роты организовал систему огня применительно к условиям местности. Где бы он расположил имеющиеся в его распоряжении огневые средства – дюжину станковых пулеметов и полдюжины минометов. От этого зависел общий рисунок боя. Наметив точки, господствующие над окрестностями, Садовский начертил примерную схему расположения немецких позиций и пришел к выводу, что без мощной артиллерийской и авиационной поддержки любая фронтальная атака в направлении дерев-

ни была обречена на неудачу. Что, собственно, с завидной регулярностью и подтверждалось. Проблема была не только в том, как вступить бой, но и в том, как в случае необходимости из него выйти. Каждый, кто шел в атаку был виден как на ладони и представлял собой отличную мишень – ни спрятаться, ни скрыться. А о том, чтобы вынести убитых и раненых вообще не могло быть речи – все, что попадало в поле зрения вражеских пулеметчиков мгновенно превращалось в решето. Поэтому многие из тех, кто штурмовал Пустыню остались на подступах к ней. На веки вечные...

Для начала, как полагал Садовский, следовало выяснить, как эта местность выглядела в годы войны. Тут ведь все могло измениться до неузнаваемости и тогда все его попытки восстановить подробности той роковой атаки – одной из многих неудавшихся атак – ни к чему не приведут. Карты военных лет давали лишь приблизительное представление о ландшафте. Спросить у бабы Любы? А больше и некого – никого не осталось живых. Столько времени прошло...

Исходив поляну вдоль и поперек, он наметил для себя низинку за невысоким косогором. Ее и следовало проверить в первую очередь. Только здесь можно было укрыться от пуль. Но учитывая, что обер-лейтенант Плеш располагал минометами, которые наверняка разместил на обратном скате высоты, именно это место могло стать братской могилой для остатков второго батальона Казанского полка.

– Вряд ли там что-то есть, – засомневался Петрович. – Все

со всех сторон открыто. А после неудачной атаки каждый ищет, где бы укрыться – овражек, лесочек, канаву какую-нибудь на худой конец ... Там и надо искать.

– Я все же попробую, – сказал Садовский.

Ему вызвалась помочь Юля, а вслед за ней и Андрей, хотя сама идея показалась ему «так себе». По-видимому, он не хотел оставлять их наедине. Часа полтора-два они упорно вгрызались в землю – как бойцы, получившие приказ во что бы то ни стало оборудовать огневую позицию на танкоопасном направлении, но все было напрасно. Ничего стоящего обнаружить не удалось.

– Дохлый номер, – вздохнул Андрей. – Ты не обижайся, но твоего деда здесь, может, и нет.

– Может, и нет, – эхом отозвался Садовский.

– Такая путаница с учетом потерь была... А в плен он не мог попасть? Скажем, ранение, контузия. На войне ведь всякое случалось. Или, например, патроны кончились, винтовку переклинило...

– Не думаю...

– А я вот слышал такую историю. Про Ваньку-встаньку. Как и твой дед он отличался ростом и силой... Как-то в рукопашной схватке этого чудо-богатыря взяли в плен. Понадобился чуть ли не взвод немецкой пехоты, чтобы его скрутить. Все удивлялись – вот это медведь! Силища! Ну и один унтер-офицер, истинный ариец, бывший боксер решил свалить его одним ударом. Любопытно ему стало – устоит не

устоит. Врезал как следует. Наш упал. Думали все, потерял сознание. Ан-нет. Поднялся. Унтер еще раз ему врезал. Тот и после второго удара встал. Выбитые зубы вместе с кровью выплюнул и стоит, щерится в улыбке. Мол, здоровее видали. Тут совсем рассвирепел унтер – ударил так, что у другого голова отлетела бы. Толпа стоит, гогочет, смотрит, как наш ползает, матерится, рычит, будто раненый зверь. Гут, гут, кричат! Но не прошло и минуты, как Ванька-встанька опять на ногах оказался! Отряхнулся и как двинет немчуре! Долго потом унтера в чувство приводили. Да так по инвалидности и списали... В каком-то смысле повезло ему. Его ведь наверняка не сегодня-завтра убили бы. А так хоть жив остался...

– Что же стало с пленным?

– Кто его знает... Расстреляли, наверное. Или отправили в лагерь для военнопленных. Им ведь рабочие руки позарез были нужны. А тут сил немерено...

– Ладно, спасибо за помощь, ребята, – сказал Садовский, зачехляя саперную лопатку. – Я сейчас в город еду. Кому что привезти?

– Мне шаурму. Только Петровичу не говори... – предупредила Юля.

– Знаю, знаю...

– А мне кока-колы. Аналогичная просьба, – улыбнулся Андрей и протянул сторублевку.

– Не надо совать мне эти ваши мятые деньги. Лучше сто-

почками их складывайте, стопочками...

– Ладно, потом рассчитаемся, – рассмеялся Андрей.

Садовский запрыгнул в свой джип и поехал по лесным дорогам и проселкам в Парфино, где должен был встретить пассию Полковника. Ведь не просто так он суетился, организуя ей встречу. Такие люди ничего просто так не делают...

Он опять вспомнил Иду.

Она постоянно путала дружбу с полезными знакомствами и всегда пыталась использовать его друзей для решения каких-то своих проблем. Он придерживался другого мнения. Дружбу надо беречь, говорил он. И если друзья познаются в беде, то они сами придут и помогут. А если не придут, значит это не друзья, а полезные знакомые.

Постепенно таких разногласий становилось все больше. Но дело было вовсе не в них – с такими мелочами его бывшая супруга легко могла бы примириться. Ноги росли из совершенно другой проблемы, которая казалась ей категорически неразрешимой – он разлюбил ее и это было непоправимо. Только этого она не могла ему простить. Поэтому Ида при каждом удобном случае повторяла: «Любовь твоя – флюгер. Какую юбку ветер поднимет первой, туда он и повернет...»

Она могла развернуть эту тему и более основательно, дав волю воображению и поднявшись до высоких художественных обобщений. А к концу их совместной жизни и вовсе перестала стесняться в выражениях. Сарказм ее не знал границ. «Я знаю, каким местом ты думаешь», – с маниакальной

настойчивостью повторяла она.

В ее представлении мир его таил в себе множество потенциальных возможностей. Можно пойти в театр оперы и балета и трахнуть балерину. Или всадить оперной диве. Где-нибудь в гримерке или за кулисами. Можно пойти в супермаркет и отыметь продавщицу. В подсобке со швабрами. Можно пойти в фитнес-клуб и чпокнуть бизнес-леди. На тренажере для прокачки спины, пресса или ягодиц. Там вообще море вариантов. Можно лечь в больницу и переспать с дежурной медсестрой. На кушетке, заправленной клеенкой. Можно пойти в школу на родительское собрание и впендюрить классной руководительнице. Прямо на парте. Много чего еще можно. Есть великое множество способов удовлетворить самые притязательные духовные запросы. Тем и интересна жизнь. Его жизнь...

В общем, вольно или невольно Ида подбрасывала ему массу интересных идей. К концу их совместной жизни она была твердо убеждена, что самый лучший выход – включить фрезерный станок с горизонтальным шпинделем. И сточить то место, которым он думает под ноль. Чтоб больше не беспокоило.

В общем, старая история, думал Садовский, выворачивая руль, чтобы не попасть в разбитую, наполненную водой колею. Однажды человек вдруг обнаруживает, что живет он не там, не так и не с теми. Чтобы ему понравился город, в котором он бросил якорь следует сравнить его с землей и на этом

самом месте построить новый. Чтобы жить правильно, ему надо снова родиться, потому что исправлять ошибки поздно – жизнь, по сути, уже прошла. Чтобы быть счастливым в браке ему нужно ослепнуть, оглохнуть и напрочь забыть про основной инстинкт. Только тогда он избавит супругу от бреда ревности и перестанет замечать, что существуют другие женщины. А они действительно существуют – все время попадаются на глаза и зачем-то строят глазки...

В Парфино его ждал сюрприз: оказывается, девушкой, которую он встречал была Светлана-экскурсовод.

– Если вы ждете не меня, то меня тут не было. А если никого в особенности, то вот он я, готов развлечь вас в меру своих музыкальных и хореографических способностей... – сказал он.

– Я знала, что вы здесь, – ответила она, не выказав ни радости, ни удивления, увидев его. – В городе уже ни для кого не секрет, куда поехал мужик на чумовом джипе.

– Скажите, почему вы так рано ушли в тот вечер? Может, зайдём в пирожковую? Хочу реабилитироваться за фиаско в ресторане.

– У меня была срочная работа. И я должна была встретиться с человеком, который предложил мне ее. В общем, я согласилась. А насчет пирожковой... Не сегодня.

– А что за работа?

– Перевод. Только он просил никому об этом не говорить. В общем, речь идет о письме одного немецкого офице-

ра, который был убит в Пустыне. Оно плохо сохранилось... Но мне удалось его прочитать. Пришлось привлечь знакомых реставраторов, одного эксперта. На это ушло несколько дней. Больше ничего не могу вам сказать...

Он предложил ей сесть в машину, а сам, заглянув в ближайшую забегаловку, заполнил пакет всякой снедью. Шаурмы на всякий случай взял две, кока-колы – три.

– Будете? – предложил он Светлане.

– Я это не ем, – сказала она и со скучающим видом посмотрела в окошко. Приятная округлость ее колен, обтянутых джинсами, в какой-то степени опровергала мнение физиков о том, что эллипс гораздо менее совершенная фигура, чем круг. Не всегда. Отнюдь.

– Что вы на меня так смотрите?

– Я смотрю на вас не потому, что в вас что-то не так, а потому, что в вас все именно так, как мне хотелось бы.

– Хм... Не надо на меня так смотреть.

– Хорошо, сменим тему. Эксперт и реставраторы ничего не знают о содержании письма?

– Нет. Они не владеют языком, – сказала она и отчего-то смутилась.

– Это письмо написал штурмбаннфюрер Краузе?

– Откуда вы знаете?

– Кому?

– Неважно. Извините...

Чтобы избежать дальнейших расспросов Светлана во-

ткнула в уши, украшенные сережками, которые напоминали березовые бруньки наушники от плеера и прикрыла глаза.

– Что слушаете? – спросил он, заводя двигатель.

– А?

– Что слушаете? – громче повторил он.

– Филиппа Киркорова.

Так иногда бывает. И с ним бывало уже не раз. Несовпадение образа действительности с самой действительностью. Ты считаешь ее красивой, умной, утонченной, все понимающей и дрожащим голосом читаешь ей стихи, делишься своими самыми сокровенными мыслями, а она без ума от мужчины в перьях и стразах. Ты пытаешься произвести на нее впечатление эрудицией, интуитивным чувствованием ее желаний, говоришь ей о небе в алмазах и тумане над Босфором, а она без ума от бриллиантов – они ее лучшие друзья. И тогда ты начинаешь смутно догадываться, что перед тобой существо, которому, как вороне нравится все блестящее. Хотя...

Светлана производила впечатление человека закрытого. Скорей всего, не в ее правилах рассказывать о своих предпочтениях первому встречному. К тому же выбор ее мог оказаться случайным. Иной раз и он, под настроение, когда шансон рвет нерв и вышибает слезу, а водка, сколько ее ни выпей не пьянит мог заорать в караоке: «А белый лебедь на пруду качает павшую звезду...»

Садовский врубил «Рамштайн». Эта группа, как и музыка Вагнера, отчего-то ассоциировалась у него с войной; она за-

ставляла собраться и, проникнувшись неукротимой энергией вечно строящегося немецкого духа, прочувствовать четко организованную стихию его бури и натиска, попытаться понять, чем он так грозен в столкновении с мягкой и до поры до времени уступчивой русской душой. Джип отчаянно завибрировал и даже начал приплясывать на ямах и рытвинах. Светлана попросила сделать потише и выключила плеер.

– Вы надолго? – спросил он.

– Как получится. У меня несколько отгулов. А вы?

– Даже не знаю. Как повезет.

– В чем?

– В поисках. В любви. В поисках любви.

– Не сомневаюсь, вы обязательно ее найдете.

Произнесла она это почти осуждающе.

– Я бы не был так категоричен. Не все так просто. Как говорил Ипполит, в нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. А все почему? Да потому что они перестали эти самые окна открывать. Помните, в мое время они даже сбрасывали связанные простыни, чтобы мужчинам легче было забираться на верхние этажи общаг.

Она никак не отреагировала на эту тираду.

– Скажу без ложной скромности: с первой попытки я мог попасть подушкой в окно на третьем этаже женского общежития... Адлер, 1985 год... Сейчас уже не попадаю. И не только подушкой...

– А та, которой вы кидали подушку была... хорошей девушкой?

– Да, очень.

– Почему же вы не женились на ней?

– Я пару раз звонил. Потом. К телефону она не подходила.

Есть три уважительных причины, которые объясняют молчание хорошей девушки. Она замужем. Она собирается замуж. Она мечтает выйти замуж, но не за вас.

– Это все отговорки. Вы просто бабник. Представляю, сколько невинных созданий исстрадалось из-за вас...

– Вы не поверите, но я и сам когда-то был невинным созданием. Юношей бледным со взором горящим. И тоже страдал.

– Вы?

– Ну да. Кстати, невинность я потерял вместе с социальным оптимизмом. Его я утратил даже раньше, когда увидел, какие люди делают карьеру в комсомоле и партии. При Советском Союзе не прогнила только пионерская организация. Дружина имени Павлика Морозова, в которой я был лучшим горнистом и барабанщиком, до конца оставалась преданной делу Ленина. Остается только добавить, что невинности меня лишила наша бывшая пионервожатая, которая рассталась с социальным оптимизмом вместе со мной...

– Этого и следовало ожидать...

Всю оставшуюся дорогу они промолчали.

Остановив машину возле лагеря Петровича, Садовский

пешком проводил Светлану до «буханки». Недалеко от нее в раскопе копошилась команда Полковника, на излучине Ларинки вовсю резвилась спаррингующая с тренером Алена. Жизнь в Пустыне шла своим чередом.

– Привет мародерам! Много нарыли? – поздоровался он с копателями.

– Та не мародеры мы, – обиделся кучерявый. – И по этому поводу я тут имею тебе кое-что сказать...

– Здравствуй, гитлерюгенд, можешь не вставать...

Он заметил, как округлились глаза Светланы.

– Шоб ты знал, дядя, – важно проговорил кучерявый, с интересом поглядывая на нее. – Я тебя, конечно, уважаю, хотя уже забыл за шо. Так вот почувствуй разницу. Есть поисковики, правильные такие следопыты. Они увековечивают память и возвращают имена героев. Та-та-та, короче... Есть черные копатели. Те на продажу. Оружие, снаряжение, атрибуты. А мы коричневые. У нас – идея, как у первых, только наоборот, и шкурный интерес, как у вторых.

– Да вы – циник, Константин!

– Я Кирилл...

– Вижу, что не Мефодий.

– Не, ну вы посмотрите, он-таки делает мне скандал, – всплеснул руками кучерявый, обращаясь к своим друзьям-землекопам и при этом многозначительно поглядывая на Светлану.

– Если вам здесь будет неудобно или вас плохо примут –

приходите в наш лагерь, – сказал ей Садовский.

Она испуганно кивнула.

– Ей будет здесь хорошо! Лучше всех! – мажорно воскликнул Полковник, подходя к ним. – Привезли?

– Привезла, – сказала Светлана.

– Получилось?

– Получилось, – как робот ответила она.

– Спасибо. Сделал доброе дело, – поблагодарил он Садовского.

– Такое ощущение, что силы добра и света хотят использовать меня втемную...

– Добро робити николи не пизно! – подал голос из раскопа «хлопец с Запорижжя». – Здоровеньки булы, коммунака!

– Здорово, бандеровская сволочь.

– Тю...

Сегодня, как успел заметить Садовский он был сам дух любви, мира и кротости. Остальные тоже вели себя с ним как-то подозрительно приветливо. Похоже, Полковник провёл с ними необходимую воспитательную работу. Или все это из-за Светланы?

Но гораздо больше его интересовал другой вопрос – что за тайну хранит в себе неотправленное письмо эсэсовца? Почему Полковник с такой срочностью пытался заполучить его перевод? И как целый штурмбанфюрер СС оказался в этом гиблом месте? «Похоже, это задача со многими неизвестными», – думал он, возвращаясь в лагерь Петровича.

До вечера Садовский провозился на раскопе в низинке, внимательно просеивая песок. Ему уже никто не помогал – Юля с подружкой занималась приготовлением ужина, Андрей присоединился к Петровичу, который облюбовал небольшую рощицу на краю болота и метр за метром исследовал ее щупом. Гена с металлоискателем был где-то рядом.

К вечеру стало ясно, что еще один день прошел безрезультатно. Но поисковики не унывали. Они знали об этом месте что-то такое, что поддерживало их силы и вселяло надежду. У них были какие-то свои отношения с теорией вероятности и теорией относительности, с лункой зеро и временем, в котором мгновение может длиться бесконечно, а вечность легко сворачиваться в исчезающий еще до своего появления миг. Они были почему-то уверены, что непременно найдут то, что ищут. Иначе и быть не может. Поэтому никто никуда не торопится. Дабы суетностью своей не потревожить сон мертвых.

Когда ужин был готов Юля – вполне официально, от имени Петровича пригласила Садовского к столу. Он не стал отказываться, ссылаясь на одинокую старушку, ждущую его в Кузьминках. Баба Люба была заранее предупреждена о том, что, возможно, он не приедет ночевать.

Когда все расселись вокруг ящика с кастрюлями, тарелками и вскрытыми консервными банками, вооружившись вилками и ложками, случился неприятный инцидент: Петрович обнаружил в своем лагере пустую бутылку из-под кока-колы

– продукта, чуждого природе русского человека и вредного для его здоровья.

– Чья? – грозно спросил он.

– Моя, – честно признался Андрей.

– Пошто?

– Говорят, ей хорошо очищать ржавчину с лопат. В порядке эксперимента...

– Чтоб я этой гадости здесь не видел! Даже в виде тары!

– Это он еще про шаурму не знает, – прошептала на ухо Садовскому Юля. – Узнал бы – такое тут устроил. Теперь Петровича уже не остановить – сядет на своего любимого конька. Приготовься к монологу об исторических судьбах России.

– Я уже в курсе.

– Кстати, спасибо, мы с Алькой вдвоем умяли. Очень вкусно... – продолжала шептаться Юля.

– Любишь шаурму?

– Есть такой грех. Хотя всего в третий раз в жизни попробовала...

К их разговору, внешне выглядевшему весьма приватно, уже прислушивался Андрей.

Петрович, как водится, уже достал очередную бутылку мутной жидкости, которая на сей раз называлась «Смерть шпионам», сокращенно СМЕРШ. И объяснил для непосвященных, что это за водица.

Самогон, как следовало из его многолетних наблюдений

– особая субстанция. Виски, напиток сноба, отличается от него только понтами. Самогон прост, как правда. И доступен, как поездка на трамвае. Но самое главное, он резко повышает уровень храбрости и проходимости в самых непроходимых местах Родины. Еще в нем есть система распознавания «свой – чужой».

– В общем, так, – подытожил он. – Кто к утру помрет – тот и шпион.

Все с ним шумно согласились.

После первого стакана Петрович задался вопросом: что сказать хорошего о нашем великом народе, если обрисовать его достижения в двух словах?

– Что? – в один голос спросили все.

– Расх...ли всех и улетели в космос. Вот что!

С этим трудно было спорить и, наверное, невозможно не согласиться.

После второго он коснулся демографической ситуации в стране.

– А вот еще проблема. Все меньше на Руси правильных мужиков и рожающих женщин. Все ближе точка невозврата и грань исчезновения. И кто мы после этого? Где найти теперь русского человека? Днем с огнем. Или мы перестали быть русскими?

– Не перестали, – ответил за всех Гена. – Сидим, пьем.

– Хорошо сидим. Много пьем... – добавил Андрей

– Да разве это главное? Все пропили и страну пропива-

ем. Напустили сюда чужестранцев. Гастарбайтеров. И Бога своего забыли. Я-то не верующий, но по духу своему считаю себя православным. Потому что мне не хочется, чтобы меня призывал на молитву мулла, раввин или лама... Пусть уж будет батюшка. Так привычнее. Как-то по-домашнему... Но даже вера не спасает, вот что самое страшное. Ведь что было в семнадцатом? Сошла со своей колеи Россия. Сверзлась в пропасть. «За веру, царя и Отечество»! Царя убили, веру растоптали, Отечество предали. И в том виде, в котором оно существовало потеряли... А все ради справедливости. Стало быть справедливость – вот правда искомая для русского человека. Она превыше всего – и веры, и царя, и Отечества... Эх, если бы мы могли повернуть время вспять, да... Если бы могли! Не стали бы мы устраивать у себя революцию.

– Факт, – подтвердил Гена.

– В крайнем случае, ограничились бы февральской, не доводя дело до октябрьской... Но нет. Что-то пошло не так. А все ради чего? Опять же ради справедливости, ради какого-то мифического «светлого будущего». Настолько светлого, что все как будто ослепли. Как дети, ей богу! Не надо думать, что наши потомки будут счастливыми идиотами в этом самом «светлом будущем». У них точно так же будет болеть душа, точно также они будут искать смысл жизни, тосковать, ошибаться, мечтать о чем-то невозможном. Конечно, останется определенный контингент, которому ничего, кроме хлеба и зрелищ не надо. Те, кто берет от жизни

все. Потребители, одним словом. Но речь ведь не о них. Не на них государство держится. Строить надо не будущее, а настоящее, вот!

– Без базара, – кивнул Гена.

– И опираться на что-то прочное – в истории, в традициях, в нас самих. Как все-таки правильно было сказано – у России есть только два союзника: ее армия и флот. В самый корень зрил Александр Третий, Миротворец. Вот ты где служил, в каких органах? – спросил он Садовского.

– В каких только органах я не служил! В какие только дебри меня не заносило!..

– В ВДВ?

– Ну да.

– Уважаю. Когда я вижу борзеющих кавказцев и демонстративно марширующих геев во мне просыпаются теплые чувства к десантному братству. Давай-ка выпьем за...

– ВДВ?

– За русский народ. Вот ты что о нем думаешь? Есть он или нет его?

– Пока есть те, кто за него пьет, есть и он.

– Не вопрос. Но это не ответ, – в знак одобрения и несогласия мотнул головой Петрович.

– Отвечу не своими словами, можно?

– Можно. Но лучше своими.

– Своими перескажу не свои.

– А чьи?

– Был такой писатель-террорист Борис Савинков. Кстати, именно сегодня, 7 мая, он покончил с собой...

– Дата, однако... Темная, так сказать, память. Это же он сказал – черт меня дернул родиться русским?

– Он. И про «народ-богоносец», который либо раболепствует, либо бунтует, либо кается...

– Либо хлещет беременную бабу по животу, либо решает «мировые» вопросы, либо разводит кур в ворованных фортепиано... Тогда еще было сказано. А как будто о нас сегодняшних. Без конца бросаемся в крайности... Строим и тут же ломаем, не доведя дело до конца... Ну что мы за люди такие! Как будто и не люди мы, а нелюди... – сокрушенно произнес Петрович и поник головой.

«Вот и весь сказ, – думал Садовский, задумчиво глядя на окончательно опьяневшего командира поискового отряда. – То бьем себя пятками в грудь, то расцарапываем лицо и посыпаем голову пеплом. В психологии это называется амбивалентность. Следующая стадия – амбитенденция, расщепление волевого акта. А там и до шизофрении недалеко. Так и живем...»

– Ладно, – очнувшись от мрачных дум, сказал Петрович. – Деревенские нужники и всякие там джакузи мне никогда не нравились. Предпочитаю слияние с природой.

И удалился в заросли. Вслед за ним исчез и Гена. Потом вернулся и со всей серьезностью спросил Садовского:

– А знаешь, почему мирная жизнь у нас никак не строит-

ся?

– Почему?

– Потому что мы народ, не вернувшийся с войны.

Сказал – и пошел спать.

С его уходом оживилась Аля, которая с каждый выпитым стаканом становилась все смелее и раскованнее.

– Ой, девочки, чего ж так хочется спать, а не с кем? – сладко потянувшись, певуче произнесла она и красноречиво посмотрела на Садовского. Взгляд ее говорил: вот только предложи мне что-нибудь, кобель. Отошью так, что мама не горюй...

Есть женщины, которых уместнее всего пригласить в театр, ресторан или на художественную выставку. А есть те, кого можно позвать в баню. И только в баню... Поэтому у него и в мыслях не было куда бы то ни было ее приглашать.

– Отчего-то, отчего-то спать охота, спать охота. Отчего же, господа, спать мне хочется всегда! – отозвался Андрей.

– И обстановка располагает, – продолжала подначивать Аля.

Андрей украдкой взглянул на Юлю, которая все теснее прижималась к Садовскому. Вечер был холодный.

– Отчего-то, отчего-то петь охота, петь охота. Отчего же, господа, петь мне хочется всегда!

Он взял в руки гитару и с пафосом произнес:

– Алевтина, станьте моей музой!

На что она незамедлительно ответила:

– Андрей, станьте моим мужем!

– И так во всем, – посетовал он. – Как соединить несоединимое? Музу и мужа, коня и трепетную лань?

Аля обвила его шею руками и вкрадчиво проговорила:

– Спой-ка что-нить, касатик. Сыграй какую-нить музыку. Красивую такую, задушевную.

Андрей покосился на ее бюст и игриво произнес:

– Эх, с такой грудью я бы потетешкался...

Он продолжал заигрывать с Алей, хотя было видно, что сох явно не по ней.

«Может быть, не будь третьего лишнего, что-то и получилось бы у него с Юлькой...», – с сожалением подумал Садовский.

– Я так толком и не научился играть, – сказал, перебирая струны, Андрей. – Одно время, в школе еще, брал уроки гитары. Сначала ходил как положено. Потом перестал ходить. Потом снова пошел. Опять бросил. Потом мать выяснила, что никуда я не ходил, а просто транжирил деньги. На кино, на мороженое. То есть, получается, ходил, но не туда, куда нужно.

– Давай... Эту, белогвардейскую... – попросила Аля.

Сделав проигрыш и выдержав паузу, Андрей негромко запел:

Как я молод был – присягал царю,
Чтоб стояла страна неповерженная.

За Отечество пасть готов в бою
Был я юнкером несдержанным.

И поднялись в год чернедь-мужички
Объявили их разбойниками.
Их давила война, словно семечки
Со святыми вместе угодниками.

Затупил я сталь о мужицкий лоб,
Огрубел душой, стал почти кремень.
Но поставил царь и московский поп
На судьбе моей бел-горюч камень.

Отступали мы и надеялись,
Что Россия вся за нами стоит.
А когда с юнкерами разделались –
Не Арбат за спиной, а Бейсоутер-стрит.

Мне кабак у дороги милее стал
Я вино лью на память зеленое.
Господа, я погоны где принял, там сдал
Вот такая жизнь несмышленная...

Гитара была привычно расстроена, звук плавал, что вполне соответствовало жанру бардовской песни в антураже чернеющего леса и бликов костра, придавая ей недостающую в

любых других декорациях достоверность.

– Кто автор? – спросил Садовский, сразу узнавший чуть измененную мелодию и подкорректированный текст. Эту песню написал его друг еще в восьмидесятые. На первом курсе они, как корью или ветрянкой все до одного переболели белогвардейщиной. Почти каждый вечер в казарме под гитарный перезвон четвертые сутки пылали станицы, поручик Голицын раздавал патроны, а корнет Оболенский наливал вино, из рук в руки переходил затертый до дыр самиздатовский «Конь вороной» и раритетные номера «Нивы» времен Первой мировой войны.

– Один парень из «политеха». У нас группа была, я с ним одно время играл...

Садовский не стал оспаривать эту версию. Зачем, если песня ушла в народ и отправилась бродить по свету? Зато как обрадуется его друг, когда узнает, что плоды его песенного творчества не затерялись в училищных курилках. Да и не хотелось портить впечатление, которое пытался произвести на слушательниц Андрей.

Но когда речь идет о женщине – прощай мужская солидарность. Тут каждый сам за себя.

– Прогуляемся? – спросил Садовский.

– Могу порекомендовать тебе свою подругу, – заартачилась Юля.

– Знаешь, есть такое правило бестолковой девочки. Если одна бестолковая девочка рекомендует другую, то вероят-

ность того, что та, другая, окажется толковой, обратно пропорциональна бестолковости первой. Мне хочется побыть с тобой.

– Как может порядочная девушка остаться наедине с незнакомым мужчиной?

– Да, это такой стресс для незнакомой мужчины!

– Ладно, – согласилась она.

– Мы не надолго, – объявила Юля достаточно громко, как бы убеждая своих друзей и прежде всего саму себя в том, что скоро вернется.

– Что нам теперь остается? – вздохнул Андрей, глядя, как они удаляются. – Уткнуться лицом в колени любимой женщины и ждать, когда исчезнут мысли.

– А кто твоя любимая женщина?

– А какой сегодня день недели?

– А какая разница? – изумилась Аля.

– Ладно, – сдался Андрей. – Наливай! А поскольку алкоголь обостряет мою восприимчивость к женской красоте, не премину выпить за присутствующих здесь дам...

– Вообще-то я здесь одна. Дама...

– За тебя! Дама!

– Ой, от такой няшечки прям сердечко млеет... – умилилась Аля.

Между тем, Садовский завел Юлю в самый бурелом и обнял за талию.

– Чувствуется рука опытного специалиста. По женской ча-

сти... – как-то тревожно, неуверенно хихикнула она.

– О чем ты говоришь... Но я еще помню, что такое женская талия.

– И что же это такое?

– Итак. Женская талия. Хм... Это то, что выше копчика и горизонтально, а не то, что ниже копчика и вертикально...

Остановившись, она обратила лицо к луне и звездам, И закрыла глаза. Идеальный момент для поцелуя, подумал он, прекрасно понимая, что девушку надо брать, пока она пребывает в любовно-романтическом дурмане. Когда он расцелует – будет поздно, она станет холодной, умной и расчетливой. И тогда непременно отомстит тебе за твою нерешительность.

Он чуть помедлил. Засомневался. Конфуз не в том, что она откажет. А в том, что если согласится, ты будешь к этому не готов. Понятно, что жизнь все равно возьмет свое. Но не кощунство ли это – искать спасения в любви там, где смерть собрала такую обильную жатву? Поэтому – да, пусть жизнь возьмет свое. Но не здесь. И не сейчас...

Юля интуитивно почувствовала, что он колеблется. И расценила это по-своему.

– Пойдем, – сказала она сухо. – Я хочу спать...

Шел пятьдесят первый год войны. Это было время, когда в проржавевший дредноут под названием СССР из всех щелей сочилась забортная вода, а по палубе гуляли вет-

ра перемен. 26 декабря 1991 года случилась величайшая геополитическая катастрофа XX века – Советский Союз прекратил свое существование. В результате Беловежских соглашений, подписанных, по сути, случайно вознесенными на вершину власти людьми, с карты мира исчезла целая супердержава. Создаваемая столетиями напряженного труда и ратных подвигов страна, которую не могли поставить на колени ни Карл XII, ни Наполеон, ни Гитлер рухнула, как колосс на глиняных ногах от одного росчерка пера. Сбылось пророчество величайшего военного теоретика Клаузевица, утверждавшего, что Россия может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров.

Историки еще долго будут спорить о том, был ли неизбежен крах советской империи и как можно было его предотвратить. Но человеческая логика крайне редко совпадает с исторической. В итоге события, вытекая одно из другого, стремительно наслаиваясь одно на другое и противореча одно другому зачастую приводят к самому непредсказуемому результату и то, чему суждено свершиться так или иначе являет себя миру.

Варшавский договор распался, государства восточного блока, старательно держа равнение на флаги НАТО, отправились в свободное плавание, мир стал однополярным. Последней картой в этом флэш-рояле стало объединение Германии – *Herstellung der Einheit Deutschlands*. Таким образом, полвека спустя страна-победитель во Второй мировой вой-

не потерпела сокрушительное поражение, а страна, подписавшая акт о безоговорочной капитуляции, одержала убедительную победу. Берлинская стена была разнесена по кирпичику и разобрана на сувениры. Крестовый поход Запада во главе с США против «империи зла» увенчался полным, хотя и весьма неожиданным успехом. «Холодная война», как полагали многие, окончилась.

Именно тогда родилась и пошла гулять в народ фраза – кто не жалеет о разрушении Советского Союза, у того нет сердца, а кто хочет его воссоздания, у того нет головы. У нее было много авторов. Как и у развала СССР. Но в новых реалиях это уже не имело значения. Начиналась эра дикого, отягощенного тяжелым выхлопом деноминации, ваучеризации и паленой водки капитализма, следствием которого стали людские и экономические потери, сопоставимые с потерями в Великой Отечественной войне. Коллективный Гитлер в лице прогнившей советской элиты при руководящей и направляющей роли КПСС, как мавр, сделал свое дело и ушел в небытие.

Говорят, история не терпит сослагательного наклонения. Но оглядываясь назад, мы обнаруживаем, что как раз это наклонение когда-то и было самым вероятным, самым ожидаемым прогнозом исхода грядущих событий. В действительности происходит именно то, что ни в коем случае не должно было произойти и именно так, как никто и не помыслить себе не мог. Достаточно вспомнить самую известную миро-

вую историю – историю Христа...

В урочище Пустыня, между тем, все оставалось по-прежнему. Но выглядело теперь иначе, как бы подводя стороннего наблюдателя к мысли, что единственный непреложный закон природы – в отсутствии непреложности. Здесь не изменилось ничего и изменилось все: смягчился, утратил резкость окружающий пейзаж, проложила новое русло речка-егоза, сточился, как волчий клык абрис полуразрушенной церкви... Объятая ватной тишиной и левитановским покоем Пустыня, казалось, спала – глубоко, полуобморочно, без сновидений. Но в заваленном, поросшем травой, затянувшемся, как порез на теле земли окопе, ставшем братской могилой для солдат враждующих армий, не прекращался нескончаемый разговор, разговор без голосов и жестов, без лиц и взглядов, без присутствия говорящих. И не знали отдыха павшие, поскольку не отпускал их плен ностальгии и проклятье воспоминаний, не утихали между ними жаркие споры – слишком много накопилось у них вопросов, на которые нужно было ответить, сомнений, которыми хотелось поделиться, догадок и предположений, которые не терпелось высказать...

– Ах, какая это была славная драка, Иван! В истории человечества не было ничего подобного. Когда с полного размаха сшиблись две сильнейшие армии в мире. Что там воспетая Гомером Троянская война, походы римлян, наполеоновские баталии или сражения Первой мировой – Марна, Сомма, тот

же Верден... Киндергартен! Да, детский сад по сравнению с тем, что устроили мы. Еще при жизни мы стали легендами, Ваня! И сами творили эпос – силой оружия и несокрушимостью своего духа. Уже тогда многие из нас понимали, что это вне времени. И даже пытались запечатлеть происходящее в стихах. У нас, например, была очень популярна песня, которая называлась «К югу от озера Ильмень...» С этих слов, как правило, начинались официальные сообщения и оперативные сводки командования вермахта о положении наших войск в районе Старой Руссы. Ты только вслушайся:

Глотая пыль в жару и зной,
Зимой в снегу, в объятых льда
Лежали мы в дали лесной
У Ильмень-озера тогда...

Как страшно с русскими сражались,
Не позабудешь никогда,
Нам нелегко победы дались
У Ильмень-озера тогда...

Не за огромный бились город,
Что мог бы грезиться всегда,
Все было просто и сурово
У Ильмень-озера тогда...

И было много в землю павших,
Бездушный снег занес кресты,
Но в памяти остался нашей
Тот бой у ильменской воды.

Мейстерзингер из меня неважный, но ведь впечатляет, правда? Эти стихи написал Гейнц Бете. Вот только музыка неизвестно чья. А у вас было что-то подобное?

– Ну как же без этого, Фриц. Конечно:

Где ж эти парни безусые,
С кем в сорок первом году
Где-то под Старою Руссою
Мы замерзали на льду;
С кем по жаре и по холоду
Шли мы упрямо вперед,
Наша военная молодость
Северо-Западный фронт...

– Кто это написал?

– Сергей Михалков, автор нашего гимна.

– Тоже неплохо... Ты знаешь, мне все чаще приходит в голову сравнение музыки боя с симфонией – та же стройная партитура, гармония частей и целого, согласованность инструментов, темпа, ритма, пауз, тембров. Творение Вагнера в исполнении Бога войны. Барабанный грохот артилле-

рии, вой пикирующих контрабасов и виолончелей, цвиканье скрипок, минно-взрывное уханье литавр, трубный глас реактивных минометов... Это наивысшее после немецкой философии выражение готики германского духа.

– А теперь объясни мне, Фриц, как наш ансамбль народных инструментов снес весь этот ваш симфонический оркестр? Почему все эти балалайки, гармошки и трещотки одолели ваши рояли, гобои и басы-геликоны?

– Опять ты за старое? Не все так очевидно, между прочим. Да, мы допустили ряд стратегических ошибок и просчетов. И потом... Разве можно было предположить появление «сталинских органов» и танковых армад, сметающих все на своем пути? Что у красной гидры вместо одной отрубленной головы вырастут две новые. Затем четыре, восемь и так далее. Чем больше мы вас убивали, тем больше вас становилось, тем сильнее становились вы... И потом этот танкист, философствующий молотом – инкарнация Ницше. Я помню страх, который овладел мной при виде этого безумца. И он пребудет со мной в вечности. Это не был страх смерти – с ее возможностью я уже давно смирился. Это не был страх перед чем-то конкретным, определенным «что». Это был абсолютный страх перед Dasein, бытием вообще, перед неизбежной катастрофой, заложенной в основу всего мироздания. Но война продолжалась, и каждый из нас был поставлен перед необходимостью собрать в кулак все свое мужество, стать тем, кем он должен быть, ведь мы еще на что-то наде-

ались, надеялись хотя бы на ничейный исход этой кампании, на стабилизацию Восточного фронта, как и планировал фюрер. Однако все пошло не так...

– Знаю. Сначала вам свистулькой выбили глаз под Сталинградом, потом расписной ложкой расквасили бронированный нос на Курской дуге и в конце концов раскурочили на голове баян в поверженном Берлине. Вот и вся музыка...

– Прекрати.

– Ты первый провел аналогию с симфонией. Ёбен зи битте. Почувствуйте атмосферу боя. Я просто пытаюсь объяснить тебе, что музыка бывает разная. Не только классическая, но и народная... Куда бы ни обратил тевтон свой меч, всюду рубит он пустоту. И всякое вторжение в Россию оборачивается для него битвой с призраком медведя, вставшего на задние лапы. Твердыня немецкого духа сотрясается от лопнувшей балалаечной струны и рушится под градом падающих матрешек, расписанных под хохлому. Вы ведь воевали не со Сталиным, не с большевизмом, а с народом. Но так и не поняли этого.

– Народом, одержимым большевизмом и руководимым Сталиным.

– Не надо преувеличивать. У нас было много недовольных большевистской властью. Очень много. Слишком много. И ненавидящих Сталина было много. Но правда в том, что сначала этот тиран и кровопийца сделал все для того, чтобы проиграть войну, а потом все для того, чтобы ее вы-

играть. Гитлер повторил его действия с точностью до наоборот. Но не это главное. Все круто изменилось, когда мы поняли, что ваша цель – утопить нас в крови. Мы воевали не за Сталина. Не за большевизм. И даже не за Родину. А за право на жизнь, в котором вы как представители «высшей расы» нам отказали. И случилось то, что происходило из века в век. Враг, доселе вволю умывавшийся нашей кровью, вдосталь умылся своей.

– Сейчас ты еще вспомнишь про «дубину народной войны»...

– А вот и вспомню. Было мне видение – проплыло как-то в вышине причудливое облако, похожее на дремлющего старика-Кутузова. И вдруг из его косматых недр прозвучала недвусмысленная угроза: «Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки!» И тут же означенное облако превратилось в туман, в клочкастую бороду Льва Толстого. А теперь, Фриц, ответь мне – что же стало соломинкой, переломившей хребет вермахту? Она, родимая. Дубина, как водится, народной войны, разгоняющая с колокольни облака и без усталости гвоздящая вражью силу! Есть у нас песня такая, а в ней слова: «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая сама пойдет!

Подернем, подернем, да ухнем!» Это о ней. О силушке нашей, что пропадает втуне. И о тоске, которая не дает нам обустроить свою землю и зажить счастливо. И с ней никому,

кроме нас самих не совладать. Злая она, ох и злая...

– Речь не об этом. Я говорю о военной доблести, которая стала для нас обыденностью. У вас есть 28 панфиловцев. У нас 32 героя 290-й дивизии, удерживавшие укрепленную базу «Холм полководца» у деревни Сомшино. Если этого мало – у той же деревни сражались до последнего патрона и погибли буквально на следующий день еще 76 солдат, офицеров и унтер-офицеров из того же прославленного соединения генерал-лейтенанта барона фон Вреде. И таких спартапцев было у нас не счесть.

– Спартапцы защищали свою Родину – Спарту. А вы гибли из-за амбиций своего бесноватого ефрейтора, который превратил немцев в полчища крыс и, как крысолов повел их на Восток, чтобы утопить в России. Доблестно сложить свою голову не за правое дело – мало доблести. Доблесть на стороне того, на чьей стороне правда. А все остальное – пустое бряцанье оружием.

– Ошибаешься. Доблесть на стороне сильного. А в чем наша сила? Если фюрер мне прикажет не дышать – я перестану дышать. И если не поступит второй приказ, отменяющий первый – я умру. *Endsieg oder Tod*, окончательная победа или смерть! Таково в немецком солдате чувство долга!

– Далеко же вас это завело. Вы просто перестали отличать чувство долга от слепого повиновения...

– Чувство долга – качество господ. И это лучше, чем ваша личная преданность царю, правителю, хозяину, за кото-

рой прячется рабская, холуйская сущность. У вас же во все времена царили дикие законы Чингисхана. Ничего не изменилось и теперь. Все у вас строится через принуждение под страхом смерти. Если тебя не убьет враг, то как труса, паникера или дезертира расстреляют заградотряды НКВД. Поэтому выбор у русского солдата невелик – либо пуля в лоб, либо в затылок, от сталинских СС. Ужас впереди, ужас сзади, ужас в тебе самом, в твоём сердце. И в любом случае – верная гибель.

– Нет, не поэтому шли мы в бой и умирали. Просто так было надо. Есть такое слово, Фриц. Надо. И веровали, кому дано было, потому что так должно. Рисковать жизнью, выполняя приказ, в боевой обстановке естественно. Или ты, или тебя. Третьего не дано. Другое дело, что мы платили за это непомерную цену. В Красной Армии образца 1942 года в порядке вещей считалось посылать людей на верную смерть. В этом ты прав. Выживали единицы. Выживали чудом. Вопреки всему. И эти бессмысленные смерти подрывали наш боевой дух больше, чем все танковые атаки, авиаудары и артолеты врага вместе взятые. И тем не менее какая-то сила поднимала бойцов в атаку. Превозмогая отчаяние и страх, наполняясь последней яростью загнанного в западню, бессильного что-то изменить, полагающегося только на Бога и собственную судьбу человека, ты шел вперед. Потому что понимал: даже в ситуации крайнего принуждения, принуждения под угрозой смерти есть выбор. Выбор есть всегда. Погиб-

нуть от пули в спину или от пули в грудь.

– Гут, стойкости и мужества русскому солдату не занимать. Но мы били вас всегда и везде – на суше, в воздухе и на море. И если бы не генерал Мороз, госпожа непролазная Грязь, ваши неисчерпаемые людские ресурсы...

– Нехватка дров и теплых подштанников, что тоже затрудняет ведение победоносной войны...

– Напрасно ты иронизируешь. Все это вызывало дежавю и напоминало дурную бесконечность. Тогда мы еще не знали, но начинали продозревать, что Россия и есть эта самая дурная бесконечность.

– Но это не остановило вас...

– Как это могло нас остановить, если наша пехота всегда была на две головы выше вашей – по дисциплине, обученности, спайке. Люфтваффе и танковые подразделения вермахта тоже были на высоте. Самолетами мы гоняли вас, как тараканов, а танками давили, как клопов... Кстати, эта традиция идет из глубины веков. Немецкий танк – это фактически тот же топфхельм, шлем тевтонского рыцаря, поставленный на колеса с гусеницей и вооруженный пушкой. А танковый клин или «колокол» – та же «свинья»...

– Которая ушла под лед Чудского озера и опалила свою щетину на Курской дуге...

– Иван, с тобой просто невозможно разговаривать! Да, потом все круто изменилось... Как-то так получилось, что выиграв практически все сражения мы проиграли войну. Вот

уж парадокс из парадоксов!

– Да уж. Лейтмотив большинства немецких мемуаров: «Вермахт нанес русским сокрушительное поражение, от которого они уже не смогли оправиться, после чего немцы были вынуждены капитулировать».

– Опять ты иронизируешь! Но ведь так оно и было! Майн гот, если бы только фюрер послушался Гудериана, вещего ворона вермахта. Он был едва ли не единственным, кто высказался против операции «Цитадель», уверяя Гитлера, что под Курском немецкие войска будут непременно разгромлены...

– А, великий и ужасный Гудериан...

– Но подлинным спасителем нации, ангелом-хранителем Рейха мог стать только Манштейн, наш непревзойденный стратег.

– Он лишь отсрочил бы его конец. Даже Гитлер признавал это. Ты же внимательно читал «Майн кампф»?

– Пытаешься бить меня моим же оружием?

– Почему бы нет? В год написания этой книги ваш фюрер еще сохранял остатки здравомыслия. Он признавал, что согласно человеческому разумению Германия могла только отсрочить победу России, сама же окончательная победа этой последней казалась неизбежной. В 41-м ему почему-то так уже не казалось... «Богемский капрал» оказался прозорливее гениального фюрера...

– Но ведь для такого вывода у него были все основания!

Обратимся к конкретным фактам. На примере вашей Сталинской дивизии и дивизии SS «Totenkopf». Давай рассмотрим историю их очных встреч и боестолкновений. Ты же помнишь, ты все прекрасно помнишь и не будешь отрицать, что при первом же знакомстве с нами всего за три дня боев вы потеряли треть своего состава! Тот же Манштейн отмечал, что в атаке наша дивизия всегда демонстрировала стремительный рывок, а в обороне стояла как вкопанная. Хотя, надо признать, и вы дрались с небывалым ожесточением...

– А я скажу тебе, почему так произошло. Имея огромный боевой опыт, вы к тому же располагали временем, чтобы надлежащим образом подготовить оборону. А теперь что представляла собой наша 26-я стрелковая дивизия. Не воевавшая ни дня, пополненная необстрелянными бойцами она была сразу брошена в самое пекло. Возьмем, к примеру, меня. У нас говорили: умник – в артиллерии, щеголь – в кавалерии, пьяница – во флоте, а дурак – в пехоте. В общем, как ты сам понимаешь, меня, особо не разбираясь, направили в стрелковую часть. Хотя я – машинист паровоза. Ну, в пехоту так в пехоту. Не обижайся, Фриц, но без оружия я придушил бы тебя голыми руками, как котенка. Меня бы научить хотя бы азам военной науки. Вместо этого те же три дня, будь они неладны, я тренировался на деревянных макетах трехлинейек, минометов и артиллерийских орудий. Даже выстрелить из настоящего оружия не дали ни разу! Впервые я пальнул из своей винтовки в бою за Горбы. И таких вояк у нас бы-

ло абсолютное большинство. Мы погибали, так и не успев стать настоящими солдатами, не успев совершить ничего героического. Погибали ужасно и бессмысленно – ложились в землю в три наката, словно защищая ее своими истерзанными телами от пуль, снарядов и мин. И умирали, умирали, умирали, пока не умерли все. Или почти все. Единственное, что я успел прочувствовать – это могучее дыхание фронта. И еще. Я успел понять, что война – адский труд, цель которого выполнить боевую задачу и выжить. И бесконечное ожидание мига атаки... Но даже поставленные в такие неравные условия мы били вас. Ты ведь не стаешь отрицать, что вас, солдат «Мертвой головы», называли «путешественниками на тот свет». Свои же. Сухая Нива ни о чем тебе не говорит?

– Это там, где ваши снайперы выкосили целый эсэсовский батальон?

– С памятью у тебя все в порядке. И что же было дальше?

– Мы оставили эту деревню. Но это лишь частный ваш успех. Вы ведь большие мастера Rattenkrieg – «крысиной войны». Предпочитаете стрелять из-за угла, вместо того, чтобы в честном поединке сразиться на поле битвы.

– А не вы ли напали на нас без объявления войны? О каком честном поединке можно тут говорить? И разве под Сталинградом мы не показали вам, что умеем бить вас не числом, а умением?

– Ваше Центральное бюро учета потерь даже тогда было

завалено работой.

– Говорят, сталинградское кольцо сумел прорвать только один солдат – унтер-офицер Нивег. Да и тот вскоре погиб на перевязочном пункте от шальной мины. Так что в искусстве взламывать глубоко эшелонированную оборону противника и устраивать «котлы» мы превзошли вас.

– Да, в ту зиму и для Германии наступили эти пресловутые три дня. Это были дни национального траура...

– А теперь скажи мне честно, Фриц, какая армия была сильнее – вермахт образца 1941 года, когда он находился на пике своей боевой мощи, или Красная Армия образца 1945 года? Молчишь. И правильно. Потому что ответ очевиден. Немец страшен первым ударом. Русский – последним. Поэтому вашим битым генералам только и остается, что рассуждать на тему «непобедима ли Красная Армия» и устраивать камлания по поводу «утерянных побед».

– Оставим этот вопрос открытым, Иван. Ведь в конце войны, которая, по моим ощущениям еще не закончилась, вы воевали против плохо обученного «фольксштурма» – зеленого молодняка, за ухо притянутого в армию, или пожилых резервистов. Фактически – со стариками и детьми.

– Нет, это вы воевали стариками и детьми, потому что остальных мы перебили и воевать вам стало нечем. Вы просто вынуждены были бросить в бой свои последние резервы. И еще кое-что насчет «фольксштурма»... В него вы почему-то записали рядовым вашего боевого генерала фон Ви-

терсгейма, а командиром над ним поставили какого-то партайгеноссе...

– Кстати, полного профана в военном деле.

– А мы, между прочим, целых два года так воевали. Народным ополчением, одна винтовка на троих... Кадровой Красной армии к тому времени уже не было. «Благородно» перейдя Рубикон, вы уничтожили ее в первые же месяцы войны.

– Фактор внезапности! Да, есть что вспомнить. С вашей хваленной ордой мы расправились быстро. Ну уж если оторвало голову – не помогут кварц, водные процедуры, грязевые ванны и парафиновые аппликации. Но вот что непостижимо – вы продолжали сражаться с оторванной головой!

– А что нам оставалось делать? Гибли миллионы людей... И надо было остановить вас любой ценой.

– Наверное, ты до сих пор испытываешь ко мне ненависть?

– Кто старое помянет...

– *Es geht alles vorüber.*

– Да, все проходит, как говорил Царь Соломон, семя которого вы пытались извести...

– Не будем касаться этой болезненной темы, Иван. Скажи-ка мне лучше, откуда ты знаешь, как все сложилось без нас, после нашей смерти 22 марта 1942 года? Про войну, с которой мы не вернулись. Тебя же там не было... Тебя и сейчас нигде нет. Как и меня...

– При жизни не знал. Теперь откуда-то знаю.

– Теперь я знаю, что что-то знаю. Здравствуй, мой друг, АнтиСократ...

– Наверное, это как-то связано с нашим переходом в мир иной.

– Что-то вроде инсайта?

– Да, что-то вроде этого... Хотя при жизни я и слова-то такого не слыхивал.

– А теперь откуда знаешь?

– А черт его знает! Но могу предположить, что утратив физические тела, мы сохранили что-то гораздо более ценное... Душу, дух, ауру – называй это как хочешь. И это не просто приобщение к какой-то новой форме жизни, а более высокая ее ступень, которая приближает нас к всеведению, к абсолютному знанию. Мы еще бесконечно далеки от него, но мне кажется, что наше восхождение уже началось.

– Странно, я тоже испытываю что-то подобное... Я уже не тот Фриц, который сидел в окопах, жрал подмороженную конину и вместо кофе пил ячменный напиток, который мы называли Negerschweiss – «негритянский пот». Мне кажется, что за время моего пребывания здесь я окончил, как минимум, университет и пару-тройку академий. Кто-то закладывает мне всю необходимую информацию прямо в мозг. Безо всяких усилий с моей стороны. Я словно вооружился цейсовской оптикой, которая позволяет мне видеть линии человеческих судеб и ход исторических событий, доставать, словно

с библиотечной полки, необходимые мне книги и мгновенно постигать их суть. Вот только не понятно, что с цензурой. И кто управляет процессом.

– Там, где это происходит нет книг, газет, радио и телевидения. Весь фокус в том, что «там» для нас это «здесь». Информация поступает напрямую, без сопутствующих фильтров, искажений и ретуши, без «человеческого, слишком человеческого», через некий универсальный информационный портал. И эту информацию из первых рук каждый имеющий к ней доступ может использовать по своему усмотрению. Мы, Фриц, не владем всей ее полнотой, но лишь потому, что до сих пор не ушли в «поля забвения». Только там наши неприкаянные души могут найти успокоение. Мы до сих пор на войне, мой заклятый друг. Наши земные дела еще не окончены, тела не погребены...

– Неужели когда-нибудь мы вырвемся из этого ада и упокоимся с миром? Ты веришь в это, мой возлюбленный враг?

– Даже на войне есть место милосердию. И в аду. Я сразу вспоминаю глаза Алешеньки, божьего человечка. Всю душу они мне перевернули и вынули, взывая ко всепрощению и милости...

– Но ведь ты уже не прежний, Ваня. Ты – другой. И я не тот. Потому что между мной прежним и нынешним пролегла полоса Tod. Мне кажется, что я теперь не совсем я, а что-то похожее на мы. И Отто во мне, и я точно знаю, что он тоже погиб, и мои товарищи со мной, и живые, и мертвые...

– Я понимаю, о чем ты. Теперь мне известно, что чувствовал каждый солдат, бежавший со мной в атаку. И что испытывали все, какое чувство преобладало в этой солдатской массе... И кто не вернулся из того злополучного боя.

– А про семью свою ты тоже знаешь?

– И про семью. Моя так и осталась вдовой с четырьмя детьми на руках. Четвертый, правда, во младенчестве помер. Бог прибрал. Иногда я смотрю на нее со своего портрета. И так жалко ее – поседевшую, постаревшую, забывшую свое счастье... Дети без отца выросли. Дочь стала учительницей, старший сын военным. Грех жаловаться. Младший только всю жизнь буйствовал, колобродил, менял то работу, то место жительства. Да так и сгорел, оставив жену и троих пацанов...

– Моя тоже вышла замуж и нарожала ребятишек. Я рад за нее, потому что у нас детей не было. И быть не могло. Я не осуждаю ее. У нас, бывало, не только невесты от своих женихов отказывались, но и жены от мужей. Посиди-ка ты четырнадцать месяцев в «котле», где каждый день могут убить или искалечить до неузнаваемости. От такой «семейной жизни» любая с ума сойдет...

– Моя не сошла. И замуж уже не вышла. Да, коротка жизнь человеческая. А наша, солдатская, еще короче...

– Что такое жизнь? Проплывающая перед твоими глазами тайна, которую невозможно разгадать. Еще меньше ясности со смертью. Она – загадка, которую невозможно даже сфор-

мулировать...

– Пока невозможно, Фриц, пока...

Баба Люба наотрез отказалась ехать в Пустыню. Гиблое место, сказала она, и по сю пору дух там тяжелый, смертный, а уж как оно выглядело в войну и не помнит никто.

– Ну хоть посмотрите. Что-то, может, подскажете, – уговаривал ее Садовский, все еще надеясь восстановить подробную карту местности на момент боевых действий.

– Да что там, сынок! В голове все перевернулось. Осуетилась я суетою и умом совсем тронулась. Перепутала все – как речка Ларинка, как Воезянка. Или без названия речушка, кто его теперь знает... Тут еще Деденька где-то... Что толку от меня!

– Прокатимся и сразу вернемся, – не сдавался Садовский, хотя и понимал – память вещь зыбкая и очень избирательная. Он, например, помнил номер телефона девушки, которую любил когда-то, много лет назад, но постоянно забывал почтовый индекс своего домашнего адреса. Теперь уже бывшего.

– Не могу, боюсь! Как вспомню – немцы на берегу Ларинки мин накидали, чтоб партизаны туда-сюда не ходили, а на этих минах возьми да и подорвись наша училка. Молоденькая совсем! Так ее потом по кусочкам собирали, как сейчас помню. Вот этого я точно не забуду. Поэтому не проси, соколик. Какая из меня лягушка-путешественница?

Так ничего и не добившись, Садовский уехал в урочище без бабы Любы.

Было хмурое, безнадежно пасмурное утро, словно май, решив примерить плащ с чужого плеча и резиновые сапоги на три размера больше, неожиданно поменялся местами с октябрём. Следуя установившемуся ритуалу, Садовский сначала побывал на речке. Но Алена, по-видимому, отказалась от водных процедур и мирно почивала в своей яично-желтой палатке, досматривая солнечные сны. «И вот сижу я в кустах и чего-то жду, – думал он, рассеянно глядя на капельки дождя, с хрустальным звоном ныряющие с неба в речку. – Мне уже шестой десяток. Ни кладезя мудрости, ни элементарного понимания жизни, ни умения жить. Я все тот же удивленный, немного обескураженный происходящим зритель с галерки, который уже не хочет, да и не может оказаться в первом ряду...»

Счастье? Оно то постоянно опережает, то безнадежно отстает. И никогда не задерживается надолго. Что-то похожее на состояние счастливой безмятежности и беспричинной радости, радости от самых обычных, всем доступных вещей он испытал однажды в госпитале после ранения. В больничной палате хорошо. Можно познакомиться с интересными людьми, прочитать умную книжку. А можно напиться с дураками и заснуть в коридоре под фикусом, укрывшись прошлогодней газетой. Там же, в госпитале, он узнал, что имен-

но *Ficus religiosa* является тем деревом, под которым на Шакьямуни снизошло просветление и он стал Буддой.

Будущее? Его идиллический образ бесконечно далек от реальности. Да и нет никакого будущего, есть только непрерывно длящееся настоящее. И чем ты его наполнишь, то и будет тем, что принято называть будущим. Можно, конечно, надеяться на лучшее, всегда надеяться на лучшее. Во что-то верить. Но мало быть оптимистом, надо еще уметь создавать для этого поводы. Иначе оптимизм превращается в одну из клинических форм идиотии. Кстати, где-то, кажется, в той же госпитальной библиотеке он прочитал, что их две – торпидная и возбудимая. И долго не мог определить, какая же ему больше по душе...

Сбросив оцепенение, Садовский поднялся к развалинам церкви. И тут на него вихрем налетел разгневанный старик.

– Это ты привел татя гробного? Зачем ты привел сюда татя гробного? – возбужденно заговорил он, размахивая корявыми, словно иссохшиеся сучья руками. – Он мертвецов ищет. Так и тягается с ними за добычу. Еще в келье Михаило-Клопского монастыря я видел, я все видел! И как он приходил помню. Рыскал яко агарянин. Всё серебряные вызолоченные ризы да Богоматерь старорусскую искал. Да как ее найти? Сгорела она. Младенец Иисус только и остался...

Похоже, старик заговаривался. Нес какую-то околесицу.

– Погоди, старче, что за татя? При чем тут Богоматерь?

– Икона моя пропала! – страшно выпучив глаза, почти

взвыл блаженный Алексей. – И житие, собственною рукой написанное...

Ну вот, началось, с тоской подумал Садовский. То ищем мы запропавшего Бога, то украденную икону, то причину, почему запропал Бог и украдена икона.

– А была ли она, икона-то? – спросил он, хотя точно знал – была и видел ее.

– Как же не быть, если была? И жидовин некий вертелся тут, попорченный, с четырьмя мотыгами на рукаве.

– Со свастикой что ли?

– С ней. Его бы, Сына Сиона, к Богу обратиться, ко Христу нашему, как это сделал преподобный Симеон. Отвести погибающую душу от безверия. А мне своих павших отмолить. Тогда и помереть не жалко...

– Помереть, старче, мы всегда успеем.

– Так ты не ведаешь про татя? – уже спокойнее спросил блаженный Алексей.

– Нет, не ведаю. А еще, говоришь, что пропало? Книга? Рукопись?

– Житие! – поднял крючковатый палец старик. – Много-страдальное житие мое... О том, как Христа послушав и приняв благое иго евангельских заветов, внял раб божий, что велено ему юроду быти. И о том еще, как мнимомудрствующая братия прогнала прочь сего подвижника благочестия...

– Давай, старче, сначала. Ты видел этого татя?

– И в монастыре видел, как вырывал он кости мертвецов,

снимал с них кресты и цепи да забирал иконы... И здесь тож. У самого на перстех кольца золотые и четки обсидиановы в руках, а теперь и без них, но я сразу узнал его. И сюда тать повадился. Встретил его и говорю: так речет дух похищающему регалии лежащих во гробех: не будешь ты видеть солнца, не будешь видеть дня, ни лица человеческого. И смердеть тебе умершим, а не воскреснуть с благоуханием неизглаголанным. Так и сбудется, увидишь. Не тотчас, но сбудется...

– Бог с тобой, старче. Никому такого не пожелаю... – пожившись, проговорил Садовский. – Но если встречу этого татя – все твое тебе верну.

– Верни, ежели ты не с ним заодно. Тоже ведь копаешь, все ищешь чего-то... Так возьми и верни... И не смотри, что иступлен я, не совсем еще лишился рассудка и понимания... Ибо, как сказал Святой Исидор Ростовский, буйственное и юродственное, еже по Апостолу житие избра... А ты что избра? Что ты избра? Что? Не по лжи, по совести, по заповедям Божиим...

Бормоча что-то совсем невразумительное, блаженный Алексей прилег в часовенке на куче тряпья и свернулся калачиком, отгородившись от всего белого света. Садовский понял, что тревожить его не надо. Пусть успокоится старик. Что-то не в себе он...

Несмотря на ненастье пора было приниматься за дело. Раскоп его уже напоминал наполовину заглубленный капонир для боевой машины десанта. В какую сторону теперь

рыть? И есть ли в этом хоть какой-то смысл? Так можно перелопатить весь холм. И ничего не найти...

Видя его затруднения, к нему подошел Петрович. Его отряд продолжал трудиться в рощице на краю болота. Юля была там же.

– Как жизнь? Как дела? – издалека спросил он.

– Нормально. Ни ума, ни памяти, а мы все здоровеем...

– Труд на свежем воздухе облагораживает человека, – изрек Петрович. – Вижу, ты тут совсем умаялся. Помочь?

– Тут не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Может правильнее было бы разбиться на мелкие группы?

– Может и правильнее. Только вместе как-то сподручнее. Ты просто не втянулся еще в это дело. Не прочувствовал. Скользишь по поверхности. А под тобой – глубина. Необозримая, я бы сказал...

– И ширь неохватная.

– И ширь неохватная...

Петрович закурил, устроившись на бруствере. Выглядел он после вчерашнего неважно – его и пошатывало, и подташнивало, и клонило к похмельным раздумьям.

– Одно радует. Ни одного шпиона среди нас не оказалось...

– Дезертиры не в счет...

– Если ты о себе, то зря. Вижу, что по духу ты – наш. Ведь не просто так сюда приезжают. Что-то тянет сюда. Какая-то внутренняя, я бы сказал, потребность.

Он помолчал, взглядываясь куда-то вдаль или вглубь себя.

– Только в этой глуши я понимаю, что живу. Что я есть, – задумчиво, как бы подвергая каждую фразу сомнению, продолжал Петрович. – Конечно, здесь тоже бывает не просто. Иногда кажется все, предел. А потом вдруг как накатит... Странное такое чувство, будто каждый, кто лежит в этой земле ждет чего-то от тебя. Томится, когда ты долго не приходишь. И все время внимательно вслушивается в каждое твоё слово. Словно хочет что-то сказать – и не может. И смотрит тебе вслед. И ты знаешь, что не имеешь права все бросить. И уйти. Здесь твоё место. Рядом с этими бойцами, которые честно сложили свои головы и достойны того, чтобы о них помнили. Чтобы их хотя бы похоронили по-человечески. Даже если от них осталась всего горсть праха...

Петрович глубоко, до слез затаялся и закашлялся, разгоняя руками сигаретный дым.

– У меня вся эта говорильня – «помним, гордимся, будем достойны», эти чинуши с розовыми ряхами, которые учат нас любви к Родине... Эти шумные компании, для которых 9 мая только повод бухнуть... Все они у меня вот где, – он приставил ребро ладони к горлу. – Слова, слова, слова... А за ними – пустота. И только здесь ты понимаешь, что все это значит. Перед этими бойцами чувствуешь себя как в храме. Все по-честному, как на исповеди. И все свои грехи и пригрешения видишь, будто под увеличительным стеклом. Вот они. И как бы ни было трудно – есть потребность снова вер-

нуться сюда. Это как глоток свежего воздуха. Единственное место во всем мире, где ты не можешь ни обмануть, ни предать, ни струсить. Ты просто не имеешь на это права... И знаешь... В этом есть какая-то высшая правда. Да и дядька на небесах, который все видит и все знает, наверное, как-то рассчитывает на нас... Иногда даже помогает нам. Поддерживает. Потому что каждый, кого мы находим, достоин того, чтобы его причислили к лику святых. Каждый. А то, что мы самогон употребляем, так это не от безнадёги, а для ясности мыслей... Для протирки оптики. Ну и для просветления, конечно... Примешь на грудь стакан-другой и ходишь весь из себя просветленный...

– Да, после него ясность мысли необычайная, – согласился Садовский. – Одного понять не могу – что ищет та компания наверху.

Он кивнул на бивуак Полковника.

– В последнее время они как-то очень уж заметно оживились. Кстати, ты собирался кое-что о них рассказать...

– А что о них рассказывать, – поскущел Петрович. – Один до высоких чинов дослужился. Молодец, что и говорить. Правильно воспользовался своим служебных положением, поставил на нужных людей, все рассчитал.

– Крышевал?

– А как же. Ты не смотри, что он на «буханке» ездит. Все это фальшфасад. И на лице его – фальшфейс с фальшулыбкой. Семья где-то в Черногории. Счета, недвижимость. Все

у него как надо, упакован с ног до головы. На три поколения вперед. Это такие как я в «двушках» на пенсию маются. А все почему? Я-то думал, что мое дело преступников ловить. А надо было поддерживать баланс сил. И по возможности избегать конфликта интересов.

– А второй?

– Инженер? Того я чуть не посадил. Как дело было. Расследовали мы как-то покушение на убийство. Девчонка, которую хотели убить, выжила. Красивая такая... В каком-то конкурсе участвовала. Мисс чего-то там... Не дали. Тяжелая черепно-мозговая травма. Сейчас, наверное, инвалид. Но не в этом суть. Инженер тогда маху дал. Он всегда битой пользовался, не признавал ни стволов, ни холодного оружия. И носил ее в чертежном тубусе. Отсюда и погоняло. Я начал раскручивать эту историю. И исполнителя нашли, и орудие преступления. Оставалось только экспертизу провести. Но в самый последний момент вещдоки куда-то исчезли. Как в воду канули. Все хранилось в моем сейфе, который можно было ржавым гвоздем отпереть. Ну и свалили на меня. Думаю, Полковник, тогда еще майор, вовремя подсуетился. Доложил кому надо, отписал кому следует, подчистил доказательную базу. В общем, дело развалилось. Но я ведь в жопу принципиальный был. Пер напролом. Ниточка потянулась к более серьезным фигурам. В том числе и в нашем главке. Начали всплывать подробности других дел. Эта группировка, помимо всего прочего, занималась антиквариатом, кражей,

скупкой и перепродажей предметов культа. Ездили по монастырям, сельским церквушкам, погостам. Ничем не брезговали. Все стоящее забирали за бесценок. Или вообще задарма. А кто упорствовал – по башке битой и концы в воду. Это мы по трупам определили. Их потом местные жители в оврагах да болотах находили. Почерк везде один и тот же. В общем, Инженер везде отметился. Он особенно и не старался следы заметать. Знал, что отмажут. Отмазали. По нескольким эпизодам. А меня как «оборотня в погонах» уволили. В рамках борьбы за чистоту рядов. Еще легко отделался. Пятерик на красной зоне светил...

– Мести не боишься? Место здесь тихое, безлюдное...

– А чего мне бояться? Я хоть и не злопамятный, но память у меня хорошая, – усмехнулся Петрович. – Кое-какие материалы по старым их делишкам у меня остались. И они это знают. Я не даю им ход, они меня не трогают. Я ведь старый мент, воробей стреляный...

Он посмотрел на свой отряд, который цепочкой тянулся из рожицы, выдвигаясь в направлении лагеря, и тоже стал собираться.

– Пойдем. Война войной, а обед по расписанию...

– Я попозже. Пойду гляну на машину. Там какая-то движуха...

Шел шестьдесят первый год войны. 11 сентября 2001 года террористы-смертники «Аль-Каиды», захватив

пассажирские самолеты, нанесли удар по башням Всемирного торгового центра и Пентагону. Погибло около трех тысяч человек. Франкенштейн, созданный для борьбы с советскими войсками в Афганистане, восстал против своего заокеанского хозяина и заявил о собственных притязаниях на мировое господство.

История восхождения Гитлера и практика умиротворения агрессора, вскормленного усилиями западных демократий, чтобы покончить с большевизмом так ничему и не научила англосаксов. И даже после падения башен-близнецов они не перестали делить террористов на плохих и хороших, называя последних повстанцами. Относилось это прежде всего к России, где активная фаза второй чеченской войны завершилась полным разгромом местных бандформирований и сторонников «Великого исламского халифата».

Эта «война против терроризма», основанная на испытанной веками политике двойных стандартов, была как две капли воды похожа на «дроль де гер», которую вели англичане и французы после вторжения Гитлера в Польшу. Чем закончилась эта «странная война» хорошо известно: вместо того, чтобы напасть на Советский Союз Германия развернула свои танковые колонны и воздушные армады в противоположном направлении.

Потрясающая пробиркой госсекретаря США, «Коалиция согласных», куда помимо стран НАТО вошла Украина, Грузия, Гондурас и десятки других стран в поисках следов

«Аль-Каиды» и оружия массового поражения вломила в Ирак и вздернула на виселице кровавого тирана Саддама Хусейна. Справедливости ради надо отметить, что немцы в этой безумной затее не участвовали. Результатом операции «Иракская свобода» стало уничтожение порядка миллиона мирных жителей и создание террористического «Исламского государства». По странам и континентам прокатилась волна «цветных революций».

А глупая старушка-Европа всему этому рукоплескала, не понимая, что конечной целью развернувшейся вакханалии, начиная с бомбардировок Сербии, были ее пышные похороны как экономического и политического конкурента.

К этому времени уже окончательно сошел с политической сцены очарованный Западом провинциальный демагог Горбачев, закатилась звезда пьяного плясуна Ельцина, щедрого дарителя национальных богатств, суверенитетов и земли русской. Похмельная «рашка» вдруг обнаружила, что она нужна так называемому цивилизованному миру только в роли пьяной бабы, готовой за рюмку водки выполнять любые прихоти клиента.

Но после мюнхенской речи Путина игра в поддавки закончилась. Россия стала стремительно трезветь и сосредотачиваться. Проснулся от тысячелетней спячки Китай. Мир начал дрейф в сторону многополярности.

Впрочем, все эти глобальные изменения ничуть не коснулись впавшей в беспамятство Пустыни, которая оконча-

тельно смирилась с печальной участью полузабытого погоста. Шаг времени располагал здесь к архаичному летоисчислению: дни легко складывались в годы, годы сгущались в десятилетия, десятилетия слагались в эпохи и ледяными торосами наслаивались на века. Мать-сыра земля благодарно приняла в себя пролитую кровь и разбросанные по полям минувших сражений проржавевшие черепа и кости. Но это не принесло облегчения тем, кто был здесь оставлен. Настойчивый зов мертвых, будто стон приговоренных к бессрочной каторге взывал к справедливости и воздаянию, лишая покоя ныне живущих: с некоторых пор урочище стало местом притяжения поисковых отрядов, а в развалинах церкви появился насельник, денно и нощно молящийся о душах убиенных.

И тогда у павших появилась надежда...

– Думаешь, нас найдут?

– Кто ищет тот всегда найдет...

– Что-то мне подсказывает, Иван, что долго нам тут еще, как это у вас, у русских говорят, лаптем щи хлебать.

– А куда нам торопиться? Мы никуда не опаздываем.

– Может и не опаздываем, а может уже и опоздали, кто знает? Кстати, как ты относишься к идее вечного возвращения?

– С нашим возвращением что-то явно не так. Наш круг – одни лишь сутки. От атаки до атаки. И разомкнуть его нам не под силу. Кому-то суждено вечно возвращаться, а нам – ни-

как не отправиться. Кто-то не может остановиться, мы же не в состоянии начать движение. И уже не важно, к восхождению, к падению ли, когда ты врос в недвижимый камень вечности и сам стал этим камнем. Таковому все едино.

– Хорошо бы умереть основательно, без притворства, как умер старый Бог Заратустры. Родиться своевременно не в нашей власти. Но умереть вовремя – да!

– Вот слушаю я тебя, Фриц, и одного не могу понять. Ты приводишь какие-то доводы, аргументы, пытаешься дискутировать, вести ученую беседу. И рука твоя не тянется к пистолету, чтобы возразить. Этот последний аргумент, который вы в свое время сделали первым, уже не работает. Здесь не работает. Ответь мне...

– С удовольствием, друг мой. Вопросание есть познающее искание сущего в факте и такости его бытия.

– Эх ты загнул. Вы, немцы, даже пукнуть, извиняюсь, не можете без того, чтобы не придать этому событию онтологический смысл.

– А как же! Не всегда сущее может показать себя само по себе из себя самого. Поэтому мы и пытаемся сущностно определить это сущее через задание предметного что. Так о чем ты хотел меня спросить?

– Скажи-ка мне, Фриц, как мог «сумрачный германский гений» породить такого монстра, как нацизм? Как стало возможно перерождение «культурной нации» в нацию палачей? В XIX веке добропорядочные немцы говорили: «Феномено-

логия духа», «Аппассионата», «Фауст»... А в XX – унтерменшен, газенваген, фаустпатрон. Квинтэссенция немецкой культуры...

– Полагаю, тебе действительно этого не понять.

– Куда уж нам – со свиным рылом да в калашный ряд! Только немецкий ум мог воспарить к высотам чистого разума, подвергнуть его критике за неспособность познать предмет и окончательно упокоиться в гробу, который, как и все, что нас окружает, есть вещь в себе.

– Гут. Я отвечу на твой вопрос. Твой культурный код в системе европейских ценностей неопознаваем и не самоценен, он всегда в подчиненном положении, всегда следствие, а не причина. Мир во всем подручном всегда уже «вот» и его становление происходит в действительном залоге, а не в страдательном, как это испокон веков происходит в России. Поэтому для меня твое со-присутствие условно. Я ощущаю его как одиночество вдвоем, дефективный модус со-бытия... Ты есть. Но тебя в то же время нет. Ты тот, кто не отбрасывает тени. Что как раз и свойственно представителю, скажем так, иной расы. Без обид. Ничего личного.

– Объясни мне, представителю иной, или называя вещи своими именами, низшей расы, чем я так низок и чем ты так высок? Ты – немец, ни больше ни меньше. Я русский – и этим все сказано. Но разве это имеет значение? Перед Богом все равны. Нет ни эллина, ни иудея... Се человек. Или на худой конец ни то, ни се...

– Равны только углы в равнобедренном треугольнике.

– Но ты ведь не станешь отрицать, что есть великая русская культура и она – неотъемлемая часть мировой культуры. Ее не могли создать недочеловеки...

– То, что вы называете своей культурой – суррогат. В России ее никогда не было! Достоевский? Эпилептик, игроман. Чайковский? Ну ты в курсе... Толстой? Гитлер называл его «русским ублюдком».

– Кстати, Ницше считал Достоевского единственным психологом, у которого он мог чему-то поучиться, а Лейбница и Канта – величайшими тормозами интеллектуальной правдивости Европы. Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр и Гегель были в его глазах «бессознательными» фальшивомонетчиками, а все они вместе – шлейермахерами, то есть «делателями покрывал». Сам он, между прочим, был наполовину поляком, если уж говорить о расовой чистоте...

– И великим свойственно ошибаться! Не сомневаюсь, что именно славянская кровь привела его к столь печальному финалу. Мозг Ницше был истощен и буквально разорван непримиримыми противоречиями. Что и стало причиной его безумия. Но я ведь говорю о другом – об общем культурном уровне нации.

– Да уж, спорили мы в теплушках не о поэзии Ивана Бунина, а о стихах Ивана Булкина. Но ведь и нас пришли покорять далеко не Бахи с Фейербахами. Как раз от них-то и необходимо было вам избавиться, чтобы решить задачу, по-

ставленную вашим вождем. Этим поминутно выпрыгивающим из штанов апостолом ненависти.

– Но ведь были подняты на щит Вагнер, любимый композитор фюрера, тот же Ницше. Сначала был изобретен динамит, потом появился «философ неприятных истин», затем это удивительным образом соединилось в одном и взорвало мир. А Хайдеггер вообще двумя руками голосовал за Гитлера, мечтая стать главным идеологом Германии. Правда, ему так и не удалось вырвать знамя из рук Розенберга и Бойлера.

– Зато вполне удалось смешать философскую заумь с изящной словесностью и получить новый миф. Знаешь, что такое его философия? «Свободнопарящая спекуляция об обобщеннейших обобщенностях». Это с его же слов. Когда я слышу: Хайдеггер, Хайдеггер, мне кажется, что где-то рядом зловеще каркает ворон или заводится мотоцикл. Или как там у братьев Стругацких – «Das Motorrad unter dem Fenster am Sonntagmorgen». Картина несостоявшегося художника Шикльгубера. Маслом.

– Фюрер был рожден фюрером и мог стать только фюрером!

– Не заводись. Фюрером не рождаются, фюрером становятся. И далеко не всякий фюрер становится Гитлером. И уж совсем редко Гитлер отваживается напасть на Россию. Зато всякий напавший на Россию перестает быть и фюрером, и Гитлером, и кем бы то ни было, ибо находит здесь свой ко-

нец.

– Игра еще не окончена, дружище, это был только пролог. Неудачный. Признаю. Но фюрер еще не сказал своего последнего слова перед судом истории. Он был и остается фюрером. Навсегда. Яволь. И он очень далек от того карикатурного персонажа, каким его рисует большевистская пропаганда. Das Motorrad? Еще одна аллюзия из разряда исторических иллюзий. Оцени каламбур...

– Весь в белой плесени, как камамбер.

– Сравнение с сыром превосходно. Bravo, Иван, ты начинаешь что-то постигать!

– Вот именно. Но вернемся к Ницше. Глубоко понятый, не превратно истолкованный – он великий философ-бунтарь. Буквально, поверхностно воспринятый, раздерганный на цитаты и выхваченный из контекста – предтеча фашизма. Вы могли не понять Ницше и, конечно, не поняли, могли вдохновиться его идеями, исказив их, и, конечно, вдохновились.

– Но разве не он сказал: «Вы должны возлюбить мир как средство к новым войнам...» Что ты на это скажешь? Это ли не гимн войне?

– Речь идет о войне идей. И сверхчеловек у него не «белокурая бестия», а аристократ духа. И различие между сильной и слабой расами не касается национальности. Пангерманизм? Лозунг «Deutschland uber alles» Ницше связывал с концом немецкой философии. Антисемитизм? Он называл евреев самым замечательным народом в мировой истории.

Славянофобия? Не он ли сказал, что немцы вошли в ряд одаренных наций благодаря сильной примеси славянской крови?

– Довольно, Иван! Это Genickschuss, выстрел в голову. Что ж, готов допустить, что мы использовали Ницше втемную. Но ведь это сработало и как сработало! Вокруг имени этого философа до сих пор ломаются копья и нет единого мнения по поводу того, насколько его идеи повлияли на становление национал-социализма. Одно несомненно. Перефразируя одного вашего поэта: Ницше жил, Ницше жив, Ницше будет жить!

– Я надеялся, что прозревают не только живые, но и мертвые. Мне казалось, что в том лейтенанте-танкисте, который философствовал молотом, ты увидел символ низвержения идолов нацизма. Я ошибался...

– В тот момент я действительно думал, что он с вами. Он всегда был с вами, всегда симпатизировал русским, мы просто не поняли его как следовало бы понять. Но нам незачем было понимать его правильно. Мы просто использовали обоюдоострый меч, который он вложил в наши руки. И теперь я считаю себя дважды, трижды прозревшим. Прежнее озарение оказалось заблуждением. Закон отрицания отрицания, ты же знаешь. Кто повседневного присутствия не всегда я сам, если я развернут во времени. И совершенно очевидно, что несомненность данности я как такового уже не столь несомненна. Получается, я не этот и не тот, не сам че-

ловек и не некто. Я есть сумма всех. Кто объединены во мне коллективным сознанием. Мною мыслит сообщество, объединение людей, нация. Я часть огромного целого, растворенный в движении масс, Volk, того, что как война, эпидемия или стихийное бедствие формирует основы существования моего народа. И знаешь, что мне открылось, когда я поднялся над собой? Фюрер воплотил в жизнь принцип Гёте «Werde der du bist» – «Стань тем, кто ты есть». Его феномен дефиниторно невыводим из высших понятий и непредставим через низшие. Он смог схватить сущее в его бытии, вместо того, чтобы повествовать о нем. И понял, что выше действительности, выше противоречий добра и зла стоит возможность. Эту возможность он, порвав все узы moralin, предназначенные для толпы, отбросив жеманство ханжей и плюшевую добродетель фрейлин, не упустил. Фюрер окончательно решил для себя вопрос Достоевского – тварь я дрожащая или право имею? И не стал субъектом банальных поступков известной законосообразности. Он суть что он суть в качестве этого, а не чего-то иного. О, наш вождь был величайшим романтиком. И воспринимал войну как род утопии, цели для избранных через избавление от недостойных избраннычества. Подтолкни упавшего. Also sprach Zarathustra. Не о том ли мечтал Ницше?

– Ницше боролся с идеями, а не с людьми.

– Но что он имел в виду? В этой или любой другой войне никто не тот, кто должен за что-то постоять, каждый ока-

зывается другой и никто не он сам. Нам просто не повезло. Что остается после окончания всех войн и катастроф? Просто-только-жизнь просто-только-выживших. И желание реванша.

– Не повезло, говоришь? Вот тут ты не прав. Везение тут не при чем. Мы сражались за правое дело. Потому и победили.

– Да уж, не прав. С кем бы и за что бы ты ни воевал – пропал ты, Ванюша, ни за понюшку табака. И что теперь твое правое дело без тебя? И где теперь твоя страна? Что стало с твоей верой? Свобода – вот новая религия! Свобода, которая выше церковных догм, моральных норм, выше исторической достоверности.

– Если свобода не ограничена тремя вещами – делом, которому ты служишь, уголовным кодексом и, по возможности, нормами морали, то это дурная свобода.

– Свобода всегда была свободой для избранных. И укоренению этой новой религии мешаете только вы – с вашим старорежимным православием и так называемой победой. Которую вы пишете с большой буквы и называете великой и о которой все хотят поскорее забыть. Ты думаешь, случайно Гитлер и Сталин ставятся сегодня рядом, как башни-близнецы, которые надо разрушить?

– Что тебе сказать про наших вождей, мой любезный друг Фриц? Сталин был кошмаром для классово чуждых элементов внутри своего народа. А Гитлер был кошмаром

для всех расово неприемлемых народов. Совершенно другой масштаб.

– Так ты ставишь между ними знак равенства?

– К нацизму, дружище, не применим знак равенства. Это крайняя степень зла. А Гитлер его олицетворение.

– И что же, сталинизм лучше? Замени теорию расового превосходства на теорию классовой борьбы и получишь тот же результат.

– Сталинизм излечим. А нацизм – нет. Его можно удалить только хирургическим путем. Что мы и сделали.

– Но хирургический путь не эффективен! Особенно в онкологии. То, что скрывается, так себя скрывая, не исчезает здесь, не отказывает в приходе. То, что скрывается, составляет действительность действительного. Как событие оно актуальнее, чем все актуальное. То, что скрывается, прибывает, притягивает нас зачастую независимо от нас, от нашего сознания.

– У тебя, Фриц, на все случаи жизни есть перевернутая цитата из Ницше или перефразированная из Хайдеггера. О чем речь?

– О свободе без границ. О том, как она смыкается с фашизмом, который уже дал метастазы в современном мире. Но сегодня он рядится в тогу демократии и решительно осуждает фашистскую архаику, которая должна безвозвратно уйти в прошлое. И это будет продолжаться. И даже усиливаться. Рано или поздно сталинизм будет приравнен к клас-

сическому фашизму и заклеямен как его зеркальное отражение. Во всяком случае, на Западе. А знаешь почему? Фашизм во многих его проявлениях европейцу ближе, чем все, что исходит от России. Неужели ты этого до сих пор не понял? Посмотри, кто воевал на стороне Гитлера. Только в районе Старой Руссы и в демянском «котле», помимо нас, была испанская «голубая дивизия», финские лыжники и снайперы, датский добровольческий корпус «Данмарк»... Датчане, кстати, служили и в дивизии «Мертвая голова». На Восточном фронте плечом к плечу с нами бились итальянцы, румыны, венгры, хорваты. В дивизии СС «Викинг» добровольцы из расово приемлемых народов – голландцы, бельгийцы, французы, норвежцы, эстонцы – все. Теперь взгляни, кто противостоит вам сегодня. Ничего не изменилось! Число ваших врагов только умножилось. Да, они пока не решаются разделаться с вами, потому что получают гарантированный отпор. Но посмотри на Ирак, где под предлогом борьбы с терроризмом звезднополосатый ковбой Буш, кстати, однофамилец командующего нашей 16-й армией, учинил форменный разбой. Ничего не напоминает? Даже методы остались те же, предложения только разные. И поставить на одну доску Сталина и Гитлера им просто необходимо, чтобы переписать историю, заставить мир забыть о своей поддержке гитлеровского режима и в очередной раз сваять из России «империю зла». У всех рыльце в пушку. А если Сталин виновник развязывания Второй мировой войны, то Европа – про-

сто жертва. Что и требовалось доказать. Аминь.

– Похоже, и ты того же мнения?

– Я же говорил – война продолжается. Без нас. Мы – отработанный материал. И этой войне нужны новые рыцари и кнехты.

– Ты прав, война продолжается. Но продолжается нами, при нашем участии. И наше поле битвы по-прежнему здесь, в Пустыне. Да, ты не можешь дуть пиво, а я хлестать водку, мы даже не можем дать друг другу в морду ввиду непримиримых разногласий. Здесь имеет место быть столкновение идей. Мы в области чистого разума, там, куда еще при жизни попал Кант и где невозможны войны. Здесь воцарился вечный мир. Но нам еще рано подводить окончательные итоги, еще есть силы, чтобы что-то начать и есть смысл за это взяться даже если времени на завершение уже не осталось. Потому что мы не потеряли связь с миром, из которого ушли и до сих пор можем влиять на происходящие в нем события. Разве не так?

– Присутствие есть сущее, которое есть всегда я сам, бытие всегда мое. А мы, Иван, существуем отдельно от бытия. И наше не-существование окончательно и необратимо. Теперь мы стоим перед иным бытием – инобытием, где отсутствует тело и отсутствует взгляд. Я слеп и бестелесен. Как и ты.

– Ты заблуждаешься, Фриц. Ничто не превращается в ничто. Но все перетекает во все. И никуда не исчезает. Историю пишут и живые, и мертвые. Мы вынесли вердикт и привели

приговор в исполнение. И обжалованию он не подлежит. Как не подлежат пересмотру итоги Второй мировой войны. Иначе все повторится...

– Ты неисправимый оптимист, Иван. И очень набожный человек. Какой-то старообрядец, честное слово. Все еще не понимаешь, куда попал. Я, в общем, тоже не совсем ясно себе представляю, но хотя бы не тешу себя напрасными иллюзиями. Здесь мы не имеем никакого отношения к бытию присутствия. Наше бытие – отсутствие. Мы – посторонние. Настолько посторонние, что не можем явить себя миру живых и здравствующих ни в каком качестве. Мы тень от тени своей. Наш Аид не предполагает никакого Харона. Все мосты сожжены, все нити оборваны... Единственное, чего мы не утратили – это бытийной понятливости, которая имеет свое бытие в понимании... И чувства юмора. Угадай, как я называл специальный диванчик для своего друга Отто, который смастерил ему наш ротный плотник. Не догадываешься? Оттоманка! Если бы я знал заранее, что встречу тебя, то попросил бы его соорудить макет дивана для Ивана! Ха-ха-ха!

– Очень смешно.

– Конечно. Хотя все это уже бесконечно далеко от нас. Мы и сами бесконечно далеки от самих себя.

– А может и даже скорей всего наоборот – мы приблизились к себе настоящим. И каждый из нас стал тем, кем ему надлежит быть.

– Плагатор! Ты просто перефразировал того же Гете.

– Кстати, ты его читал?

– При жизни – нет.

– А после?

– Тоже нет. Само пришло. Откуда-то сверзлось. Свалилось на голову. И в этом я вижу необъяснимый парадокс смерти. Все больше убеждаюсь, что она приобщает нас ко всему объему знаний, которые выработало человечество. В процессе своей, так сказать, эволюции.

– Тут все зависит от образа бытия самого присутствия. Если это просто абстрактное мужское начало, в конце концов предпочитающее трудное, непознанное или иллюзорно подобное, то мы имеем одну ситуацию, но если это касается конкретных личностей – товарища по оружию или испытанного бойца партии, то совершенно другая, ибо он есть подлинный соратник и не может рассматриваться как чужеродный априористический перфект ни в целом, ни по частям. С ним всегда в чем-то дело. И сущностно определить его сущность через задание предметного что нельзя – как в отношении него, так и в отношении меня. Все мы часть системы, независимо от того, что мы думаем об этой системе и что система думает о нас. Таков мой свободнопарящий тезис.

– Опять темнишь?

– Куда уж яснее. Прояснение бытия-в-мире явственно свидетельствует, что не «бывает» ближайшим образом и никогда не дано голого субъекта без мира. И вообще... Этот вопрос можно решить только наедине с собой, в безмерной глу-

бине одиночества. В той «субстанции» человека, что определяет дух не как синтез души и тела, но как экзистенцию... Как я устал! Почему жизнь так устроена, что в ней невозможен сколько-нибудь продолжительный мир – только хрупкое, ненадежное перемирие? Почему даже в смерти я не могу обрести покой? Получается, Тод еще нужно заслужить. Видимо, мы пока не удостоились...

– Как можно удостоиться того, чего нет?

– Ты это серьезно?

– Конечно. Мы изначально вкладываем в это слово неправильный смысл. Она не конец, а переход. Начнем с того, что все живое и неживое состоит из одних и тех же первокирпичиков мироздания. Это еще Демокрит утверждал. Просто мы плавно переходим из одной формы существования в другую. Ощущения разные. Иные так себе, согласен. Но окончательного умирания нет. По мнению академика Вернадского, с позиций физики или философии понятие «живое вещество» весьма уязвимо. После так называемой смерти соединения, устойчивые в термодинамическом поле организма, попадая в биосферу, теряют свою устойчивость и становятся источником свободной энергии. При этом он указывал на то, что химические элементы, раз попавшие в циклы всего живого, остаются в них практически вечно. Таким образом, делает вывод он, вся биосфера является не механической системой, а своеобразным космическим организмом. Вот и ответ на твой вопрос о Тод. Мы, Фриц, как энергетич-

ческие сгустки и носители информации находимся как бы между мирами, в ноосфере – от греческого «нус» – разум. Но не в понимании того же Вернадского, который считал ее областью проявления научной мысли и технической деятельности, а в представлении Ле Руа и Тейяра де Шардена, которые трактовали ноосферу как «Дух Земли», предполагая, что наделен разумом и одухотворен не только человек, но и все живое вещество на нашей планете. Я полагаю, не только живое, но и потенциально живое, как и все живое, но потенциально мертвое.

– Сомнительное утверждение.

– Ты никогда не разговаривал с деревьями, со своей собакой, Фриц?

– Ну и что с того?

– А с ветром в поле? С дождем? Со своим рваным сапогом?

– Но это же явления стихии или предметы неодушевленные.

– Но ведь разговаривал...

– Тут я вынужден согласиться.

– Хорошо, идем дальше. Информационное поле, к которому мы с тобой прорываемся представляет собой нечто безмерно большее, чем ноосфера. Это мыслящий космос Циолковского, в котором даже ничтожная космическая пыль – это часть чего-то бесконечно более значительного. Мы еще в ноосфере, но уже на пути в макрокосм. Ты спросишь, зачем

нам это надо и почему мы так туда стремимся? Мы непрерывно преобразуемся – от зверообразного антропофага к человеку и от человека к свету. Но преобразуемся не легко и одномоментно, а долго, болезненно и трудно, в зависимости от тяжести наших земных деяний и глубины укорененного в нас зла. И прежде, чем мы прольем на лик нашей планеты лучистой энергией, подарив миру свет, ибо сами будем сотканы из света, нам придется пройти через муки несовершенств и цепь страданий. Таково одно из пророчеств русского космизма. И это означает только одно: человеческий удел уводит нас от дорожного указателя, на котором написано «Смерть», в совершенно другую сторону.

– Зачем, какой в этом смысл? И вообще – к чему вся эта муть? Все твои философствования высосаны из пальца или заимствованы у придурочных русских мечтателей, которые все это придумали. Впрочем, продолжай. Что там у тебя дальше? С этим русским космизмом...

– Циолковский установил связь этики с метафизикой космоса. Все его первокирпичики служат деланию добра и умалению зла, что в конечном итоге сделает космос абсолютно совершенным, вершиной вселенской гармонии. И раз уж ты заговорил о придурочных русских мечтателях, то эта мысль перекликается с догадкой Ницше. Именно в борьбе добра и зла Заратустра увидел движущую силу извечного коловращения материи и духа. Мораль, перенесенная в метафизику, и есть сила, причина и цель в себе. А что касается его сверх-

человека – это далеко не венец творения, а лишь промежуточная ступень в восхождении к лучезарному человечеству.

– И как это согласуется с твоим православием?

– Как – пока не знаю. Но точно не противоречит ему. Со смертью из тела, которое всего лишь личинка, выпархивает душа-бабочка. И она бессмертна. Стань лучезарным, Фриц!

– Стану, конечно! У меня на этот счет вообще нет никаких сомнений. И как только я сподоблюсь – сразу встречу своих лучезарных братьев по дивизии SS «Totenkopf». Эти ставшие мне почти родными бандитские рожи. Да... Можно еще один вопрос, раз уж мы заговорили на эту тему? Почему ты знаешь об этом больше, чем я?

– Потому что ты отягощен злом. Я тоже от него не свободен, но оно не мешает мне подниматься к свету. К тому же есть некто, кто отмаливает мои грехи. Но тебе не о чем беспокоиться. Ты тоже преобразишься и стаешь существом, находящимся на гребне эволюции, но позже.... И спасешься, как спасется последний раскаявшийся грешник. Это зависит только от твоего окончательного выбора. Мы попали в мир, где возможно свободное перетекание энергий, идей и сущностей и где границы я и даже мы уже относительно. Подумав о Ницше, ты сам становишься Ницше, обратившись к Богу ты сам в чем-то уподобляешься Ему. Но сохраняешь при этом понимание, что ты не окончательно, а временно он. Или Он. Здесь происходит синтез человеческого и божественного – через освобождение духовного от физического

и окончательное их разделение.

– Не скажу, что ты убедил меня или как-то успокоил. Твоя колыбельная – что-то вроде препарата из разряда опиатов. Спи спокойно, наш верный друг и товарищ. О тебе позаботятся добрые духи вселенной. Хотя что-то, наверное, в этом есть. Только думаю, что ныне здравствующим до наших превращений нет никакого дела. Их это никак не касается. И как при жизни, так и после смерти мы ни на что не можем повлиять. Все напрасно, усилия наши тщетны! Всем на все по большому счету наплевать. Нас нет. И для них. И для нас самих. Контакты с внешним миром утеряны...

– Связь с живыми есть. Я знаю это. До них можно достучаться даже из братской могилы. За нас говорят наши останки, наши полуистлевшие солдатские медальоны, наша неубывающая боль, которая вошла в генную память моего народа. И твоего, думаю, тоже. Расскажу – не поверишь. Однажды я окликнул командира поискового отряда. По отчетству. Его все звали по отчетству. Он шел последним. И обернулся на мой зов. Представляешь? Он оглянулся! Я совершенно уверен, что он не мог меня видеть. Но несколько долгих секунд он смотрел мне прямо в глаза. И он почувствовал это, да, почувствовал! Трудно сказать, что он при этом испытал. Но по его обмершему лицу было видно, что эта встреча потрясла его... И теперь он будет искать меня всюду, куда ступит нога поисковика. До тех пор, пока не найдет...

Садовский заметил, что возле его джипа кто-то вертится. Он подкрался к своему полноприводному другу и схватил за шиворот кучерявого, который, склонившись над раскрытым багажником, внимательно изучал его содержимое. Тот потрепыхался немножко и затих, как котенок, взятый за шкурку.

– А ты лопату не брал? – спросил вражеский лазутчик, чтобы как-то объяснить свои недвусмысленные манипуляции.

– Грозный брал, Гудермес брал, Бамут брал... А лопату не брал, – спокойно глядя ему в глаза, сказал Садовский. Даже в немецкой пилотке и символом дивизии СС «Totenkopf» в правой петлице этот типчик мало напоминал истинного арийца. Почему-то вспомнился «некий жидовин», о котором упоминал блаженный Алексей.

Кучерявый поелозил еще чуть-чуть, но видя, что версия с лопатой явно не лезет ни в какие ворота, потерянно спросил:

– А туда ли я попал?

– Ты попал, но не туда, мой немецко-фашистский друг. Скажем так: ты просто попал.

– Эй, прикурить не найдется? – в отчаянии пискнул кучерявый.

– Прикурить фашистам давал мой дед. В этой самой местности. В сорок втором, – уточнил Садовский.

– Отпусти, блин... Хватит лютовать, земляк... – совсем уж по-сиротски проскулил он.

– Папаша Мюллер тебе земляк. А теперь слушай внимательно. Сначала я тебя придушу. А потом прикопаю. В твою могилку я положу шмайсер, эсэсовский нарукавный ромб и томик Бальмонта. Для эстетического равновесия.

– Поделись сигареткой – будешь мне лучшим другом после Гитлера, – все еще жалобно, но понемногу начиная хохориться проговорил кучерявый.

– Кури, гитлерюгенд, – сказал Садовский, отпуская одесита и протягивая ему сигаретную пачку.

Надо было, конечно, как следует проучить его. И вместе с тем хотелось все-таки понять, что за каша у него в голове. Откуда вообще берутся эти ребята с характерной челкой, глазами оттенка гашеной извести и пузырящимся от идей расового превосходства мозгом. И самое главное – как такое стало возможным на Украине, потерявшей в годы войны едва ли не каждого пятого. Тем более в городе-герое Одессе. Почему в ней взяли верх беснующиеся толпы озверевших нациков и футбольных фанатов, не отличающих эсэсовскую символику от пиратского флага?

Это было непостижимо.

– Зачем ты нацепил на себя все это? – спросил он.

– Не твое дело, – буркнул кучерявый, понимая, что опасность миновала.

– А как же холокост?

По жгучему взгляду, брошенному исподлобья, Садовский понял, что в своих догадках блаженный Алексей был неда-

лек от истины.

– Ты шо, Циля Израилевна, допрос мне как первоклашке учинять?

– Икону у старика ты украл?

– Не. Я и у тебя ничего не крал. Сам искал краденое...

– И что пропало?

– А что упало, то и пропало. Zero problemo!

– Ясно...

Докурили молча. Стало очевидно, что разговор не получится. Нелегко достучаться до человека в человеке, если в нем разбужен примат. А стихия примата – стая...

Давно замечено, думал Садовский, что все беды наших соседей начинаются, как только они поворачивают свои алчущие взоры на Запад и проникаются верой в свою исключительность. За этим неизбежно следует лихорадочное перекраивание истории и мифотворчество без границ. В этом перевернутом мире русофобия становится не только профессией отдельных одиозных личностей, но и способом существования целых партий и государств.

Конечно, трудно любить Россию – страну, где разбиваются дороги, асфальтируются цветники и цементируются детские площадки. Где вор крадет у вора и от бюрократии не застрахован никто, даже сами бюрократы. Это то волшебное место, в котором удивительное уже не удивляет, а поразительное – не поражает. Здесь клопов и тараканов исстари сжигают вместе с избами, воду носят в решете, а абсурд об-

рел крепость и незыблемость традиции. И не понятно – то ли гениев перестала рождать земля русская, то ли дурак измелчал.

Легче, конечно, отгородиться от нее. Вырыть ров, натянуть колючую проволоку, установить пограничные столбы. Это самый простой путь. Ведь Россия – враг и агрессор. А как же иначе? Кто веками угнетал незаможных украинских селян и устроил голодомор? Кто отжал Крым? Кто затеял заваруху на Донбассе?

Застарелые обиды и вздорные обвинения, национализм изо всех щелей, пор и дыр, местячковый фашизм... Упав на благодатную почву, все это рано или поздно переходит в стадию ярко выраженной паранойи.

Жаль, конечно, Украину. Из самой богатой республики Советского Союза она превратилась в беднейшую страну Европы, униженную, выпрашивающую подавание у Международного валютного фонда и раболепствующую перед сильными мира сего. Но мог ли избежать этой участи народ, который отрекся от своей истории, упразднил День Победы и сделал национальным героем Бандеру?

– Ладно, иди, – сказал Садовский, тычком в челюсть провожая непрошеного гостя. – Поймаю еще раз – убью. Честное пионерское...

– Шоб я тебя так забыл, как я тебя помню! – с обидой произнес кучерявый.

– И поосторожнее там. Старожилы говорят – последние

солнечные деньки. Потом пойдут дожди, грибы, партизаны...

Садовский окинул взглядом свои вещи, пытаясь определить, не пропало ли что-нибудь. Заглянул в рюкзак и по некоторым признакам понял, что там завелась мышь. Осторожно выложив все крупные предметы, он устроил ей показательный шурум-бурум. А когда заглянул в рюкзак снова встретился взглядом с поседевшим в одно мгновение зверьком.

– Беги скорей, – проворчал он. – И расскажи всем своим, что бывает, когда пакостишь целому подполковнику запаса...

Тут он заметил записку, прижатую дворником к лобовому стеклу.

«Не спрашивай, кто я. Просто приходи. В полночь. Крайняя по дороге в Пустыню изба. И не зажигай света. Я буду одна...» – было написано в ней.

Почерк ему ни о чем не говорил, бумага – полоска, оторванная от старой газеты – тоже. Никаких геральдических знаков, выходных данных или следов губной помады. Кто бы это мог быть?

Возможно, предположил Садовский, ответ кроется в тексте послания, между строк. Впрочем, это было бы слишком просто. Света с маленькой буквы и пропущенной запятой может оказаться кем угодно. Инженером, к примеру. Полковником. Кем-то из его нукеров. И даже всеми ими вместе

взятыми. Женщина как приманка. Что не исключает вероятности того, что Света именно Света, а не группа товарищей, какая-нибудь другая особа женского пола или банальное электромагнитное излучение.

Конечно, надеяться на это было бы наивно. Как бы это ни тешило его мужское самолюбие. Трудно представить себе, чтобы женщина-экскурсовод, восплавав к нему внезапной страстью и забыв себя, бросилась в его объятия. Не тот темперамент. Да и воспитание не позволит. Алена? Слишком эмансипирована и самодостаточна. Принадлежит к тому типу людей, которые лет до ста катаются на скейтах и прыгают с парашютом, а потом начинают задумываться, не поря ли остепениться и слетать в космос. Всегда окружена толпами поклонников. Зачем ей отставной козы барабанщик? Юля? Эта может. Но слишком сложная для нее комбинация. Проще было бы под каким-нибудь пустяковым предлогом пригласить его в палатку. Остается Аля. Отвергнутая, но не отмщенная. По простоте душевной готовая выплеснуть на своего обидчика кастрюлю горячего борща. И что? Ей тем более незачем под покровом темноты тащиться в Пустыню. Все можно устроить и здесь.

А вдруг это крик о помощи? Точно, ему назначила свидание какая-то таинственная незнакомка. Отсюда и все эти меры предосторожности. Но как она могла пробраться сюда незамеченной? И почему хочет остаться неузнанной? Кто-то из деревни? Тоже маловероятно. Что-то связанное с исчез-

новением иконы блаженного Алексия? И, кстати, что искал в его багажнике застигнутый на месте преступления гитлерюгенд?

Однако, все это выглядело крайне неубедительно. Тут крылось что-то другое. Засада? Но кому он стал помехой и зачем придумывать такой примитивный способ выманить его из лагеря? Можно было просто подкараулить его возле джипа...

Если это Инженер, вызвавший его на поединок, то к чему такая секретность? На рыцаря тубуса и биты это как-то не похоже. С Полковником у него вечный мир. Что касается его подручных, то без ведома своего главаря они не сделают и шагу.

Тогда кто же?

В любом случае готовиться ему следовало не к алькову с деревенской периной и пирамидой пропахших нафталином подушек, а к контактному бою в замкнутом пространстве. К встрече без свидетелей. По невыясненному пока поводу и с неясной целью.

Но чем бы не была продиктована необходимость этой встречи – для него это был вызов. Самое благоразумное, что он мог сделать – не подвергать себя опасности и попросту уклониться от нее. Посмотреть, что будет дальше. Перспектива получить тяжелым тупым предметом по голове, попасть в скверную историю с криминальным подтекстом или провести ночь с особой неопределенных лет и уклончивой на-

ружности, скрытой под непроницаемой вуалью ночи, выглядела малопривлекательной. Человеку немолодому, умудренному жизненным опытом и не отличающемуся крепким здоровьем не пристало ввязываться в такие авантюры. Да, не пристало. Себе, как говорится, дороже...

И потому он твердо решил, что пойдет.

Вечером, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, он обошел окрестности Пустыни. Вся женская половина в лагере Петровича, устав после долгого трудного дня, завалилась спать. Сам Петрович со товарищи пек в догорающем костре картошку ипил недопитый накануне самогон. В стане Полковника было непривычно тихо. Садовский видел, как нырнула в свою палатку Алена. Некоторое время спустя, выпорхнув из «буханки», за ней последовала Светлана-экскурсовод. После «совещания с руководством» разбрелись по стойбищу и остальные члены зондеркоманды. Судя по всему, никто никуда не собирался, все готовились к отбою.

На мгновение Садовский засомневался, стоит ли ему все-ррез воспринимать историю с запиской. Если это чья-то глупая шутка, то тут без вопросов. Он и сам большой любитель розыгрышей. А если нет? Если кому-то понадобилось, чтобы именно в полночь он отсутствовал в лагере? Уж не задумал ли Полковник нападение на поисковиков? Перед отъездом он на всякий случай посоветовал Петровичу не терять бдительности и предупредил его о том, что собирается побывать в крайней избе на выезде из деревни.

– Так она вроде заброшена.

– Тогда познакомлюсь с привидениями, которые там обитают...

– Что-то не нравится мне все это, – нахмурился Петрович, но отговаривать не стал.

Садовский отогнал джип к дому бабы Любы и, выждав некоторое время, пешком вернулся к избушке на окраине Кузьминок. Выглядела она неказисто и мрачновато, словно в ней давно и прочно поселилась нечистая сила или чья-то заплутавшая смерть. Окна были наглухо заколочены, покосившаяся печная труба напоминала вывернутый с корнем пень. Особенно зловеще выглядела яблоня, расщепленная пополам, будто ударом молнии. Отсвет луны в дорожной колее, наполненной водой, казался почти багровым. И даже размытый узор на закрытых ставнях напоминал рисунок гюрзы и вызывал ощущение угрозы. Казалось, вот-вот с треском распахнутая и прозреют слепые оконца и в образовавшихся черных проемах заплещет вырвавшаяся на свободу нежить.

Он дважды обошел вокруг дома, пытаясь понять, есть ли там хоть одна живая душа и продумать пути отступления. Мало ли что. Даже попав в сказку, ты должен знать, где запасной выход. Вдруг, это страшная сказка.

«Куда тебя несет, старый черт? – ругал он себя. – Угомонись, наконец. Да, есть такое волшебное место, на которое мы всю жизнь ищем приключений. Там сначала играет детство, потом колобродит весна, а если доживешь до преклон-

ных лет – хороводит геморрой...»

Он поднялся на крыльцо и осторожно приоткрыл дверь. Никаких растяжек. Значит, взрывать его, по крайней мере, сию минуту никто не собирался. Еще не поздно было повернуть обратно. Но желание разобраться во всей это чертовщине оказалось сильнее...

– Кто ты, добрый молодец или Идолище поганое? Если добрый молодец – давай потолкуем, а если Идолище поганое – выходи на честный бой! – вполголоса проговорил Садовский и шагнул в избу, как в портал, ведущий в другой мир или врата ада, с надеждой, трепетом и страхом, исполненный решимости отбить нападение врага или обнять друга.

– Ну, теперь главное не ударить харизмой в грязь... – прошептал он и внезапно, как это уже не раз бывало с ним в минуты опасности, успокоился.

Его встретил запах плесени, нежилого дома и едва различимая музыка – кажется, это был один известный итальянский певец; его можно было узнать по характерному тембру голоса, словно пел он с зажатым прищепкой носом.

Садовский подумал, что вместо ожидаемой драки с несколькими неизвестными его ждет вполне предсказуемый эрос с гнусавинкой. Трудно сказать, что бы он предпочел, если бы ему предоставился выбор.

– Кто ты, незнакомка, отзовись! – подал голос он.

Тут его губ коснулась чья-то легкая, очевидно, женская рука и вслед за этим он почувствовал, как она спускается к

его рубашке, расстегивая одну за другой верхние пуговицы. По его груди скользнул долгий, жгучий, растянутый, как полыхающий хвост кометы, поцелуй. Он обвинил талию женщины-невидимки руками и, испытывая легкое головокружение, подался вслед за ней в непроницаемую тьму. Вестибюлярный аппарат подсказывал ему, что он изменил вертикальное положение на горизонтальное, рухнув в ворох постельного белья, расстеленного поверх мягчайшей перины на скрипучей железной кровати. Дальше все произошло само собой – жадно и нетерпеливо с ее стороны, чуть насторожено и не слишком настойчиво – с его. А когда объявивший их жар немного спал он вновь попытался заговорить с ней. И снова ее ладонь преградила его уста, словно в этом старом заброшенном деревенском доме давным-давно были позабыты все слова и все они, образовав косяки фраз, целую вечность назад улетели в неведомые края.

– Мучительно хочется курить, – выдавил он из себя. И получил символическую пощечину, означавшую – «нет».

Как странно, думал Садовский, оказаться в этом невозможном, сотворенном каким-то неведомым магом срубе, в который проваливаешься, будто в бездонный колодец и летишь, потеряв счет часам и минутам до полного своего исчезновения. И тем более удивительно, непостижимо, что в этом гиблом, замороченном, кем-то проклятом месте, несмотря на все видимые страхи и опасения правит любовь. Ее незримое присутствие выдает лишь легчайшее, как ду-

новение ветерка, дыхание и игра чутких, почти благоговейных прикосновений. И это вовсе не иллюзия, не сон и не бред одинокого, истосковавшегося по женской ласке мужчины, понимающего, что даже самые сильные из нас, восталь побитые жизненными ветрами, огрубевшие и одичавшие нуждаются в подпитке нежностью любящей женщины. Принимая столь щедрый дар, он молил лишь об одном – чтобы это длилось как можно дольше. И было неважно, что за этим последует – горечь прощального поцелуя, возмездие Венеры или тупое вероломство зазубренного кухонного ножа. Мгновение за мгновением кто-то продолжал гладить и ерошить его волосы, ласкать губами, сжимать и покусывать плоть, словно возвращая его себе после долгой разлуки и пытаясь запечатлеть в тактильной памяти таким, каким он был здесь и сейчас – надолго, навсегда. А он лежал с воображаемой сигаретой во рту, наблюдал за поднимающимся к потолку воображаемым дымом и гадал, кто же та, что находится рядом, прижавшись к нему всем своим податливым, текучим, удивительно нежным, не имеющим четких границ телом. И что будет дальше.

А потом до его слуха донесся едва различимый, будто шелест сонных камышей с противоположного берега реки, отзвук: «Уходи». Он подчинился. И как околдованный, чем-то навеки опоенный побрел неизвестно куда, утопая в клочьях дремлющего над лесным разнотравьем тумана.

На раскопе он оказался лишь поздним утром.

– Ну что? – спросил Петрович.

– Там – ничего. А тут?

– Аналогично. Ночь прошла спокойно. Звонки в дежурную часть не поступали...

– Наши все на месте? Никто никуда не уходил?

– Все как обычно. А почему ты спрашиваешь?

– Да так, показалось...

– Ну, тогда – за дело. Бойцы ждут...

Но работа как-то не заладилась. Одолевали мысли и воспоминания о событиях минувшей ночи. Ну вот, рассеянно думал Садовский, я и познакомился с хорошей, хотя и немного загадочной женщиной. Буду ухаживать за ней, поливать комплиментами, удобрять цветами и конфетами... Только вот не известно, где ее теперь искать, кто она и как выглядит. Может, уродина какая. Но это, в общем, и не важно. Главное, что женщина хорошая. Хотя, как уже отмечалось выше, и немного загадочная...

Он специально утрировал, опасаясь признаться даже самому себе, что несмотря на выработанный годами гомеопатический иммунитет к любви и к серьезным привязанностям отравлен ее чарами. Волшебница, кудесница, ворожея или просто ведьма. Все в ней есть – и обаяние ромашки, и отрешенность ковыли, и колючки чертополоха. Чем берет – непонятно. Но запомнилась вспышка ярко пережитого, блаженного почти до боли состояния, словно на какое-то мгновение

тоска о несбыточном вдруг отступила и несбыточное – сбылось. Подаренный ею мир и совершеннейший покой оказался светел, свят и непреложен. И слишком короток, слишком обманчив, чтобы не понимать: наступит ночь и все это исчезнет, и в нем вновь закипит кровь и проснется непреодолимая тяга к ее темным прелестям, звериная тоска по сучьему теплу...

Покопавшись в земле, Садовский зачехлил саперную лопатку и направился в лагерь. У костра всю кошеварила зажатая в топик с рискованным декольте Аля.

«У нее, кажется, был ребенок. С него, с ребенка, и начнем», – решил Садовский.

– Ну как наш мальчик? – спросил он у поварихи.

– В смысле?

– Ну, растет?

– У меня девочка...

– А... Вообще-то, чтобы получилась девочка нужен сначала мальчик.

– Железная логика... А с мужем у меня все в порядке. Прошу не беспокоиться и не беспокоить...

«Да нет у тебя никакого мужа», – чуть было не сказал Садовский, но удержался, не сказал.

«Нет, не она», – подумал он, покосившись на ее декольте, из которого просилась наружу, как дрожжевое тесто из квашни, исполненная величия грудь. У его ночной шептуньи эта часть тела была не столь объемна и рельефна.

«Тогда кто»?

– Ты чего уставился? – вывела его из задумчивости Аля. –

Не про тебя товар...

– Не мешай мне получать эстетическое удовольствие. Ты – отдельно, грудь – отдельно.

– Небось, осуждаешь?

Привычка к кокетству оказалась в ней сильнее напускной неприязни, которую она так старательно ему демонстрировала.

– Я еще не впал в старческий маразм. У меня нет потребности заседать в президиуме, делать замечания девочкам по поводу слишком коротких юбок и ругать власть за удорожание проезда в общественном транспорте.

– Ну тогда полный порядок. А то я грешным делом тут подумала... Может, сгоняешь за кока-колой? Чтобы погасить пожар...

– Сегодня я немного нездоров. Как физически, так и финансово.

– Нужны деньги? Так я дам...

Прозвучало это несколько двусмысленно.

– Не надо. Гуляем на все! Да... Недолго же мы будем гулять, если на все...

– Кое-кто уже нагулялся. Кое-кому уже достаточно, – подходя к костру, сказала Юля. Выглядела она обычно – никаких голубоватых теней под глазами или обнадеживающих искринок в глазах.

– Не ревнуй, подруга, мне этот пустоцвет и даром не нужен, – усмехнулась Аля.

– Привет тебе, Дейенерис из дома Таргариенов, Кхалиси Дотракийского Моря, Матерь Драконов, трижды выжившая после шаурмы...

– Ты пьян?

Юля была явно не расположена к шутливому тону.

«Ну вот, – подумал он, – опять не с тех зашел».

А все почему? Женщина ждет продолжения со счастливым концом, мужчина – с открытой концовкой. Ждут они, как правило, разного.

– Из всех видов опьянения – алкогольного, наркотического, токсикологического или любого другого я выбираю опьянение любовью.

– Точно пьян. Это ты в деревне так наугощался, что до сих пор очухаться не можешь?

– Кто сказал?

– Петрович. Он тут объявил нам высшую степень боеготовности. И как-то так намекнул, что может быть этой ночью нам придется тебя выручать. Вижу ты сам справился...

– Я бы так не сказал...

Увидев, что дело близится к обеду, к ним присоединился Андрей.

– Садись, касатик. Накормлю, – нежнейше пропела Аля, помешивая поварешкой борщ в кастрюле.

– И ты тоже, – бросила Садовскому она, вложив в это «то-

же» всю силу своего сарказма. – А где?

– Петровича с напарником не ждите, он придет позже.

Разговор за столом не клеился. Андрей пытливо поглядывал то на Юлю, то на Алю. Аля, страдальчески подперев подбородок, смотрела, как он орудует ложкой в солдатском котелке и по-бабьи вздыхала. Юля отмалчивалась и старалась не обращать внимания на Садовского, словно его тут и не было.

Он терялся в догадках – она, не она. Если она, то более талантливой актрисы видеть ему еще не приходилось. Ведь бывает так: встретились два тихих омута. Познакомили своих чертей. И устроили ад, гореть в котором приятно и весело. Но ничто не свидетельствовало о том, что это случилось или могло бы случиться именно с ней.

Сама собой навалилась накопившаяся в последние дни усталость. Итоги его пребывания в Пустыне были неутешительны. Его попытка отыскать деда, как это ни прискорбно, не увенчалась успехом. Оставалось лишь засвидетельствовать свое почтение Петровичу и под каким-нибудь благовидным предлогом убраться восвояси. Но прежде – выяснить, кто же все-таки та таинственная незнакомка, которая всякому времени суток предпочитает ночь...

До вечера он проспал в своем джипе, а когда проснулся – увидел на берегу речки Алену, которая нещадно хлесталась со своим тренером в спарринге. Его всегда поражал несокрушимый боевой дух этой легкой и хрупкой, как фарфоро-

вая статуэтка женщины. Этого боевого ангела. Но то, что он видел перед собой не имело отношения ни к универсальному бою, ни к спорту как таковому. Казалось, еще немного и тренировка превратится в настоящее побоище. Тренер витал над Аленой, как коршун над ласточкой и искал лишь удобного случая, чтобы закогтить ее. Однако в самый последний момент ей все же удавалось выскользнуть из-под распростертых крыльев его черного кимоно и разорвать дистанцию. Все это могло закончиться серьезной травмой, поэтому Садовский решил вмешаться. Но не успел: тренер, очевидно не выдержав взятого темпа, выдохся и скрестил руки. Затем без лишних объяснений развернулся и направился к дереву, на котором висело белое, как знак капитуляции полотенце. Алена, переводя дух, присела на корточки.

– Привет, драчунья! – сказал Садовский, подходя к ней.

Она лишь устало кивнула ему.

– Я смотрю тут на набережной работают клубы по интересам. Разрываюсь между двумя желаниями – записаться в кружок бальных танцев или заняться кувалдоверчением на пляже. Но ты, я вижу, нашла себе дело по душе – молотить старого больного хулигана...

– Этот старый больной хулиган любого молодого в гроб загонит. Не мне тебе объяснять – ты все видел сам...

– На тебе лица нет. Плохо спится?

– Спится всегда плохо, – скаламбурила она. – Поэтому веду здоровый образ жизни...

Она не без усилия поднялась на ноги и нетвердой походкой направилась в сторону своей палатки, бросив на ходу.

– Извини, мне надо умыться и переодеться. Пообщаемся как-нибудь в другой раз...

– А как поживает твоя соседка? – спросил он, неохотно отпуская ее.

– Светлана? Переводит с немецкого и обратно.

– Мне бы с ней увидеться...

– По какому вопросу?

В глазах Алены вспыхнул искренний интерес.

– По личному.

– Жди здесь. Я ее позову...

Он присел на пригорок и стал ждать. Ждать пришлось довольно долго. За это время немного подрос лес, пожухла нежно алеющая на закате солнца трава. Все вокруг в одночасье изменилось, стало другим. Даже речка-Ларинка зажурчала как-то иначе – тише и задушевнее.

Где-то здесь лежит его дед. Но встретиться им уже не суждено. Где-то здесь встречает рассветы женщина, которая могла бы избавить его от одиночества. Но она так и осталась неузнанной. Обычная история. Еще одно многоточие в бесконечно длящейся, безостановочно куда-то бегущей, ни на мгновение не замирающей жизни. А ты все ждешь, что кто-то большой и сильный возьмет тебя за руку и отведет туда, где твое существование обретет смысл, душа – покой, а сердце любовь. Не жди. Никто и никуда тебя не отведет. Ты сам

должен сдвинуть себя с мертвой точки, взять за шиворот и швырнуть туда, где все это возможно, где есть шанс родиться заново и стать, наконец, тем, кем ты был всегда. И в конце пути, когда тебя просветит последний и первый наш рентгенолог тебе будет чем оправдаться. Тогда и обретишь ты свое место, о котором ныне не ведаешь. И будешь достоин этого места, и это место будет достойно тебя...

– Вы хотели со мной поговорить? – услышал он за спиной голос Светланы. Неуверенный, как будто чувствующий за собой какую-то вину. В то же время в этом голосе ощущалось недоверие. Быть может, к мужчинам как виду. Или к нему конкретно как представителю этого вида. А может ему просто показалось.

– Да, – сказал Садовский, вставая.

– О чем?

– Я зашел в тупик. И мне нужна ваша помощь...

– Чем же я могу вам помочь? – слегка удивилась Светлана.

– Я хочу знать содержание бумаг, которые вы перевели для Полковника. Возможно, это последний шанс найти моего деда.

– Там нет ничего, что может вам помочь. К тому же я обещала не разглашать...

– Зачем же разглашать? Поделиться...

– Нет, не могу.

– А карта местности у вас есть? Меня интересует, как вы-

глядела Пустыня во время войны.

– Карты нет. Но можно поискать в интернете.

– Был бы очень признателен.

– Здесь очень плохо берет. Но я попробую...

Она уткнулась в свой гаджет, отгородившись от него челкой. А он, пользуясь возможностью внимательно рассмотреть ее фигуру, попытался сравнить свое визуальное впечатление с тем, что помнили его руки. И чтобы притупить ее бдительность непрерывно развлекал ее разговорами.

– Трудно в этом признаться, но я технологически отсталый мужчина. С недостаточно развитой инфраструктурой. У меня нет ни дома, ни дачи, ни престижной иномарки. Кстати, я до сих пор не умею пользоваться скайпом, у меня старенькая Нокia, убитый внедорожник. В музыке предпочитаю ретро. Да, еще я держу томик Тютчева под подушкой. Помните?

И отягченную главою,

Одним лучом ослеплены,

Вновь упадаем не к покою,

Но в утомительные сны...

В общем, готовый пенсионер! Стоял как-то в дьюти-фри в очереди – с бальзамом на травах и двумя сотенными в руке. Передо мной какой-то хорошо одетый мужчина. В облаке дорогого парфюма. Смотрю – купил подарочный коньяк за 10 тысяч. Расплатился с помощью телефона. И тут я почувствовал себя каким-то редким ископаемым. Ржавым комбайном

на ржаном поле. Но не это главное. Я теперь не знаю, с какой стороны подходить к женщине. Они все с айфонами. И рождены, чтобы жить в айфоне. А я не хочу жить ни с айфоном, ни с женщиной в айфоне, я хочу жить с женщиной...

– Вот, нашла, – сказала Светлана, протягивая ему смартфон, на экране которого мерцала расплывчатая зеленая клякса с топографическими знаками.

– Если девушка доверила тебе самое ценное, что у нее есть – свой телефон – то как порядочный человек ты обязан на ней жениться, – сказал Садовский, разглядывая нанесенную на карту обстановку – немецкий опорный пункт и очень приблизительное расположение наших войск. Масштаб карты не позволял вникнуть в детали. А без них она была бесполезна.

Светлана никак не отреагировала на его тираду. Трудно было представить себе, чтобы эта внешне холодная, пребывающая в эмоциональной заморозке женщина оказалась страстной, ненасытной, щедрой любовницей. Но он бы не поручился, что это невозможно. Ее способность к преобразению однажды приятно удивила его. Хотел бы он удивиться еще раз? Пожалуй. Ведь именно такие тихушницы зачастую оказываются тигрицами в постели.

– Ну, я пойду? – робко, словно отпрашиваясь у него с урока, спросила Светлана.

– Что ж, тогда задача не имеет решения.

Похоже, подумал Садовский, встреча в ослепительном мраке заброшенной избушки больше не повториться. Чары

развеялись. Тут и сказке конец...

«Зачем я на это пошла? Чего хотела добиться? Не знаю...»

Конечно, я сразу его узнала. Хотя за эти годы он сильно изменился. И внешне, и внутренне. До неузнаваемости, если уж говорить начистоту. И эта неузнаваемость характеризовала его отнюдь не с лучшей стороны. Но, говорят, именно с возрастом в человеке проявляется его истинная суть.

Теперь это был потрепанный жизнью уставший мужчина, типичный неудачник, пытающийся сохранить лицо. Его выдавали только глаза. Глаза, которым по-прежнему хотелось верить. И безоговорочно подчиняться...

У меня не укладывалось в голове, что передо мной – человек, которого я любила всю свою жизнь. Или мне так только казалось? Если бы я встретила его таким, каким он стал – разве смогла бы я в него влюбиться? Риторический вопрос. Или во всем виновата литература? Слишком рано прочитала я новеллу Стефана Цвейга «Письмо незнакомки». Слишком сильное впечатление она на меня произвела...

Но всему есть объяснение. И моему безрассудному поступку – тоже. Потратив столько душевных сил, испытав все – и муки неразделенной любви, и унижение, и крушение всех своих надежд, я решила положить всему этому конец. Взять реванш. Отомстить. За свою исковерканную жизнь. За то, что при встрече он даже не удосужился меня вспом-

нить. За все плохое, что привносят в этот мир, задуманный благостным и совершенным, представители так называемого сильного пола – сексизм, мужской шовинизм, либерализм, бюрократизм, парламентаризм и глобальное потепление. И не просто отомстить. Мне страстно захотелось заставить его без памяти влюбиться, довести до белого каления, до умопомешательства. Потом вырвать из его груди дымящееся сердце, а тушку выбросить на неорганизованную свалку. Таким, в общих чертах, был мой план.

Но почему, спрашивала я себя, все сложилось так, а не иначе? Почему теперь и навсегда я – раненая птица, а он – сбитый летчик? Неужели моя любовь с самого начала была обречена?

Чтобы понять это, надо, наверное, как следует покопаться в себе, обратиться к ранним своим годам и впечатлениям, ставшим определяющими в моей дальнейшей судьбе. Положить себя на кушетку и с бесстрашием психоаналитика пропальпировать всю свою жизнь.

С чего же начать?

Историю своей семьи я знаю плохо. Можно сказать, не знаю совсем – многое из того, что рассказывала мне моя бабушка, а потом и мама уже подзабылось. В Новгородскую область мои предки пришли откуда-то с Украины, кажется, с Ровенины, где они мыкали свое горе-злосчастье до конца девятнадцатого века. Но и на новом месте беды преследовали их по пятам. Видно, суждено нашему роду вечно

строиться, сгорать дотла и без конца бродить по свету в поисках лучшей доли. Один мой двоюродный дедушка сам себя сжег. Вместе с домочадцами. Было это недалеко отсюда, в деревне Пустыня. Сейчас ее уже нет, осталось только урочище. Он был священником, служил в местном храме. В 1937 году, когда за ним пришли, чтобы арестовать, он запер изнутри дверь и поджег дом. Понимал, что его как врага народа рано или поздно расстреляют, а семью сошлют в Сибирь на верную смерть. Сам священник, его жена и дочь сгорели заживо. А вот маленького сынишку вытащила из огня старшая сестра священника, моя бабушка.

У бабушки были сильные ожоги. Потом они прошли, остались только рубцы и темные пятна, а травма руки закончилась гангреной и ампутацией кисти. Мальчишка – получается, мой двоюродный дядя, выжил. Бабушка приютила его у себя, приняв как родного. Она с мужем и дочерью жила тогда в деревне Свиной. Сейчас это Ключи.

Некоторое время все было хорошо, но вскоре все стали замечать, что мальчишка странный какой-то, немного не в себе. Через год его отправили в психиатрическую больницу. Там он и находился до прихода немцев, после чего куда-то пропал.

Во время войны Свиной испытал на себе все ужасы фашистской оккупации. В доме бабушки поселились немецкие офицеры. А ее с дочерью и младшей сестрой переселили в землянку, вырытую в огороде. Конфисковали все, что мож-

но было съесть – поросят, кроликов, уток и кур. Бабушка, надеясь что-то спасти, припрятала парочку цыплят, но педантичные немцы изъяли и это. Один из них забавы ради метнул ей в спину нож. Нож воткнулся в дверь – каким-то чудом бабушка успела ее за собой прикрыть.

Во всем домашнем хозяйстве осталась только корова Зорька. Благо, кружке молока солдат вермахта рад не меньше, чем рюмке шнапса. Что-то перепадало и своим. Только это и спасло нашу семью от голодной смерти. Бабушка стала называть свою единственную кормилицу Ненькой. После освобождения Свинороя на корову в знак благодарности надели огромный красивый венок, который ей тут же и скормили.

Война принесла много горя. Весной сорок второго погибла единственная дочь бабушки, еще школьница – попала в облаву и была повешена за помощь партизанам. Жуткая история.

Младшую ее сестру угнали на работы в Германию. Ей повезло – ее взяли в немецкую семью гувернанткой. Вернулась она спустя лет десять. Всю жизнь была аккуратной, очень обязательной, одинокой и несчастной. Замуж уже не вышла – люди в деревне ее сторонились.

Но нет худа без добра – нашелся сын погибшего брата-священника. Правда, у него опять стало что-то с головой и его пришлось поместить в областную клинику. Видимо, сказала травма детства. Потом он вернулся. Учился

плохо и занимался, в основном, тем, что пас в свиней. Поговаривали, что впоследствии он ушел в монастырь. Такая у него была стезя.

Разрушенный во время боев за Свиной бабушкин дом отстроили заново. Но семейное проклятие и тут настигло ее: он тоже сгорел и ей пришлось перебраться в Кузьминки. Там ей как жене инвалида войны дали другое жилье. В нем и родилась моя мама. От деда, вернувшегося с фронта без рук без ног. Бабушка называла его ласково – «мое солнышко». Скончался он еще в начале пятидесятых.

Выйдя замуж, мама переехала в город. Я была вторым, поздним ребенком в семье и по сложившейся с незапамятных времен традиции каждое лето проводила в деревне у бабушки. Теперь, вспоминая о ней, я понимаю, что это была незаурядная женщина. Она отличалась волевым характером, феноменальной памятью и необычайной набожностью. Была по-житейски мудра и проницательна. Ее дом был самым уважаемым в деревне. К ней все шли за советом или же просто, как она говорила, «погутарить». Украинизмы так и не ушли из ее речи, хотя на своей исторической родине она никогда не бывала. Что-то передалось и мне.

Не знаю почему, но я очень боялась бабушку и воспринимала ссылку в Кузьминки как наказание. Нет, она никогда не повышала на меня голос и уж тем более не поднимала руку. Но когда приезжали родители я плакала и просила увезти меня домой. «Тебя здесь обижают?» – спрашивали они.

«Нет. Но почему я здесь все вижу и слышу, но ничего не бачу и не чую?» – отвечала я.

Позже этот страх прошел. Появилась глубокая привязанность – к бабушке, к ее певучему малороссийскому говору, к мелодичным украинским песням, к этим диковинным, дремучим, почти сказочным местам.

Маленькими мы часто играли в прятки недалеко от бабушкиного дома, в «провалье». Поле здесь было сплошь усеяно глубокими ямами и рытвинами. Поговаривали, что это следы оставшихся с войны окопов, блиндажей и воронок от снарядов. На этом же поле стояли большие мрачные сараи, которые бабушка называла «клунями». Там мы и прятались, зарывшись в сено. До сих пор помню его душистый запах...

Однажды я спросила бабушку, а правда, что здесь когда-то шли тяжелые бои? Она не любила вспоминать об этом. Но в тот раз не ушла от ответа и, крестясь, сказала: «Правда. Немец на холме стоял. А наши эж, бидененьки, в «провале», як на ладошке. Тильки пиднимуться, их так и косят, так и косят»...

По ночам бабушка и ее соседи собирали раненых красноармейцев, чтобы спрятать их в землянках и в тех самых «клунях». Особенно запомнился ей один молодой парнишка, раненый в живот. «Девочки, спасите, – умолял он. – У меня мама с сестренкой под Рязанью. Один я у них». Не спасли. Утром с первыми лучами солнца его голубые, как у Есенина

глаза навсегда заволокло туманом.

«А ты не боялась? Это ж все под носом у врага произошло!» – потрясенно воскликнула я, выслушав ее рассказ. На что она ответила: «Та нико́лы́ було́ боя́ться». «Почему же тебя за этот подвиг не наградили?» – не унималась я. «Та таке. Мы все такими были!»

Бабушка прожила долгую и трудную жизнь, но никогда не жаловалась на свою судьбу. Чуть ли не до самой смерти она продолжала трудиться, обрабатывая огород в сорок соток. Что это такое я поняла лишь годы спустя, когда упахалась на даче, где землицы было раз в пять меньше.

Она очень любила огурцы. Помню, как поставив перед собой огромный таз с «желтяками» и прижав к груди терку, бабушка одной рукой делала «огуречную икру». К девяноста годам у нее не было уже ни одного зуба. Эта любовь к огурцам передалась и мне. И теперь, разрезав «желтяк» пополам, я обязательно посолю его, потру половинки друг о друга, вдохну этот упоительный аромат и вспомню бабушку...

До последнего дня жизни она ухаживала за собой сама. Но даже не это больше всего поражало меня в ней, в ее твердом, как засохшая краюха хлеба бескомпромиссном характере. Она не уставала повторять, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя лгать. И прожила свой век не по лжи. Наверное, это стояние в правде сильно осложняло ее отношения с людьми. И в то же время вызывало искреннее уважение односельчан.

Я не такая. Но всякий раз, когда мне приходится юлить и изворачиваться, ища выгоду или пытаюсь избежать неприятностей, я чувствую на себе предостерегающий взгляд бабушкиных глаз.

Если говорить о наследственности, то я скорее в маму. И внешне, и внутренне. В молодости она была такая красивая, загорелая и легкая в общении, что даже незнакомые мужчины часто делали ей комплименты.

– Вы, наверное, с какого-нибудь курорта приехали. Так шикарно выглядите...

– Из Свинороя я. Природа там у нас удивительная... – с улыбкой отвечала она.

Мне такие замечания никогда не нравились. Скорее, раздражали. Испытав на себе все прелести мужских домогательств и скабрёзного остроумия, я с юных лет воспринимала свою внешность как еще одно семейное проклятие. Но у меня была мечта – полюбить одного-единственного мужчину, выйти за него замуж, нарожать кучу детей и быть верной своему суженному всю жизнь, пока смерть не разлучит нас. Чтобы все было в точности как у моей бабушки.

И вот однажды я увидела его...

Мне было шестнадцать лет. Мы проходили спортивные сборы в маленьком курортном городке на берегу Черного моря. Я тогда занималась греблей. И была вся такая романтическая, бегущая по волнам с веслом в руках – навстречу алым парусам. Но он оказался не капитаном Греем, рекорд-

сменом в классе «яхтсмен-одиночка», а майором, командиром разведбата.

Был какой-то праздник, кажется, День ВДВ. Во главе группы десантников он показывал приемы рукопашного боя с оружием и без. Оглушенная автоматными очередями и взрывпакетами, ослепленная разноцветными дымами и фейерверками толпа просто редела от восторга. Он был стремителен, как горный поток, ловок, как тысяча чертей и красив, как бог войны.

Когда показательные выступления закончились его попросили провести для нашей шлюпочной команды «Урок мужества». Не помню, о чем он рассказывал – я пребывала в каком-то сладостном дурмане. Мне казалось, что взгляд его обращен только на меня, а слова – только ко мне. Стоит ли говорить, что я влюбилась в него без памяти.

В моей голове тут же сложилась и заиграла мозаика. Нет, целый мозаичный триптих: он подходит, нежно берет меня за руку, потом достает бархатную коробочку, а в ней кольцо с бриллиантом. Протягивает его мне и предлагает выйти за него замуж. Фанфары, марш Мендельсона, мы отправляемся в загс...

В общем, обычный девичий бред...

Каждый вечер я приходила на контрольно-пропускной пункт части, где он служил и с замиранием сердца ждала случайной встречи с ним. Однажды он проехал мимо на узике. Заметив меня, помахал мне рукой из окна и улыбнулся

одной из самых обворожительных своих улыбок. В другой раз я увидела его на побережье. Издалека. В сопровождении поразительно красивой женщины восточного типа. О, какой это был удар! Испытав все муки ревности, я поклялась забыть его. И мне это почти удалось...

Я вернулась в свой город и после окончания школы устроилась работать ведущей одной из новостных программ областного телевидения. Без всякой подготовки и без специального образования. Параллельно подрабатывала в качестве фотомодели и штурмовала подиум. Я была нарасхват, от поклонников не было отбоя. Но никого даже отдаленно похожего на мой идеал в этой толпе не было.

И вдруг...

Участвуй в предварительном отборе городского конкурса красоты, я вышла на сцену в купальнике и увидела в зале его. На нем была какая-то странная форма. Кажется, такую носили тогда в налоговой полиции. Я проследила за его взглядом. Он оценивал меня как скаковую лошадь: ноги, круп, морда, грива. Впервые в жизни это не вызвало у меня отторжения. Я видела, как по окончании осмотра экстерьера у него загорелись глаза...

Сама не своя от волнения, я споткнулась и едва не запошла дефиле. Но все обошлось. Среди двадцати пяти других участниц я прошла в следующий тур.

Он ждал меня возле служебного входа. Это было так неожиданно... И так ошеломляюще приятно. В его руках

был невесть откуда взявшийся в этот поздний час букетик полевых цветов, купленный, должно быть, в подземном переходе у какой-нибудь старушки.

Он пригласил меня на чашку чая. Здесь, недалеко. Буквально в двух шагах. Но шли мы с полчаса, не меньше. Я сразу поняла, что он твердо решил переспать со мной. Я твердо решила, что без штампа в паспорте этому никогда не бывать. Но его решение оказалось тверже. Действуя изобретательно и сноровисто, он, выражаясь военным языком, взломал мою оборону на всю тактическую, оперативную и стратегическую глубину. И стал первым моим мужчиной...

А через три дня во время финала ко мне за кулисами подошли какие-то мутные типы и предложили сняться с дистанции. Иначе, сказали они, будет плохо. Я не приняла эту угрозу во внимание. И стала победительницей конкурса красоты. Жаль, что этого не видел он – в тот вечер его не было в зале, хотя я настойчиво звала его прийти и разделить мой триумф. В том, что победа останется за мной я несколько не сомневалась.

Все закончилось очень скверно – на темной безлюдной улице мне проломили голову битой. Вместо поездки на конкурс «Мисс Россия» и многообещающих контрактов модельных агентств – кома. Провалявшись несколько месяцев в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой, я кое-как выкарабкалась. И даже сумела избежать инвалидности. Мне до сих пор больно смотреть на фотографии той поры,

где я похожа на коротко стриженную певичку Шинед О'Коннор. В то время я представляла собой жалкое, пронзительно печальное существо со взглядом затравленного зверька. А все потому, что его в тот момент не оказалось рядом. Почему он не пришел так и не узнала. Наверное, была на то серьезная причина...

Так или иначе, дороги наши разошлись. Надолго. С тех пор все в моей жизни пошло наперекосяк. Какая-то черная беспросветная полоса. С телевидения меня уволили. Последней каплей стала большая спутниковая тарелка, которую сняли с моей квартиры по распоряжению генерального. Меня лишили последней отрады – ящика, показывавшего несколько сот каналов, в том числе на французском языке, который я изучала в школе. И вот сижу я у разбитого корыта, ревя реву и слушаю радио...

Так продолжалось довольно долго. Но однажды я все-таки отскребла себя от кровати и подала документы в университет. Поступила. А потом возле меня как-то сам собой образовался муж. Без всяких усилий с моей стороны. По недогляду. Завелся, как приبلудный кот.

Родила я на бегу, получая второе высшее. Когда вынашивала ребенка никто до самого последнего момента не мог заподозрить меня в беременности. Новорожденный вылетел, как пуля, я даже ничего не успела почувствовать. Врачи диву давались – случай уникальный.

Мое отсутствие в университете не прошло незамечен-

ным – я пропустила экзамен по логике. Преподаватель начал выяснять, по какой причине. Ответ: «Рожала». Как это? Что вы такое говорите? Где же логика? До сих пор помню его непонимающий взгляд поверх очков.

Экзамен я сдала. Успешно. И окончила вуз с красным дипломом.

Потом начались мучительные поиски работы. Я была и художником-оформителем, и парикмахером, и сторожем, и гидом, и спасателем. Но устроиться по специальности мне так и не удалось.

Что-то зарабатывал муж. Но этого едва хватало на жизнь. Единственной моей отрадой был маленький сынишка. Он был на удивление спокойным, солнечным ребенком. Я с легким сердцем оставляла его дома наедине с сиамской кошкой, которая его охраняла, и шла по неотложным делам.

Как-то мне предложили место секретарши у одного местного олигарха.

– Что входит в мои обязанности? – спросила я.

– Будешь делать все, что я захочу, – безапелляционно заявил он. – В любое время дня и ночи...

На что я ответила:

– То, чего я не хочу вы не заставите меня сделать ни за какие деньги. Даже если будете ходить по-большому золотыми слитками.

На этом наш разговор закончился.

В полной мере испытав на себе мытарства «человека с улицы», я задалась целью замутить тепленькое местечко по знакомству, по звонку. Отец, не последний человек в городе, обратился к своему старому товарищу, прокурору района. Мол, прими на работу дочь. Тот согласился – пусть приезжает.

Едва я переступила порог прокурорского кабинета как он сказал:

– Помой руки.

Помыла.

– Теперь надень вот это...

И бросил мне мужскую рубашку.

– Зачем?

– Ты что, не поняла? Ты же на работу пришла устраиваться. Вот и устраивайся. Поудобнее. На диване...

Я поняла, что передо мной альфа-самец, решающий вечную проблему: с кем бы поделиться своим генетическим материалом...

И выпорхнула из кабинета, как птица.

Был большой скандал. Отец возмущался: чудовище, как ты посмел, это же моя дочь!

Ответ прокурора обескураживал: а я думал любовница...

В следующий раз мы решили пойти другим путем – занести взятку. Но служители Фемиды предложили такую неподъемную сумму, что потребовалось бы продать полквартиры. Пришлось отказаться...

Чтобы как-то свести концы с концами нам приходилось каждое лето уезжать в деревню. Бабушка была еще жива и встречала нас радушно. Но муж мой, который бывал в Кузьминках наездами ей сразу не приглянулся. Она считала его никчемным человеком и была уверена, что мы не подходим друг другу. Свое мнение, правда, держала при себе, не желая разрушать нашу семью. Я тогда не придавала этому особого значения. Ребенку нужен отец. Поэтому пусть в доме будет хоть какой-то, но муж.

Первый звоночек прозвенел в тихий июльский вечер. Супруг мой в очередной раз прибыл из города – повидать сына и обнять жену. В честь такого события бабушка закатила настоящий пир – зарезала парочку кур, выставила на стол все свои соленья-варенья, достала горилку. Пили мы ее из стограммовых «полустаканчиков». «Какие маленькие, а уже граненые», – блаженно подумала я. «Деточка, будь осторожна. Она, зараза, крепкая», – предупредила меня бабушка. Но мне было так хорошо, что я не придавала значения ее словам и продолжала упиваться горилкой, как колодезной водой. Вечер действительно выдался чудесный – мы сидели во дворе под яблонькой, светила огромная луна, вокруг лампы кружилась мошкара, воздух был пропитан каким-то неуловимым ароматом цветов и трав. И, что меня особенно умиляло – то и дело на стол с гулким стуком падали яблоки.

На ночь бабушка положила нас в светлице со свежесвыбе-

ленными стенами и иконами, обрамленными белоснежными руиниками с целующимися голубями. Когда я поняла, что все вокруг – и потолок, и лики святых, и птицы мира начинает бешено вращаться и меня вот-вот стошнит пришлось срочно растолкать мужа. Он, полупьяный и полусонный, вывел меня во двор и потащил в «провал». Мне было так муторно, что я не понимала, куда и зачем иду. После рвоты в голове вдруг прояснело. Но легче от этого не стало. Тут муж неожиданно воспылал страстью и буквально изнасиловал меня в «клунях». Сделав свое дело, он уснул. А я лежала растерзанная и опустошенная на охапке сена, глядя на льющуюся через край луну, слушая хор взбесившихся кузнечиков и вдыхая терпкий запах чабреца (название божьей-родительской травы, как называла это чудодейственное растение бабушка, как-то само собой всплыло в памяти) и не вполне осознавала, чего мне хочется больше – придушить мужа, перебить всех стрекодящих тварей или тихо умереть самой...

С тех пор наша интимная жизнь окончательно разладилась. Муж, подозревая, что у меня кто-то есть изводил меня своей ревностью. Любила ли я его? Не знаю. Любил ли он меня? Теперь уже неважно. Нас окончательно рассорил один нелепый случай. Он уличил меня в измене, которой по факту не было. Я не стала с ним спорить. Просто подала на развод.

Все началось с того, что к нам заехал его друг, человек

не бедный, отнюдь не скупой и, в общем, мне симпатичный. Мужа дома не было. Я тоже ждала его – зачем-то он мне понадобился. Друг предложил скоротать время в каком-нибудь кафе. Я согласилась. Тем более, он был на машине, а я как раз собиралась заскочить в бутик, где накануне купила дорогушие босоножки. Зачем я это сделала – ума не приложу. Носить-то их мне все равно было не с чем.

Снизу я подклеила босоножки лентой, чтобы можно было сдать их обратно как новенькие и поехала в них в кафеешку, предусмотрительно засунув в сумочку запасную пару. Поужинали. Все было прекрасно – меню, учтивый официант, ненавязчивая музыка. Но на выходе я умудрилась споткнуться и, падая, зацепиться за дверную ручку. Мой провожатый успел меня подхватить, но топик, который был на мне, с треском порвался. Я осталась топless. Публика была в восторге. Кто-то даже запечатлел мой конфуз на телефон. Я юркнула в дамскую комнату, где попыталась привести себя в порядок, однако из этой затеи ничего не вышло. Прижимая лоскутья топика к груди, я проворно запрыгнула в мерседес, но не на переднее сиденье, где через лобовое стекло открывался прекрасный панорамный обзор и я была видна, как на витрине, а на заднее, где стекла были затонированы. И мгновенно залила свои восхитительные белые шорты какой-то бурой жидкостью. Друг мужа оказался заядлым кофеманом и имел привычку ставить туда пластиковый стаканчик кофе с крышечкой, о чем, естествен-

но, забыл меня предупредить.

Чтобы хоть немного привести шорты в порядок я обратала их влажными салфетками. Но они быстро закончились, поэтому нам пришлось ехать в аптеку за новыми. Пока мой кавалер ходил их покупать, я сняла мокрые трусики, положила их в сумочку и натянула на себя заляпанные кофейными пятнами шорты. Но что делать с порванным топиком? И главное – что подумает мой муж, когда увидит меня в таком виде, да еще в сопровождении своего друга?

Недолго думая, мы поехали в бутик обновлять мой гардероб. Но подобрать что-то подходящее было крайне затруднительно. Представленная здесь коллекция не подходила к моим пропорциям – то ли они были настолько идеальны, то ли идеал был настолько далек от меня. Выход нашелся сам собой: мы сняли верх с манекена. Я примерила. Вроде бы ничего. Но низ оказался велик. Кое-как нашли какую-то юбочку. Я зашла в примерочную, сняла шорты, надела ее. Потом подошла к зеркалу, установленному в зале – оценить со стороны. В этот момент женщина-продавец без предупреждения подняла оборки, чтобы поправить юбку на бедрах. Тут на пол с грохотом упал брелок от мерседеса. Друг мужа обнаружил, что на мне нет нижнего белья. Он оказался не единственным, кто заметил это. В мини-баре разбилась кофейная чашка – кто-то из посетителей не удержал ее в руках...

Юбочку все-таки взяли. В ней я и вышла из бутика. Мой

внимательный кавалер все время пытался прикрыть ее сзади рукой, чтобы оборки, которые взлетали при ходьбе, не засвечивали «обнаженку». Но на этом он не успокоился и, очевидно, стесняясь произнести слово «трусы», предложил купить что-нибудь легкое, воздушное, кружевное. Я, конечно, возразила: а что скажет муж, когда увидит, в чем я пришла? Решили не рисковать. Мой верный рыцарь отвез меня домой и испарился. Мало ли что.

Едва я вошла в свою квартиру, как на меня набросился мой благоверный: где ты была, что это на тебе такое, откуда эта набедренная повязка, я тебе ничего подобного не покупал (вопрос сопровождался пренебрежительным жестом, который в высшей степени красноречиво изобразил отсутствие на мне главного предмета туалета). Опешивший муж только и вымолвил:

– А где?

– А вот, – сказала я, доставая из сумочки залитые кофе трусики и запасную пару босоножек.

– Предусмотрительно...

Потом он долго истерил, бегая из комнаты в комнату и в разных вариациях повторяя фразу: «Я тут работаю не покладая рук, а жена разгуливает по городу в чем мать родила!»

Сначала я сделала попытку оправдаться, стараясь не упоминать о друге, но он не хотел и слушать. Я увязла в объяснениях, а потом и вовсе замолкла. К чему все это? На-

до признать, что мы абсолютно разные люди и наш брак был ошибкой. А ошибки надо исправлять. Над ошибками надо работать.

В память об этой семейной ссоре у меня остались супернавороченные босоножки, которые я так и не сдала. Они до сих пор пылятся в обувной коробке где-то на антресолях.

Так я стала матерью-одиночкой. Замуж больше не вышла, хотя предложения поступали регулярно, в том числе от друга бывшего мужа. Настолько впечатлила его наша поездка. Жалею ли я о том, что всем отказала? Может быть. Я могла бы неплохо устроиться – среди моих поклонников были очень состоятельные люди. Таких я называю золотыми унитазами – по соотношению формы и содержания. Но я так и не научилась жить по расчету. Без любви. Живешь ведь не с деньгами, не со статусом, а с конкретным человеком. Дура я дура, но что есть то есть. Главное, как мне казалось, сыну со мной хорошо. И никто нам больше не нужен...

И вот спустя двадцать лет я увидела его – героя моих девичьих грез, главного виновника всех выпавших на мою долю злоключений. Он не просто похоронил мои едва теплившиеся надежды на какое-то личное счастье. Но, сам того не ведая, еще и потоптался на могильном холмике, оказавшись самым заурядным человеком. Такое вот неприглядное саморазвенчание. Я словно в одночасье прозрела. Ведь кем он был на самом деле? Офицершишкой, для которого было важ-

но набить как можно большее количество морд, перетрахать как можно больше баб и перепить слона. А слон, как известно, пьет ведрами...

Боже, сокрушалась я, о ком ты мечтала, кого хотела видеть рядом с собой, кому собиралась посвятить лучшие годы жизни! Горизонт мой катастрофически сузился, и ничего хорошего от жизни я уже не ждала. Горько было это сознавать, но большего разочарования мне еще не приходилось испытывать...

И в то же время во мне поселилось другое, очень несвоевременное, противоречивое, вызывающее искреннюю досаду чувство. Как нежен он был со мной этой ночью! Трудно было в этом признаться, но **мне понравилось**. Опасайся мужчин, осатаневших без женской ласки. Опасайся мужчин, пресытившихся любовью. Опасайся мужчин, которые могут разбудить в тебе кошку, сказала я себе. Забудь.

Но все было напрасно. Это, увы, все-таки произошло. Я уже не испытывала желания разбить вдребезги его сердце, порвать на тысячу маленьких парашютиков его гонимую всеми ветрами воздушно-десантную душу, переехать его грудь тележным колесом и не оборачиваясь, продолжить свой победный путь.

Нет, не испытывала.

Тушку жалко...»

Утром 9 мая у дома, где размещалась поселковая адми-

нистрация собрались жители Кузьминок, в основном старухи, немолодые женщины и дети. Как и в войну мужчин среди них почти не было. Одни пришли с портретами воевавших родственников, другие с иконами, и было непонятно, что это – шествие «Бессмертного полка» или Крестный ход, где вместо икон – фотографии погибших, умерших от ран и бесследно сгинувших на полях сражений, ибо по стойкому народному поверью все они причисляются к лику святых как мученики за Отечество и веру.

Возглавляла колонну глава сельского поселения. В руках она держала уменьшенную копию Знамени Победы – штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Баба Люба была тут же, в первых рядах. Пришли и поисковики – птенцы гнезда Петровича. Все, кроме женской половины, оставшейся в лагере. Команда Полковника тоже отсутствовала. В арьергарде находился высохший старикан в лохмотьях, в котором не без труда можно было признать блаженного Алексея – так он почернел и осунулся от навалившихся на него тревог и забот. В руках он держал портретную рамку с чистым листом бумаги.

– Кто это у тебя? – участливо спрашивали его земляки.

– Пропавший без вести, – отвечал он и мелко крестился, обращая свое морщинистое лицо к небу.

Люди задумчиво кивали, но никто не насмеялся, воспринимая очередную его блажь как некое мудреное пророчество или послание несведущим.

И только деревенская пацанва подначивала старика, обращая все в шутку.

– А что это на тебе, дедуль? Рванина от Версаче?

– Как преподобный Серапион едину плащаницу имею и Евангелие токмо... А что вы, мелкота? Все смотрят оне в свои бесовские зеркальца, то бишь гаджеты.. Тьфу, слово-то какое! И вырастают у них рога и копыта... Кыш, бесенята, – беззлобно махал на них рукой юродивый.

Как давно заметил Садовский, добрый наш народ, сердобольный к каторжанам и всякому обиженному властью человеку, легко, непритязательно, с юморком относится к трем категориям хворых и убогих – к тем, кто заразился «дурной болезнью», кто имел несчастье познакомиться с геморроем и у кого слетела «кукушка». К ним, как водится, у нас особое снисхождение.

Он достал из рюкзака портрет деда и присоединился к шествию.

Нестройная колонна молча двинулась к обелиску, где покоилось, по меньшей мере, пять с половиной тысяч бойцов, в разные годы свезенных из окрестных братских могил. Дошли. Ступая осторожно, словно боясь провалиться сквозь землю, сельчане расположились по периметру захоронения.

Постояли.

После долгой паузы и объявшей мир тишины, в которой, казалось, был слышен даже дробный бег трясогузки слово взяла Ольга Васильевна. Волнуясь и запинаясь, как школь-

ница, комкая в руках шпиргалку, в которую она стеснялась заглянуть глава поселения поздравила односельчан с великим праздником. Рассказала о том, какие огромные жертвы принес на алтарь Победы наш народ. Перечислила фамилии земляков, отдавших свои жизни за Родину – среди них был даже один Герой Советского Союза. Призвала помнить о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой...

Но договорить ей не удалось – блаженного Алексея вдруг повело в сторону. Какая-то неведомая сила влекла его, будто пьяного, потерявшего ось земли прямо к Садовскому, стоявшему рядом с бабой Любой. Дойдя до него, старик рухнул на колени и, неистово рыдая, стал целовать портрет.

Плач юродивого, временами переходящий в утробный вой, был и страшен, и жалок, и как-то особенно нелеп в своей безыскусности. Он чем-то напоминал стон и скрежет товарного состава, описывающего поворотную дугу, и словно прикосновение металла на лютном морозе пробирал до самых костей. В этом плаче чувствовалась окончательная, не знающая пощады и снисхождения ясность, отчаяние живого существа, осознавшего приближение чего-то рокового и неизбежного. И хотелось прекратить это мучительное, душераздирающее действие, изъять из мира неприглядность явившей себя боли, задернуть ее непроницаемым пологом. Но никто не осмеливался прервать старика, успокоить его или вывести, отчего его вдруг так скрутило и перекорежило.

– Что же вы... Встаньте... Люди ведь смотрят... – опом-

нилась Ольга Васильевна и попыталась поднять старика с колен.

– Оставьте его, – сказал Садовский.

– Совсем старый сбрендил...

– Не думаю...

В сумбурной речи старика ему почудились и вполне узнаваемые слова – дядя, папа и что-то похожее на аня. Что он хотел сказать? Таня? Маня? Может быть, Ваня?

– Гляди-ка, вцепился в портрет твоего деда и не хочет отдавать, – покивал Петрович, дивясь на юродивого.

– И не отдам! – с неожиданной злобой выкрикнул старик. – Упади тебе клещ за шиворот...

И с новой силой принялся за свое, рыдая, как Иов на гноище.

Постепенно люди стали расходиться по домам. Что-то подсказывало им, что сейчас лучше оставить блаженного Алексея одного; он уже не плакал навзрыд, а тихо скулил, сидя на земле и покачиваясь, будто раненный в живот. Спустя некоторое время юродивый встал и, прижимая портрет к груди, слепо побрел по дороге в Пустыню.

Садовский окликнул его, но старик не обернулся. За ним почти явственно, как нищенская котомка волочилось навеки привязанное к нему заскорузлое горе.

По устоявшейся традиции Ольга Васильевна накрыла в сельсовете, как по старой привычке называли поселковую администрацию, стол. Проходящие мимо сельчане загляды-

вали на чарку и, отдав должное нехитрым угощениям, шли дальше. Зашел и Садовский. Там уже вовсю пели. Он устроился возле бабы Любы и вместе со всеми затянул «Темную ночь». Потом «Катюшу». И что-то еще. Посидев с час или больше, мешая самогон, которым проставился Петрович, с водкой, он почувствовал нарастающую турбулентность – в голове, в запущенных своих делах, которые планировались как чрезвычайно важные и совершенно неотложные, а оказались пустыми и бесполезными, в продолжающейся невесть зачем, бредущей какими-то окольными путями жизни, становившейся с каждый пройденным шагом и выпитым стаканом все более незнакомой и пугающе-чужой... И не осталось никаких загадок, тайн или умолчаний – одни лишь наполовину заполненные кроссворды, которые листает ветер в пустом плацкартном вагоне. И понимание того непреложного факта, что смерть – это когда ты уходишь из жизни, а жизнь из тебя.

Он не стал усугублять и под благовидным предлогом – проводить бабушку домой – попрощался. «Хорошо-то как! А как хорошо-то? Как-то ну очень уж хорошо...» – всю дорогу повторяла она. К этому времени во всех Кузьминках не было ни одного трезвого человека старше четырнадцати лет.

Путая педаль газа и тормоза, Садовский завел свой болотоход, еще раз завернул в сельсовет, чтобы забрать команду поисковиков и с ветерком домчал до Пустыни, после чего завалился в палатку спать. Сквозь тяжелый сивушный

сон ему почудилось, будто кто-то тихо коснулся его губами и произнес: «А когда наши тела и души переплетутся, а дыхание сольется – мы приобщимся к вечности и украдем у нее нескончаемо длящееся мгновение, которое навсегда останется во вселенной человеческих созвездий сверхновой вспышкой счастья и любви...»

Поцелуй был ангельски нежен, чист, почти целомудрен, отчего ему стали являться приятные видения и сверкающие, как копи царя Соломона миражи. Но тут возник диссонанс: чей-то голос, вопрошавший его с неба, которое он отчетливо видел сквозь брезент палатки все силился доискаться правды, только правды и ничего кроме правды, добиться от него окончательного ответа на вопрос: «Что вспомнишь ты, оглядываясь на прожитую жизнь? Свое боевое крещение? Первого убитого тобой горца? Последний бой? Награждение орденом Мужества? Дочь, которая уже сто лет тебе не звонила и еще столько же не позвонит?» И сам же отвечал, движением материализовавшегося указательного перста повторяя качание маятника: «Нет, не это вспомнишь ты, а своих женщин. Всех, кого любил когда-то...»

Он почувствовал острый укол боли, вспомнил, что она существует и встреча с ней неизбежна. И тут же перед ним возникло гневное лицо Иды с ее сакраментальным – где ты был? С этого настойчивого вопрошания обычно начинались все их домашние скандалы. И в виде своего аватара она продолжала преследовать его.

Садовский пропустил момент, когда Ида перестала быть царицей Тамарой – с годами в нее постепенно вселилась и основательно обосновалась какая-то тетя Хая, которая и стала главной в доме. В этом он чувствовал и свою вину. Ведь все произошло на его глазах, и он был так или иначе причастен к этому отнюдь не чудесному превращению. Но теперь это ничего не меняло в принципе, хотя поединок между ними не прекращался ни в реальности, ни в бреду, ни во сне, ни в бреду внутри сна.

А когда-то он мечтал окунуться в море любви, где на волнах, как маленький кораблик, качается ее улыбка...

– Кто тебя только что поцеловал? Кто она? – превращаясь в фурию, двухметроворостую мегеру, в атомный гриб грохотала она.

Дальше начиналась совершеннейшая ахиня, какая-то фрейдистская муть, которую не смогли бы растолковать и семьдесят создателей Септуагинты.

Садовский проснулся, словно от толчка поезда, тронувшегося в путь с разъезда без названия. И, прислушиваясь к своим ощущениям, к текущим по его жилам отравленным водам тяжело задумался над тем, что теперь и к чему все это – пустота и годы впереди, прошлое, которое уже ни к чему не приткнётся и такая же абсолютная никчемность настоящего. Пустыня в душе. Пустыня вокруг...

Что вообще может порадовать его в этой жизни – в ней было уже все.

Да, не так уж много их осталось, этих радостей. Во многой любви – многия печали. Экклезиаст этого не говорил, но наверняка сказал бы, додумав свою элегию до конца. Богатство? Денег должно быть ровно столько, чтобы о них не думать. Если их будет больше, то они завладеют всеми твоими мыслями и сожрут все твоё время. Карьера? Пусть кроты роют землю носом. Выжигание по дереву, выпиливание лобзиком? Берегите лес – наше богатство. И нервы. Чревоугодие? Ложкой роём себе могилу. Алкоголизм? Тут есть над чем поразмышлять. Но если суммировать счастье винопития и хождение по мукам похмелья, то что в сухом остатке? Друг мой, так и до делирия допить можно... Главное, выходя из запоя, вовремя вспомнить, что человек – это социальное животное. А Уголовный кодекс – это книга для всех, а не для узкого круга читателей. Есть ещё мужская дружба. Однако если нет семьи, то имей хоть тысячу друзей – ты никчем и убог. От мужской дружбы, даже самой крепкой дети не рождаются. Впрочем, как и от женской. Религия – королева иллюзий? Если долго жить верой она и все, что вмещает в себя Евангелие, Коран или Тора так или иначе становится реальностью и, возможно, преображает человека в лучшую сторону. Но не слишком ли поздно? Не надо себя обманывать – что-то не слишком святозарен он. И вряд ли проникнется святостью, даже если остаток своих дней проведет в посте и молитве. А можно стать атеистом и жить исключительно державнейшими заботами государства Российского. Верить

в духовное возрождение и экономическое процветание родного Отечества. За счет каких ресурсов? За счет природных, каких же еще. Они нам компьютеры, смартфоны, автомобили и навигаторы, а мы им мед, меха, пеньку и воск. Когда кончится газ и иссякнет нефть... А можно стать гражданином мира. Всеобщее счастье? Да, многие тираны, деспоты и садисты мечтали об этом. Но что ни делай – всегда будут надменные красавицы и несчастные дурнушки, юноши, мечтающие о доблести, о подвигах, о славе и их поумневшие отцы, для которых единственным смыслом жизни стали деньги, всегда эгоизм молодости будет проходить мимо страданий старости и ничего нельзя поделать с одиночеством. Это – удел каждого. Поэтому в реальности достижимо только всеобщее несчастье, что обычно и бывает, когда кто-то пытается осчастливить всех и сразу...

Может, заняться военной наукой? Написать диссертацию: «Мат как средство управления подразделением в бою». А что? Тема вечно актуальная. Война и мат неразделимы, как змей и жало, Инь и Ян.

Рогатки и препоны цензуры, мать его...

Что же остается? Хоккей «Канада – Россия». Страна кленовых листьев против страны березовых веников. Или ситца. И то наши могут продуть. Поэтому удовольствие сомнительное, если что...

Вот и получается, что когда иссякнут все иллюзии – относительно себя, мира и себя в этом мире человеку нечего бу-

дет противопоставить судьбе перед лицом неизбежной смерти, кроме своего достоинства...

Было без четверти одиннадцать. Стараясь никого не разбудить, Садовский выбрался из палатки на свежий воздух. Сгущалась тьма, истаивали звуки. И только размытые очертания холма да журчание бормочущей спросонья речушки напоминали ему о том, что он по-прежнему в урочище и дело его, за которым он сюда приехал не сделано. И вряд ли будет. Где-то здесь, быть может, в двух шагах от него видела свои сторожки, убегающие сны (и чем черт не шутит – его во сне) доверившаяся ему женщина, имени которой он так и не узнал. Не узнанными остались и черты ее лица, скрытого толщей непроницаемого мрака, и голос, слившийся с шепотом ночи. Неразгаданность этой тайны – пожалуй, единственное, что его здесь удерживало. Да и перед ребятами неудобно, хоть он им и никто. Сочтут дезертиром.

Вдруг в поле его зрения попал знакомый контур – что-то крестообразное, высящееся на пригорке, с полукруглым предметом над ним, похожим на черный нимб.

– Нет, мы так не договаривались, – вслух сказал Садовский и направился к бивуаку Полковника.

Там было тихо. Только в «буханке» горел свет и беззвучно мелькали чьи-то фигуры. Испытывая прилив дикой, рвущейся наружу, неукротимой энергии, он выворотил крест, установленный на могиле эсэсовского офицера, и пнул каску. Она сделала по земле круг и вернулась обратно. Садов-

ский пнул ее еще раз.

– Сгинь, фашистская нечисть...

Подпрыгивая и кувыркаясь, словно живая, каска исчезла в темноте.

– Я ухожу! Немедленно! – донесся до него встревоженный, чуть сдавленный от волнения, на грани истерики женский голос. Светлана?

Вслед за этим хлопнула дверь «буханки» и он увидел метнувшуюся к лесной чаще тень. За ней неторопливо последовала другая. На минуту-другую он потерял ее из виду, но потом она появилась чуть поодаль – с горбом на спине и каким-то цилиндром, похожим на трубу. Садовский понял, что это тренер, он же Инженер, экипированный по-походному. И пошел за ним.

Светлана, если это была она, рванула напрямик, через кусты и бурелом. Ее не было видно, но было хорошо, очень хорошо слышно – ее выдавал треск валежника. Тренер крался за ней, ступая мягко и почти неслышно, как барс. Ведомый охотничьим инстинктом, он срезал углы, ловко обходил препятствия и неумолимо приближался к своей добыче.

Подойдя к беглянке на пару метров, он сбросил с себя рюкзак, достал из тубуса биту и, взяв ее, как двуручный меч, сделал короткий замах.

– Ой... мамочки... – пролепетала Светлана (теперь уже не оставалось никаких сомнений, что это она) и беспомощно прикрылась руками. Но Садовский успел перехватить биту

и отшвырнуть ее в сторону.

– А, это ты, – почти по-приятельски произнес тренер и нанес один из своих коварных, скрытных, зубодробительных ударов. Садовского опрокинуло навзничь, как от мощной взрывной волны. Он даже не успел понять, что произошло – лишь почувствовал, как на него навалилась какая-то неподъемная тяжесть и хрустнуло что-то в груди.

– Обратного отсчета не будет, – прохрипел тренер и нанес еще один сокрушительный удар – на этот раз амплитудный. Несколько секунд Садовский находился в отключке, а когда пришел в себя увидел странную картину – тренер лежит рядом с ним без сознания, а над ним с битой наперевес стоит Алена.

– Участнице боев без правил – любовь без границ! – выдал из себя Садовский. Кажется, этот мордоворот сломал ему челюсть.

– Можешь не благодарить. Поле боя осталось за тобой... – буднично произнесла Алена и помогла ему подняться.

– Что, прямо по башке? – удивился он, глядя на распростертое тело Инженера.

– Я не специально. Так получилось. Просто вернула долг. Не люблю быть кому-то должна...

– Долг? Прости, я что-то плохо соображаю...

– Не будем вдаваться. Старая история...

Перед глазами Садовского всплыл поразивший его недавно эпизод – спарринг Алены с тренером. Судя по тому, с ка-

кой беспощадностью она молотила его своими хрупкими руками и ногами, как отчаянно кидалась в атаку на заведомо более сильного противника инстинкт самосохранения был снят у нее с тормозов. А может быть и вовсе отсутствовал. Это не было похоже на тренировку. Это была настоящая рубка – жестокая и бескомпромиссная...

Что за этим скрывалось можно было только догадываться. Но точно не рутина тренировочного процесса и не инфантильное желание ученика превзойти своего учителя. Что-то другое, гораздо более серьезное.

– Объясните мне, что тут происходит, – потребовал Садовский, с интересом наблюдая за сонмом звездочек, вращающихся у него перед глазами. Он слишком резко поднялся.

– Они хотели... То есть не хотели... – попыталась заговорить Светлана и заплакала так обреченно, словно иссякли ее последние силы.

– Короче, вчера мы обнаружили один из схронов, обозначенных в письме штурмбаннфюрера Краузе, – сказала Алена. – И в нем – серебряный оклад с древней иконы.

– С той самой... которая пропала... во время войны, – всхлипывая и шмыгая носом, сказал Светлана. – Чудотворный о-образ... Старорусской Божией Матери...

Попискивая, как мышка-норушка, она тоненько заплакала. А когда немного успокоилась – доходчиво, вполне профессионально, будто повторяя заученный текст, объяснила, что утерянная икона представляет собой необыкновенную

ценность. Она датируется началом XIII века и сочетает в себе особенности Тихвинской и Грузинской Богородицы.

Пока она все это рассказывала Садовский обнаружил в рюкзаке Инженера подлинник неотправленного письма Краузе, перевод и обгоревшую икону с изображением головы младенца Иисуса.

Алена осветила ее фонариком.

– Боже, а это у вас откуда!? – всплеснул руками Светлана. – Это же она! Или нет?

– Кто она? – терпеливо поинтересовался Садовский.

– Та самая икона. Посмотрите – взор младенца обращён влево и вверх, туда, где должна находиться Пречистая Дева. Вот если бы знать еще расположение его правой ступни... Тогда бы я сказала с полной уверенностью... Откуда она у него? И почему так обгорела?

– Украл. У блаженного Алексия.

– А где...

– Это надо у самого старика спросить, – предвосхищая ее вопрос, сказал Садовский. – Меня волнует другое – что делать с этим?

Обездвиженный Инженер лежал все в той же позе, распластавшись на земле. Лицо его было нахмурено, словно он был чем-то крайне недоволен или раздражен. Алена направила луч фонарика на его голову.

– Башка у него крепкая. В худшем случае сотрясение, – констатировала она. – Ничего, оклемается. Давайте думать,

что делать нам... Остаться здесь нельзя...

– Для начала предлагаю пройти к моему авто, – галантно предложил Садовский.

– Неплохая идея. Надо только вещички собрать. И тихо сняться с места, – сказала Алена.

– А если этот поднимет тревогу? – опасливо спросила Светлана.

Теперь все они называли Инженера не иначе как «этот».

– Не поднимет, – с уверенностью сказала Алена. – Судя по содержимому его рюкзака он сам хотел смыться...

– Почему они хотели от тебя избавиться? – спросил Садовский.

– Мы нашли только первый схрон, указанный в письме, – почувствовав себя в безопасности и окончательно успокоившись, объяснила Светлана. – Остальные разбросаны по деревням, в опорных пунктах «Мертвой головы». А само письмо было адресовано командиру этой дивизии Теодору Эйке...

– Получается, он тоже в доле... Дальше?

– Так вот, я настаивала на том, что все найденные ценности необходимо передать государству. А потом, соответственно, церкви... Ведь это культовые вещи. Да и стоят они, судя по всему, немало – иконы и церковная утварь украшались серебром, золотом и драгоценными камнями. Главный и этот были против. Все были против. Мы поспорили. Я сказала, что все равно добыю свое – у меня есть копия пись-

ма со схемой расположения схронов... Ну а что случилось потом вы знаете...

– Да... – потирая челюсть, которая вроде бы сохранила свою целостность многозначительно произнес Садовский.

– Так, мы теряем время, – напомнила Алена.

– А куда мы теперь?

Светлана опять выглядела растерянной и обеспокоенной.

– К бабе Любе, куда же еще...

– К какой бабе?

– Не к бабе, а к бабушке. Очень хорошей бабушке. Я у нее живу, – сказал Садовский. – Сегодня как-нибудь перекантуемся – вы на кровати, я в машине, а завтра решим как дальше быть.

Других предложений не было. Сложив палатку и забрав вещи, они спустились с холма, погрузились в джип и уехали в Кузьминки. Баба Люба уже спала. Садовский проводил Светлану и Алену в свою комнатушку и вышел во двор.

Ночь, будто образ в старинном окладе отливала лунным серебром. Какая-то птица в кроне дерева старательно и самозабвенно выводила свои рулады. Имена пернатых. Он не знал их, хотя и мог подражать их голосам. Разведчик должен уметь и это...

Скрипнуло крыльцо.

Алена.

– Не спится? – спросил он.

– Слишком узкая кровать.

– Можно поставить палатку.

– Не надо.

– Я теперь твой должник. Что бы ты хотела получить от меня в подарок? В знак бесконечной благодарности...

– Чтобы ты включил, наконец, мозги...

Ее лицо было словно заперто на ключ. На его же несколько помятой физиономии отобразилась напряженная работы мысли.

– На том же месте в тот же час? – наконец, спросил он.

– Ну это как получится, – усмехнулась Алена.

– А я сегодня без букета. Пусть не зачтется мне ошибка эта...

Он нырнул в темноту и через минуту явился перед ней с подобием какого-то веника.

– Что это?

– Это охапка полевых цветов. Ведь полевые цветы измеряются охапками. Охапка – это единица их измерения...

– Она, эта твоя охапка вся в пыли. Ты собирал ее на обочине дороги?

– Нет, в бескрайних полях и лугах. На дорожках Млечного пути. А пыльной эта метелка выглядят потому, что мельчайшие споры хвойных или тайнобрачных лишены хлорофилла...

– Ты ботаник?

– Я бы так не сказал. Предпочитаю химию. И физику. Особенно в отношениях мужчины и женщины...

– Тогда чего мы ждем?

«Мы одни в этом мире. Этот мир – один на двоих. И он принадлежит только нам с тобой. Кажется, пошел дождь. Я тебя люблю. Сильный. Я сильно тебя люблю. Прошла влюбленность. И грянула любовь. Не надо. Скоро рассвет. Чтобы не спугнуть. Так ты совсем меня не помнишь? Я пытался наложить твою жизнь на свою, но у меня ничего не получилось. Мне никак не удавалось совместить фокус. Итак, еще раз... Где и когда мы встречались? Только не надо обижаться: последствия контузии и тяжелого ранения... Принимается. Это было на юге. На юге? При упоминании об этом отрезке службы меня бросает в дрожь. Только на курорте понимаешь, почему можно осатанеть от рая. Не перебивай, пожалуйста. Хорошо, не буду. Я тогда смотрела на тебя глазами влюбленной по уши школьницы. Ты был моим идеалом. Символом мужественности. И выгодно отличался от того типа хамовато-благородного супермена, который штампуется, как под копирку воздушно-десантными войсками. Разведка, как я понимаю, дело тонкое. Поэтому попав в разведбат ты оказался на своем месте. Ты мне льстишь. Ничуть. Нет, я серьезно. Я была очень разборчива. Понравиться мне было непросто. Такой рафинированной девочке, воспитанной в художке и на уроках фортепьяно, со школьной скамьи утомленной вниманием мужчин. А заставить полюбить практически невозможно. Старая сказка. «Аленький цветочек» на-

зывается. Все дело в том, что красавицы, как правило, достаются чудовищам. Любовь зла. Устав от собственного совершенства, они почему-то западают на уродов. А теперь что касается моего эстетического воспитания. Это если без экзотических восторгов. Был я как-то в Питере. Ухмылка Моны Лизы не произвела на меня впечатления. Черный квадрат Малевича тоже, поскольку десантник чаще имеет дело с более простыми, приземленными вещами – красными кирпичами, досками или гипсовыми плитами. Поэтому как на субъекте искусства я поставил на себе крест. А меня всегда волновал вопрос: зачем творит художник? Ведь если разобраться его усилия сводятся к тому, чтобы удержать красоту. Красоту во всех ее проявлениях. Но это ведь невозможно. Невозможно избежать разрушения, всеобъемлющего тлена. С другой стороны, всякий тлен – это подготовка к возрождению красоты, условие, без которого красота невозможна во времени. Красота во времени тленна, а без времени – мертва... Но речь ведь не об этом. Со мной произошла другая история. Ты стал самым большим моим разочарованием. С тобой была очень эффектная девушка. Немного экзотической наружности. Шахерезада... Это была моя будущая жена. Теперь уже бывшая. Не зашехерезадились как-то у нас... Хотя есть уже взрослая дочь. В комплекте с мужем. И пара внуков... Так ты меня помнишь? Хоть убей. Клянусь. Конечно, помню... Врун несчастный! Это точно. Вранье не приносит мне счастья. Как и мои комплименты женщинам... Потому

что это тоже разновидность вранья. И вообще. Счастье глупит, несчастье клонит к раздумьям. Но была ничем не объяснимая уверенность, что я знаю тебя давно – чуть ли не с археозоя. Спасибо за комплимент. Я думала столько не живу... Нет, не в этом смысле. Понимаю, комплимент комплименту рознь. Хочешь сказать «голубушка моя», а получается «голубятня вы наша»... Не обижайся. Наверное, мы вечно влюбленные, которые никак не могут встретиться. Такое бывает. Получается, мы не виделись... Сколько же мы не виделись? За это время и ты, и я успели прожить одну, а может даже и не одну жизнь, создать семью, вырастить детей. Значит, расставание пошло нам на пользу? Как сказать. Время было упущено. Его теперь не вернешь. Тогда давай попробуем отмотать. Первая наша встреча – это понятно. Ты мог не заметить. А вторая? Кажется, что-то было. Но я сейчас уже не помню, то ли у тебя со мной, как говорил товарищ Жуков, ничего не вышло, то ли у меня с тобой ничего не получилось... Ты была легкой, как лебяжий пух. Это не доказательство. Как снежинка. И такой же фригидной? Нет. Я приподнял и завернул в махровое полотенце ничтожные дробы твоего веса и подумал, что совращаю малолетнюю. А потом мои руки ласкали твое тело. И твое тело ласкало мои руки. Ты была мягка в тех местах и ситуациях, где положено женщине, я тверд и последователен там, где это необходимо мужчине. А сейчас? И сейчас. Вижу, ты не бросаешь слов на ветер... Ты был у меня первым. Значит, это случи-

лось с нами, когда я работал в налоговой полиции. Проверял свечные заводики в Самаре... Не знаю, как меня угораздило. Ничто не предвещало. Как сказал один радиоведущий, женщина способна различить до трехсот оттенков красной губной помады, но может не заметить разницу между проходимцем и мужчиной своей мечты, приняв одного за другого. Любовь настигла, как пуля на излете. И сразу наповал. Любовь – шальная пуля, да... Что же было дальше? Я встретила его. Где-то подцепила, наверное. И кто это был? Один подлец и негодяй. Отец моего ребенка. В общем, все как у всех: родила, вышла замуж, закончила школу... Потрогай мой лоб. Бровей там нет? Нет, наоборот, конечно – закончила школу, вышла замуж, родила... А потом еще два института с красным дипломом... Ты меня слушаешь? Два инсульта с красивым дуплом? Да ты спишь, мерзавец! Ничуть! Ты, конечно, намертво забыл, что мне тогда сказал? На нашем первом свидании. И, как оказалось, последнем. Честно говоря, нет. Какую-нибудь глупость? Ты сказал: «Прогуляемся? И я открою вам тайну своего инкогнито...» А потом добавил: «Вы мне нравитесь. И я хотел бы пригласить вас к себе в гости. Интим и конфиденциальность гарантирую...» Вот наглец! А мне вдруг стало интересно... Чем все это закончится. Ты совсем не помнишь, о чем мы с тобой говорили? Совсем. Совсем-совсем? Совсем-совсем-совсем... Значит, я не произвела на тебя впечатления... Произвела. Я тогда подумал: уж коль привалит в жизни счастье – не пропердоль

его вконец. Еще мне понравились твои духи. Я пользовалась тогда мужскими. У запаха нет пола, а у пола есть. Куда же ты пропал? Срочная командировка. С того момента вся моя жизнь пошла вкривь и вкось. Попрыгунья со шестом мимо планки пролетела. Инженер? Да. Я провела собственное расследование. Все сошлось. И когда узнала, что он набирает желающих в школу универсального боя решение пришло само собой. Я хотела, чтобы он научил меня всему, что умеет сам. И разобралась бы с ним на ринге. Никакого криминала. Чистый спорт. А в спорте случается всякое. Он ведь не знал, что тренирует собственную смерть... Но теперь я понимаю, что вряд ли решилась бы на это. Не знаю... Хватит с него и биты. Да, теперь ты можешь ответить тому, кто посягнет. Кто покусится. Второго шанса ты не дашь никому. Все эти парящие высоко в небе орлы уковывают от тебя на костылях с переломанными крыльями. Опять подлизываешься? Опять. А третья? Неужели в ту ночь ты ничего не почувствовал? Всякий раз, близко знакомясь с новой женщиной, знакомишься с новым самим собой. Тогда у меня возникло ощущение – мимолетное, изменчивое – что с этим самим собой я уже где-то встречался и быть может даже был когда-то знаком. А значит, я все-таки узнал тебя. Слова, слова... Ты тумановед. Может быть. Живу не по разуму и не на инстинктах. А на интуициях, предчувствиях и кажимостях. И что ты обо всем этом думаешь? Мы не играем в любовь? Нет, не играем. Мы ее творим. А не окунуться ли нам в утонченный и прекрас-

ный мир чувственных наслаждений? Я как тучка набегу, как солнышко выгляну и как снег растаю. Попытаешься овладеть мною приступом? Я не терплю насилия. Хотя и регулярно его применяю. Я отвлекаю тебя? Нисколько. Ты поглощаешь все мое внимание. Кстати, внешне ты сильно изменился. Бравый десантник, елки-моталки. Ты только посмотри на себя: грузен, мешковат, одутловат. Я не то и не это. Одна из дефиниций бога. Шучу. Шутник. От былой армейской выправки не осталось и следа. Внешне ты производишь впечатление удобной боксерской груши. Дутьешь какой-то. Зато сохранил размах плеч! А я? Я сильно изменилась? Кажется, я тебе сначала не понравилась. Здесь, в Пустыне. Ты не понравилась мне еще в ресторане. Чересчур идеальна. Как будто прошла через все кабинеты всех пластических хирургов обеих столиц. Да уж. Наши женщины готовы так же самоотверженно, как на абмбразуру, ложиться под нож и приносить на алтарь красоты все новые и новые жертвы... А ты не прибежала? Никогда. И не прибегну. Принимать свой возраст нужно с достоинством... Меня всегда умиляли леди, которые все свое время тратят на фитнес. Они почему-то озабочены только своей внешностью. По этажам. Но никто не задумывается, что будет потом... А что будет потом? Когда лицо твое превратится в сморщенное яблоко, а зад в целлюлитный персик – вспомнишь ты о душе... Знакомая картина. Утратив девичью красу, она грызет тирамиссу... О боже, о чем мы говорим в три часа ночи! Или сколько сейчас? Но ты не доска-

зал. Потом ведь все изменилось, не так ли? Это я о себе. Ты взглянул на меня другими глазами... Так? Кстати, тебе понравился фасон моего купальника? Ты занималась художественной гимнастикой? Немножко. Любишь купаться голышом? Просто забыла свой дома. А в гардеробе случайно завалялась алая лента... Да, видел я там какую-то одалиску. По ее груди, талии и бедрам красной нитью проходила мысль о бикини. А я видела какого-то фавна в кустах... Может, показалось? Мне простительно. Условный рефлекс. Как у собаки Павлова? Какой тебе Павлов собака? Это великий физиолог. Когда мужчина смотрит на красивую полуобнаженную женщину наступает смерть его мозга. Это медицинский факт. Твой мозг до сих пор мертв? Да. А сердце? А сердце остановилось еще до встречи с тобой. Что, перестало биться? Перестало. А теперь? Теперь все органы в норме. Как у космонавта. Все, говоришь? Это мы сейчас проверим... Как ты хочешь? Начни с него – закончи мной... О, да ты романтик! С ударением на последнем слоге. Я бы даже сказал романтикэ! Ударение на последнем э. И все-таки ты – прежний. Тот, кого я полюбила. Однажды. Дура. Потом, правда, разлюбила. Значит, не совсем еще дура. И снова полюбила, но так и не долюбила... Говорят, что время лечит. Но оно лишь заживляет раны. Лечит только любовь. Тогда вперед, навстречу счастью аллюром в три креста! Хочу бездумно размножаться и копии свои плодить! И в вечность вечно разряжаться, себя в потомках находить... Да ты поэт! Да, я поэт! Местами да,

местами нет... И пусть грядет новый день! Пусть... Терзай меня, аспид! Что ты со мной делаешь... Как хорошо... Хочу навсегда запомнить это мгновение...

Что это было? Парадиз?

Чувствую себя изгнанным.

Но мы ведь запомнили туда дорогу?

Ты и я...»

Шел семьдесят третий год войны. 18 марта 2014 года Крым вновь вошел в состав России, как это уже было в XVIII веке, когда императрица Екатерина Великая подписала Манифест о присоединении к Российской державе Крымского полуострова, острова Тамань и всей Кубанской стороны.

Коллективный Запад, предсказуемо закрыв глаза на результаты проведенного крымчанами референдума, назвал это аннексией и ошестинился санкциями. Кровная обида свидетелей на москалей, отжавших Крым, катастрофически расширила пропасть, отделявшую историческую Малороссию от Великороссии. Казалось, сбылась давняя мечта русофоба Бжезинского, утверждавшего, что без Украины Россия перестанет быть империей. Но вопреки его прогнозам она не смирилась со статусом «региональной державы», распространила свое влияние на Ближний Восток, где насаждало свои дикие порядки Исламское государство, и вступила в схватку с международным терроризмом в Сирии.

Послемайданная Украина, которой цивилизованный мир

выдал индульгенцию на применение силы и расправу с инакомыслящими, так и не захотела узнать, кто расстрелял «небесную сотню» во время «революции гідности», сбил малазийский «Боинг» и сжег людей в одесском Доме профсоюзов. Лихорадочное переписывание истории в бывших республиках СССР, попытка приравнять серп и молот к фашистской свастике привели к реабилитации нацизма в его мягком прибалтийском варианте и жестком – украинско-бандеровском. На Донбассе вспыхнула гражданская война. Минские соглашения, призванные погасить этот братоубийственный конфликт, при попустительстве США и полном бездействии европейских стран были благополучно похоронены. Украинская сторона, отказавшаяся от их выполнения, всю меру ответственности за обильно пролитую кровь своих сограждан взвалила на Россию и объявила ее агрессором. Разрушение памятников павшим советским воинам, нацистские факельные шествия в центре надышавшегося гарью автомобильных покрышек Киева, сборища ветеранов СС в стерильной Риге и толерантном Таллине стали обыденным явлением.

Наступила эпоха политического зазеркалья: в международных отношениях возобладала не сила права, а право силы, единственно достоверной информацией стали фейковые новости, а презумпция невиновности в отношении целых государств и народов превратилась в фикцию. Обвинять Россию во всех смертных грехах – вмешательстве в выборы пре-

зидента США, поддержке диктаторского режима Асада, пособничестве терроризму, экстремизму и сепаратизму, развале Евросоюза, допинге – стало на Западе чуть ли признаком хорошего тона.

Первый в истории североамериканских штатов чернокожий глава Белого дома доходчиво объяснил, как устроен новый миропорядок, заявив об исключительности Америки. Таковой, пояснил он, ее делает не способность обходить международные нормы и верховенство закона, а стремление утверждать их посредством действий. При этом он не преминул заметить, что основой лидерства США всегда будут вооруженные силы.

Апофеозом русофобской политики стало голосование по проекту резолюции о борьбе с героизацией нацизма, предложенной российской делегацией в ООН. Против были только США и ненька-Украина. Фактически это открывало дорогу к пересмотру итогов Второй мировой войны...

И только в Пустыне все оставалось по-прежнему. Сиюминутные тревоги, печали и заботы мира сего проносились мимо нее, как стая перелетных птиц; приземлившись на минутку, они отправлялись кружить по свету дальше. Ничто не могло нарушить царящий здесь покой, тронутый дланью вечности. Ничто, кроме времен года и перемены погоды не вторгалось в эти леса, топи, туманные дали и размытые до акварельной прозрачности небеса. Лишь чуткий слух природы, восприимчивый к звуку лопающейся почки, взмахам

комариных крыльев и движению распускающегося полевого цветка мог уловить нарастающую вибрацию неприкаянных душ, заблудившихся в этом царстве эфемерной гармонии и без усталости кричащих в окаянстве своем о чаемом и наболевшем.

—

А знаешь, Фриц, как теперь называется то место, где мы погибли?

—

Hutor Pustynja

?

Pustgrad

?

—

Урочище Пустыня.

—

Vas ist das

Urotschischtschje

?

— Это граница, межа, что-то вроде горы, лесочка или оврага. А по сути — та же пустыня. В нашем случае это высота, которую мы пытались у вас отбить. Снова и снова. Почти год. Кстати, у тебя снова появился немецкий акцент. К чему бы это? Было время — он полностью исчез...

—

Да так, задумался о своем... До меня стал доходить смысл латинского выражения

Vae victis – горе побежденным. Горе нам, здесь погребенным.

–

За эти годы перезахоронили многих павших. Большую часть свели в объединенные братские могилы. Но это далеко не все. Постоянно находят новых. А значит есть надежда и у нас.

– А немецкие могилы позабыты-позаброшены... Как сказал один полунемец-полуфранцуз, называвший себя последним солдатом Третьего рейха, в России над ними нет надгробий. В один прекрасный день придет мужик с сохой, запашет останки погибших и засеет пашню подсолнухами. А ведь мы честно выполняли свой долг и храбро отстаивали это проклятое Urotschischtschje. Никто из нас не жевал русскую «махорку», чтобы имитировать порок сердца и не слизывал крем «Нивея», чтобы вызвать симптомы желтухи. Мы не устраивали самострелов через сапог, чтобы вернуться в фатерлянд, а стояли насмерть. И не ушли, пока не получили приказ. Многие здесь и остались. Наша судьба, как и судьба всего германского народа, всегда находилась на острие меча. И что? Никто из нас не был удостоен даже хвалебного некролога. Обо мне вспомнил только наш гауптфельдфебель, который напротив моей фамилии в списке личного состава написал: «пропал без вести». Радует только одно – высота оста-

лась за нами. Это я могу с уверенностью заявить.

—

Нет, за нами. Ведь мы выиграли войну, а значит и тот бой за высоту, под которой ютилась деревенька.

— Нет, бой за деревню вы проиграли. Ведь мы ушли непобежденными. А войну, пожалуй, выиграли. Что, между прочим, тоже спорно. В исторической перспективе.

— В нашем случае победитель тот, чей труп сверху.

— Мне нравится твой черный юмор. Но правильнее будет сказать — скелет. От меня не осталось ничего, даже татуировки группы крови на правом плече... Да и ты... Груда костей с православным крестиком на шейном позвонке...

— Так и лежим напару.

— Но был еще и третий, кто трупом стать не собирался...

— Кто?

— Теперь говорят, что победителями стали США и Англия. А вы просто участвовали. Как это у вас говорят — погулять вышли.

— Говорить можно все что угодно. Но от фактов никуда не деться. Что бы там ни было, история нас рассудит и все расставит по своим местам.

— Рассудит не история, а историки. Вопрос даже не в этом, а в том, с чьего голоса они будут петь и кто будет заказывать музыку. Прошлое создается так же, как и будущее теми, кто имеет силу и дерзость эту силу применить, кто не страшится насилия. Победитель тот, кто пишет историю, а

не тот, кто ее творит. Разве не так? Если предоставить западным историографам право на создание окончательной версии Второй мировой войны, то окажется, что под Сталинградом были окружены три немецких танковых корпуса, то есть пара-тройка подбитых танков, пригодных только для сдачи на металлолом, и замерзли несколько румынских лошадей, бесчеловечно замученных русскими. А на самом деле судьбы мира решались не там, а на просторах Атлантики и в пустынях Африки, где гордо реяли отважные летчики Великобритании и США, бороздили океанские просторы непотопляемые крейсера союзников, отчаянно дралась их неустрашимая пехота, о которую вдребезги разбился бронированный кулак Panzerwaffe.

– Но ведь даже Гудериан признавал, что после катастрофы под Сталинградом положение стало в достаточной степени угрожающим и без выступления западных держав. И сделался больным, когда увидел, как его любимое детище – танковые войска вермахта – были наголову разгромлены в Курской битве. Наконец, куда девать Красную Армию, взявшую Берлин?

– А кто сказал, что Берлин взяла Красная Армия? Державы-победительницы просто любезно предоставили ей возможность посетить столицу Германии с дружественным визитом. Визит несколько затянулся, но все стало на свои места после разрушения Берлинской стены, когда силы демократии осознали, как жестоко были обмануты коварными

большевиками... История по-американски выглядит так: это они, американцы, выиграли Вторую мировую войну и все остальные войны XX и XXI столетий. Они всегда одерживали верх там и тогда, где и когда ступала нога американского солдата, а ступала она везде и всюду. Вспомни, как это было. Вместе со своим главным союзником – Англией, они оставили Германию и Советы один на один и два тирана, два главных злодея человечества, Гитлер и Сталин, перегрызли друг другу глотки. Но один (это, конечно, был хитрый деспот Сталин) все же выжил и его страна, истекая кровью, еще некоторое время билась в агонии. Но не прошло и полвека, как «империя зла» под ударами Великой и Свободной Америки пала. Большая война завершилась полной победой звездно-полосатого флага. И попробуй возрази мне. Скажи, что это не так. Какая страна поднялась на двух мировых войнах? Кто выгодоприобретатель? Вот и весь секрет американской исключительности. Как сказал в одном из голливудских фильмов герой Брэда Питта, по сюжету, кстати, киллер, Америка – это не страна, это бизнес-проект. Следовательно, как только он станет убыточным, нерентабельным она развалится. И помяни мое слово: если их экономика зашатается и доллар перестанет быть единственной резервной валютой они сделают все для того, чтобы устроить Третью мировую войну и как следует заработать на ней.

– Опасная иллюзия. Отсидеться не удастся никому. Последняя война – это война, о которой помнят выжившие. Ес-

ли погибнут все – это будет война, уничтожающая войну как явление. Для истории это будет война, которой не было, потому что не будет самой истории.

– Они уверены, что им это удастся. За счет высоких технологий и превентивного удара, за счет капитана Америка, Халка, Годзиллы или человека-паука, кого или чего угодно. За счет стравливания всех со всеми. Старая, веками испытанная политика – разделяй и властвуй. Помнишь, что сказал Трумэн в 1941 году, сидя в сенаторском кресле? «Когда будут побеждать немцы, мы должны помогать русским, а когда будут побеждать русские, нам следует помогать немцам». А потом, как известно, он стал президентом США, кошмаром Японии и инициатором «холодной войны». И это никуда не делось. Ровно то же самое мы видим и сегодня.

– С этим трудно не согласиться, хотя соглашаться нельзя. В чем они действительно проявили исключительность, так это в умении переворачивать все с ног на голову и убеждать других в том, что иначе и быть не может. США стали первыми, кто додумался выстроить страны свободного мира по ранжиру, сделать демократию инструментом разбоя и продвижения своих национальных интересов. Да... Теперь только они являются носителями идеального устройства общества, обязательного для всех. Ну, кроме «своих негодяев». А все, что не вписывается в их представление о современном мироустройстве должно быть уничтожено. Способов много – разложить изнутри, снести «цветными революциями», по-

просту стереть с лица земли...

– А знаешь, что я тебе скажу? Если так пойдет дальше Европа, признавшая Наполеона великим и почитающая его в таком качестве, с молчаливого согласия Штатов признает в конце концов и Гитлера. Она уже делает это, закрывая глаза на неофашизм. Величие фигуры Бонапарта уже ни у кого не вызывает сомнений. Что же касается фюрера... Можно называть его монстром, исчадием ада, военным преступником, но это личность, изменившая ход истории. Осталось только вытравить из памяти потомков его злодеяния – забыть холокост, назвать концлагеря трудовыми колониями, а во всех бедах обвинить Советский Союз. Вот просто взять и объявить его истинным виновником развязывания Второй мировой войны. Ты спросишь, в чем тут интерес США?

– Снова столкнуть Европу с Россией, в чем же еще.

– Браво, Иван! А в чем интерес Европы?

– Так она сможет отмыться от греха умиротворения агрессора и пособничества нацистам. Не тем ли сейчас занимаются наши заокеанские друзья, пестуя их украинских последователей? Чем их добробаты отличаются от зондеркоманд СС? Но черного кобеля не отмоешь добела. Есть архивы, кино- и фотодокументы, свидетельства живых участников тех событий...

– Живые участники тех событий рано или поздно уйдут в мир иной, архивы и документы будут уничтожены, а их место займут фальшивки. Современные технологи позволяют

сделать это. Да никто и не будет разбираться, где первоисточник, а где подделка. Ты скажешь – это верх цинизма? Конечно! Но кому нужна правда? Ваша правда? Вы, русские, во всем ищете справедливости, мы, немцы, подлинности. Но есть ли в нашем мире справедливость? Много ли в нем подлинности? Поэтому мы всегда на грани поражения. Искать надо выгоду и только, как это делают американцы. У вас была победа, был Гагарин, атомный ледокол «Ленин» и первая в мире АЭС, у них гамбургеры, фьючерсы, биржевые пузыри и Голливуд. Ну, бомба. Но о ней им лучше не напоминать. Не слишком убедительно для сверхдержавы, не так ли? Вот поэтому они и украли у вас победу. Но на этом американцы не остановятся. Следом за ней они попытаются предать забвению Гагарина и все остальное. Не удивлюсь, если первым космонавтом планеты, по версии США, окажется Армстронг. А Гагарин выдумкой агитпропа. Но чтобы все у них получилось им надо, чтобы не было вас. Это самое главное. В открытую им сопротивляетесь только вы и за это они вас ненавидят. И боятся...

– Для нас опасность в другом. Американцы поверили, что могут перекодировать любую нацию. Они заставили забыть японцев про атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, перековали украинцев и прибалтов – как же, Советский Союз и фашистская Германия близнецы-братья! И теперь никто не сомневается в том, что могут стереть историческую память любого народа. Сейчас они пытаются проделать

это с нами. Но больше всего удивляет, что они надеются извлечь из этого дивиденды. Им мало приписать себе ведущую роль в разгроме Германии и назначить себя победителем в «холодной войне». Важно сделать так, чтобы осознав собственное ничтожество перед величием Америки Россия наконец-то наложила на себя руки, перестала существовать как страна.

– Кстати, вы уже были на грани этого. А может еще и будете...

– Исторический опыт России свидетельствует, что нам следует опасаться картавых, меченых и говорящих с грузинским акцентом.

– Но больше всего вам следует опасаться дураков!

– Тут ты, пожалуй, прав. Дураков и идеалистов. Что в политике часто одно и то же. А у нас в них никогда недостатка не было. Мы не раз спасали от истребления целые народы и страны, спасали бескорыстно, а в ответ получали только черную неблагодарность. Нам надо было учиться у татаро-монголов. Они завоевывали не подчиняя, а только взимая дань. Мы плохо усвоили этот урок. Вместо того чтобы брать мзду с народов, мы сами платили им – завоеванным, присоединенным, вставшим под защиту двуглавого орла или серпа и молота. Таких оккупантов мир еще не видывал!

– В политике, Ваня, нет такого понятия, как благодарность. Вспомни Польшу. Вы положили шестьсот тысяч солдат, чтобы освободить ее от Гитлера. И чем она вам отплати-

ла? Сегодня нет у вас злейшего врага, чем эта средняя по европейским меркам, но крайне амбициозная страна. Она уже забыла, как с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства. Это Черчилль сказал, не я. Горделивая шляхта не прощает ни преступлений, ни благодеяний. Ей претит мысль, что великой стала Россия, а не Польша, которая ще не сгинела только благодаря вам. Вот и получается, что в политике есть лишь выгода текущего момента и целесообразность, которую вы, русские, исповедующие благотворительность в международных делах, наивно называете предательством. Вы просто романтики. Они – прагматики. Поэтому вы всегда в проигрыше.

– В долгосрочной перспективе в выигрыше мы. Потому что будущее именно за такой политикой. Если оно, будущее, когда-нибудь наступит...

– Сомневаюсь. Вся Восточная Европа отвернулась от вас. Страны Прибалтики, витрина Советского Союза, после его развала добровольно стали задворками Евросоюза и казармой НАТО. Даже маленькая Грузия, которая обязана вам самим своим существованием, отеклась от вас. О Болгарии и говорить нечего... А Украина? Теперь она заря нового мира и колыбель человечества. Это древние укры изобрели колесо и выкопали Черное море. А вы – колорады и ватники, несмотря на то, что Украиной Украину сделали русские цари и советские вожди. Кстати, называть вас колорадами из-

за георгиевской ленточки они могут, а вот американцев из-за их флага – нет. Неполиткорректно...

– Да уж. Этого им не позволит их гидность. Такое вот избирательное достоинство. Зал стоит. Оплески... За что, спрашивается, воевали? За то, чтобы прогнившая советская элита развалила страну, а всякая бандеровская сволочь плевала на наши братские могилы?

– Не стоит огорчаться, майн либер Иванушка. Мы тоже когда-то были романтиками. Вместе с нашим фюрером. Если для Гитлера и Сталина человекоубийство было способом служения идее и средством достижения великой цели – один строил Третий рейх, другой коммунизм, то американцы научились извлекать из него прибыль. И в этом их ноу-хау. Только и всего. Вечный спор романтиков и прагматиков. Для нас увечный. Для них медово-млечный.

– И ты, Брут. Я уже говорил тебе, что между сталинизмом и фашизмом нет и не может быть знака равенства.

– Разница относительна. Сталинизм – это некий половинчатый фашизм, это недофашизм, фашизм минус теория расового превосходства и холокост. Это фашизм, направленный на самое себя, а не вовне. Теперь они на одной чаше весов. На другой – так называемый свободный мир. Как думаешь, кто победит? Молчишь... Но главная подмена в другом, мой ненавистный друг, мой излюбленный враг. Вы утверждаете, что сокрушили фашизм. Но страны, которая освободила мир от так называемой коричневой чумы боль-

ше нет, тогда как фашизм – вот он, никуда не делся. Даже у вас, в России! Посмотри на черных копателей, которые пришли в Пустыню. Они с гордостью носят нарукавные знаки и эмблемы СС. Я уж не говорю о странах, где нам сочувствовали и где нас принимали с распростертыми объятиями. А что делается в самой Германии? Мы каемся на каждом углу за совершенные преступления, а между тем позаимствовали свой гимн у Третьего рейха. С той только разницей, что тогда исполнялась первая строфа «Das Lied der Deutschen», а теперь третья. Ур-фашизм неистребим, неуничтожим, неискореним. Он мутирует, как вирус и всякий раз меняет свой окрас, мимикрируя под изменившиеся обстоятельства, запросы общества, менталитет нации. Однако суть его остается неизменной. Это форма государственного устройства, при которой исключительность наций, религий или элит утверждается радикальными методами. Под удар попадают все расово неполноценные, инакомыслящие, инородцы и иноверцы, а в более широком смысле – толпа, плебс, электорат, участь которого безропотно подчиняться избранному или погибнуть. Отказавшись от теории расового превосходства, которая прочно ассоциируется с нацизмом, фашизм может взять на вооружение любое другое отличие, превозносящее одну группу людей над другой. Внешне он может изменяться до неузнаваемости, но содержательно все тот же. Вспомни, что писал о его признаках прозорливец Умберто Эко. А теперь посмотри вокруг. Вольф стал вер-

вольфом, волк превратился в оборотня. Но технологии захвата и удержания власти, выработанные фюрером и дуче, остались и продолжают совершенствоваться. Неофашизм – это уже прошлый век. На глазах нынешнего поколения поднялся религиозный фашизм исламского толка. Параллельно ему буйным цветом цветет ультралиберальный фашизм. Это фашизм наоборот, который делает нормой антинорму. Он действует тоньше, гораздо тоньше, чем откровенно человеконенавистнические идеологии. Но бьет безошибочно, бьет по базовым основам общества – полу, семье, традиционным ценностям в интересах сексуальных и иных меньшинств. Та же тирания под предлогом борьбы с расизмом, ксенофобией и шовинизмом – за свободу личности, даже если эта личность ущербна. Они уже готовы договориться до оправдания педофилии. Как же! Ущемляются права насильников! Традиционный фашизм устанавливает приоритет коллективного права, совокупную волю народа над индивидуальным правом. Ультралиберальный на первое место ставит право индивидуума. И недалек тот день, поверь мне, когда он камня на камне не оставит от религии. Но впереди самое интересное, друг мой, – эра высокотехнологичного фашизма, рядом с которым все это покажется детскими игрушками. Он станет абсолютной вершиной ур-фашизма. Сейчас американская элита практикуется на других народах, но что мешает им зомбировать собственных граждан, сделав их послушным орудием в своих руках? Пресса, телевидение, ин-

тернет, искусство – все работает на это. Тотальная слежка за каждым сверху донизу уже никого не удивляет. Следующий этап – массовое чипирование, коррекция мозга или генная инженерия, неважно что. Цель – управление людьми как послушным стадом. Они последовательно строят общество, которое при всех видимых признаках демократии будет тираническим и бесчеловечным по сути. Так-то... Гитлер жалкий помастерье по сравнению с ними. Между тем, его цели и устремления были понятны простым немцам. Он дал нам надежду на реванш! И я, как и миллионы моих соотечественников до самого конца сохранил непоколебимую веру в историческую миссию немецкого народа и нашу конечную победу. Но фюрер совершил непростительную ошибку, затеяв войну на два фронта. К тому же проявил непростительное в тотальной войне великодушие. Он легко мог намотать англичан и французов на гусеницы танков, но дал им уйти из Дюнкерка. Уверен, что его поражение началось именно с берегов Ла-Манша...

– Ты, как Манштейн... На ящиках с песком он все сражения, конечно, выиграл. И в мемуарах тоже, назначив виновными в поражениях всех, кроме себя. Но с ним все ясно. Как и с Гитлером. Скажи мне лучше, зачем жизненное пространство мертвым – им достаточно аршина земли. Во имя чего вы дрались не на жизнь, а на смерть? Чтобы дядя Сэм имел удовольствие сделать из немецкого орла чучело? Теперь одна-единственная страна, а в ней кучка избранных

может диктовать свою волю большинству. В том числе и вам. И плевали они на международное право. Вот и все, чего вы добились.

– А знаешь, Иван, в чем ирония судьбы? В том, что уничтожив гитлеровскую Германию, вы не устранили причину возникновения фашизма. Я снова и снова возвращаюсь все к той же мысли: так или иначе он будет существовать вечно. Фюрер освободил немцев от морали по отношению к евреям и славянам. Американцы сделали то же самое по отношению ко всем, кто не имеет их гражданства. Они оставили мораль только для внутреннего пользования и частично – для своих сателлитов. Ультралиберальный фашизм в действии. Это дамоклов меч для бледнолицых европейских братьев и гильотина для прочих краснокожих, к которым американцы относят и вас. При этом, заметь, западный мир, якобы осуждающий фашистскую идеологию, по-прежнему стремится к уничтожению России как государства. А значит, дело Гитлера живет и побеждает. У меня, как и у моих боевых товарищей еще есть шанс войти в пантеон героев. Зиг хайль!

– Сейчас, как я понимаю, ты пытаешься изобразить нацистское приветствие и щелкнуть каблуками...

– Да, *der deutsche GruВ* – «немецкий салют»!

– Ладно, ты не на параде. Но скажи мне честно, Фриц: тебе лично не все равно, кто вас победил? Тебя самого-то греет мысль, что вас одолели янки, высадившиеся на пляжах Нормандии, а не Россия и ее великий народ? Нужна тебе та-

кая перевернутая история? Англосаксы всегда были отделены морем, как щитом от всех напастей. Всегда старались воевать чужими руками. И только немцы и русские – всегда лицом к лицу, глаза в глаза, кость в кость.

– Я вижу тема ур-фашизма и его метаморфоз интересует тебя меньше, чем метафизика нашей извечной войны. Хорошо, давай поговорим об этом. О том, что нас действительно связывает, связывает прочнее уз смерти. Что тут скажешь? Лучше честный враг, каким всегда или почти всегда была Россия для Германии, чем лукавый, как двуликий Янус, корыстолюбивый друг, каким стала Америка. Я так считаю. Помнишь, как люто мы дрались? Как сшибались, как безбожно кромсали друг друга? В истории мира не было второй такой яростной, кровавой схватки, такого массового побоища. И ни один народ – бывший, существующий или еще не народившийся – не может посмотреть на нас теперь презрительно или свысока, поскольку никому не было дано такое испытание и вряд ли кто-то еще смог бы его выдержать. И только за одно это мы достойны взаимного уважения, а может быть даже и чего-то большего. Ведь эта великая война стала откровением и для вас, и для нас. Германия, возможно, пострадала даже больше, если говорить о последствиях. Немцы пережили настоящий апокалипсис!

– В этом мы действительно похожи. Как писал Ницше, немцы испробуют все, чтобы из чудовищной судьбы родить мышь. Что-то подобное говорил о России наш Чаадаев. Он

считал, что мы жили и сейчас живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам. Конечно, это страшный урок... И мы его уже преподали...

– Ах, если бы фюрер знал, если бы вермахт мог!

– Ты все о том же. Носишься со своим фюрером, как дурак с писаной торбой. Давай-ка я лучше расскажу тебе что-то вроде анекдота. Про русского, немца и американца...

– Вот уж не думал, что на том свете мне будут рассказывать анекдоты. В этом есть что-то забавное. Само по себе. Но почему американец? Хотя... Пусть будет еще и американец. Он ведь тоже достоин места в анекдотической саге, не говоря уже об историческом эпосе.

– Но начну с китайцев.

– Куда ж теперь без них...

– Так вот... Если надо что-то сделать – зовите китайцев. Если надо сделать хорошо – зовите немцев. Если надо сделать что-то невозможное – зовите русских. А как насчет американцев? Тут все просто. Американцев звать не надо – они сами придут...

– Что верно то верно. Мы хоть и редко совпадаем во мнениях, но тут я с тобой соглашусь. Вы из Восточной Германии ушли сами. Они уходить не собираются. Пекутся о нашей безопасности, хотя Варшавского Договора давно уже нет и нападать на нас никто не собирается.

– А войска НАТО, между прочим, находятся на тех же рубежах, где стоял вермахт 22 июня 1941 года. И долго еще бу-

дут стоять. Столько, сколько вы, немцы, им позволите. Ведь американский солдат в Европе не охранник, а надзиратель. Германия, по сути, продолжает оставаться оккупированной страной. Ну да, конечно, это совершенно необходимо. Ведь ей угрожает ужасная Россия, которая сделала Германию единой и протянула газопроводы, чтобы вы не мерзли. Чтобы ваша экономика была конкурентоспособной, а социальная система – одной из лучших в Европе. Чем же вы ответили? Ввели санкции и отказались признать Крым российским. Это к вопросу о благодарности в политике... Даже к мигрантам вы относитесь лучше. Но почему-то не хотите видеть, что это люди чуждой вам культуры. И их много, слишком много, потому что размножение в мусульманских странах происходит роями. А затем эти самые рои перелетают в Европу. Ты как-то сказал про меня: грубый неотесанный мужлан с большим фаустпатроном... Портрет сегодняшнего мигранта.

– И мечта немецкой женщины, ха-ха... Не потому ли наша канцлерин так гостеприимна?

– Как непочтительно ты о руководителе своего государства.

– Они додумались сделать фрау даже министром обороны. Куда катится бундесвер! То ли дело у вас. Армия как армия. Чувствуется мужское начало.

– Мы могли бы иметь единую армию. И даже стать союзным государством.

– Майн гот! Думал ли я, что буду обсуждать с моим врагом

возможность объединения наших стран!

– Однако вы не захотели этого. Не стали прислушиваться к своему великому пророку, который видел будущее мира в сращении немецкой и славянской расы. Кстати, он предрек, что XX век будет эпохой варварства и чудовищных войн, временем борьбы за господство над земным шаром. И считал евреев и русских наиболее надежными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил. Но вы не слышали никого, кроме своего фюрера. И не нашли ничего более уместного, чем сделать Ницше идеологом фашизма, тогда как он был первым и единственным для своего времени подлинным антифашистом.

– Забавно. Фашизма еще не было, но антифашист уже был.

– И это был Ницше.

– А как же право сильного, взятое нами на вооружение?

– Это то, что лежит на поверхности, как красный буй, всплывающий из пучин его философии. За него-то вы и ухватились со своим сверхчеловеком, которому все дозволено. Нацист понял Ницше в меру своей собственной ограниченности – узколобо, лоботомийно, в духе теории расового превосходства. Для него сверхчеловек оказался равен немцу, создателю нового шума, а не аристократу духа, создателю новых ценностей.

– Ладно, опустим это. Единая армия и государство, говоришь? Ты это серьезно? Мне кажется, нет большей утопии.

Даже Кампанелла до такого не додумался бы.

– По-твоему, Шарль де Голль был мечтателем?

– Не буду отрицать. Великий человек.

– Так вот он утверждал, что именно Европа от Атлантики до Урала будет решать судьбы мира. И что НАТО является не столько защитой от «красной угрозы», сколько инструментом доминирования США в Европе. Где теперь эта «красная угроза»? А НАТО и ныне там. И вот что еще интересно: де Голль высказывался за союз Франции и Германии, злейшего врага Пятой республики в двух мировых войнах и называл Россию третьим неотъемлемым гарантом европейской безопасности. Так что идея «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока принадлежит не нам. И потом – мы же не всегда с вами воевали. Бывали времена, когда нам приходилось сражаться вместе. Сейчас уже почти никто не вспоминает про битву под Москвой при Иване Грозном, когда русские стрельцы, стоя плечом к плечу с немецкими наемниками, разгромили армию крымского хана Девлет-Гирея и обратили в бегство янычар Османской империи. Блистательная Порта была тогда в шаге от завоевания Европы, и если бы не это сражение, пили бы вы сейчас айран, а не баварское пиво.

– Возможно, нам еще придется пить айран. Если наша миграционная политика не изменится. Потомки османов – и не только они – уже чувствуют себя в Германии как дома. Немцы перестали быть немцами. Фатерлянд превратился в

большой дом терпимости. Доннерветтер! Нас уже называют толерастами! Но извини, я перебил тебя...

– Вспомни про времена Петра Первого, когда немец был самым уважаемым человеком в Российской империи. Я уже не говорю про наполеоновские войны. В двух коалициях Россия и Пруссия были союзниками...

– Но воевали мы все-таки больше. Можно сказать – всегда. С перерывом на пятьсот лет – после Танненберга. И это никак не прекратится. И никогда не закончится. И пусть сегодня мы не являемся врагами – друзьями мы, как видишь, тоже не стали.

– Ладно, не грусти, дорогой ты мой немецко-фашистский друг. Чего грустить понапрасну? Радуйся, что для тебя все уже позади. Теперь тебе все нипочем. Ты не человек, а явление природы. Ныне ты во всем и все в тебе – дыхание ветра, земная твердь и капля утренней росы. Лежи себе и тихо удивляйся, как необъятно небо над Россией...

– И все равно вы, русские, при всех ваших невероятных победах уступаете нам. Уступаете в чем-то главном. Не могу избавиться от ощущения, что вы – недоцивилизованная, дикая, варварская нация.

– Это мы-то, с нашей загадочной душой и злым похмельем, в котором без следа утонет вся немецкая философия? Неспроста, ох, неспроста тот же Ницше сказал: «Я обменял бы счастье всего Запада на русский лад быть печальным». Что-то он такое чувствовал. Что-то такое, что не в состоянии

объять ни сумрачный германский гений, ни прусский капрал с его палочной дисциплиной...

– Да уж, Kadavergehorsam – это про нас... Но в остальном вы гораздо примитивнее.

– Как сказать... Немцу важно что? Построить домик, разбить палисадник, настругать ребятишек и укорениться в этом славном колбасно-сосисочном раю с кружкой пива в руке... Этого ему вполне достаточно. Русский, конечно, ропщет, завидует благополучию немца, ругает себя за криворукость, но как только добивается желаемого – душа его начинает рваться на части и требовать чего-то иного. Он смутно начинает сознавать, что предназначение его – не в этом.

– Вы все почти поголовно – патологические лентяи и пьяницы...

– Русский человек пьет по двум причинам: когда все очень плохо или когда все очень хорошо. В первом случае от безнадеги, во втором от того, что чувствует себя обманутым. Вечная дилемма – пить от радости, благодаря Бога за каждый прожитый день, или безысходности, проклиная судьбу... Вот сейчас, словно с цепи сорвавшись, государство российское взялось повышать качество и уровень жизни людей. Как оно умеет это делать: ночь кормить к утру зарезать. Не забывая при этом подворовывать. У нас ведь как? Если власть задумает сделать своих граждан счастливыми, то как бы они ни сопротивлялись – своего непременно добьется. Даже если ей придется опустошить для этого полстраны. Но

предположим – удалось. Это ли главное для русского человека? Ну выйдет он во двор своего коттеджа – а там аккуратно подстриженный газон, заглянет холодильник – а он ломится от яств и деликатесов, откроет мини-бар, а в нем батарея элитного алкоголя. «И это все?» – спросит он. Тоска! И сразу сложится в уме русского человека – выпивка, закуска, трава-мурава. Позовет он друзей, сходит в баньку, попарится, напьется от души и упадет на газон. И будет дурным голосом орать песни, с которыми его прадеды ходили в бой... А протрезвев – воскликнет: «Да гори оно все синим пламенем!» И тогда уж точно войдет в крутое пике – запыет от безнадёги и потеряет все, что имел. Нет, что-то сломалось в нашей мотивации, что-то сбилось в целеполагании. Работать на желудок и жить единственно ради комфорта... Как-то унижительно это. Павлины, говоришь... Каждое поколение должно совершить что-то великое, иначе зачем все было? Одно поколение изгнало поляков из Кремля, другое победило Наполеона, третье расширило пределы России до Тихого океана, четвертое освободило славян от османского ига, пятое совершило великую революцию, шестое сокрушило фашизм, седьмое обуздало атом и проложило дорогу в космос... И только нынешнее все развалило, развеяло по ветру. И теперь живет былой славой предков. Увы... А нам – рост благосостояния... Наш народ – это изобретатель-самоучка, разведотряд человечества, призванный изменить мир, раздвинуть его горизонты. Но и этого мало. Все это должно быть освя-

щено верой, стремлением к горнему, к святой правде. Только тогда измененный мир будет благом для всех. А без этого только дров наломаем...

– Вы и так наломаете дров. Все у вас, как это говорится, через пень-колоду. Через одно место. Не будем конкретизировать. Ни жить, ни работать вы толком не умеете...

– Русскому человеку необходимо дать полежать на печи. Тогда справедливости ради он слезет с нее и наворочает столько дел, сколько прилежному немцу и не снилось. Мы постоянно выступаем в роли запрягающего, который мечтает о быстрой езде. Что же запрягает он? Что выдумывает? Сани, которые несут себя сами? Ковер-самолет? Скатерть-самобранку? Что-то подсказывает мне – все это мы когда-нибудь действительно изобретем.

– Вот именно. Чтобы никогда и ничего больше не запрягать. А лежать на печи и почесывать пузо. Халява и авось! Вот чему вы молитесь. На том стояла и будет стоять земля русская. Отсюда и все ваши комплексы.

– В чем-то ты, может быть, и прав. Ведь вот что странно. Мы победили, превзошли вас по всем статьям, доказали себе и всему миру, что нет народа крепче, сильнее, жизнеспособнее нас. Но все равно где-то свербит мыслишка, что что-то с нами не то, не так, а с немцем именно так, как нужно. И победитель живет хуже побежденного, и снова смотрит на поверженного врага снизу вверх, как бы в ожидании похвалы или одобрения – то ли мы делаем, так ли, как нужно и как все-

таки нужно, чтобы избавиться, наконец, от чувства неполноценности в чем-то самом главном, а именно в умении устроить свою жизнь. И носим мы собственную ущербность как немец свое самодовольство, и грызет нас что-то, и гнетет, и недовольны мы тем, что есть... И снова нам нужна великая победа, прорыв, скачок, какое-нибудь четвертое измерение, где мы были бы первыми. И снова нам необходимо осчастливить человечество каким-нибудь неожиданным подарком, эпохальным экспериментом, последним откровением. Снова мы стремимся проложить пути и гати, открыть новые горизонты, чтобы кому-то зачем-то доказать свое право на существование. Чтобы сказать самим себе – да, мы все еще живы и что-то можем. И опять, совершив все это и едва не сломав себе шею, мы становимся заклятыми врагами этого самого неблагодарного человечества, которое в лучшем случае мечтает о том, чтобы нас не было или приписывает наши достижения более прогрессивным, отцивилизованным до высшей степени толерантности народам... А жить – да, мы, конечно, не умеем. Но никто лучше нас не умеет с оружием в руках отстаивать свое право на неумение жить! Что сегодня удручает русского мужика? Не было у него большой войны, не было своего Бородино или Сталинградской битвы, не было возможности героически погибнуть за Родину, постоять за правое дело, совершить что-то запредельное, немислимое, грандиозное, о чем можно было бы рассказывать детям и внукам. А был развал СССР, импотенция и во-

ровство элит, локальные войны и конфликты, больше похожие на коммунальные драки с черпаками, табуретками и разделочными досками. «Мочить в сортире»? Все-таки не тот масштаб. И для чего тогда все это – квартира, машина, дача, если нет чего-то главного? И только в Крыму и в Сирии произошло нечто, заставившее русского человека приободриться, поверить, что великие времена и великие испытания возвращаются и ему теперь не стыдно будет посмотреть в глаза своим предкам, создавшим величайшую державу мира. Нет, брат. Это у вас все просто – или «узкое счастье» обывателя, требующее, как говорил тот же Ницше, чтобы всякий «добрый человек», всякое стадное животное было голубоглазо, доброжелательно и «прекраснодушно». Или другая крайность – доиче золдатен, унтер-официрен, шнель-шнель нах дранг остен. Вперед, за жизненным пространством, которое почему-то занимают какие-то недочеловеки, об которых обломали зубы еще тевтонские рыцари...

– Не преувеличивай – ливонские.

– Одно слово – культурная нация, зомбированная с ног до головы.

– А вы не зомбированная? Слава КПСС... Крымнаш...

– Но до вас нам далеко. Только немца мог так вымуштровывать свисток бесноватого ефрейтора. И пока он будет раздаваться в ваших ушах – не будет между нами мира. Вы уже забыли, с чего все началось. Когда впервые запахло катастрофой? Чудское озеро 1242-го? Грюнвальд 1410-го? Ку-

нерсдорф 1759-го? Сталинград 1943-го? Пора уж вам избавиться от привычки кусать протянутую руку. Или просто не замечать ее.

– Так и вам пора бы разобраться со Сталиным. Для нас он всегда был угрозой. А кто он для вас? Великий вождь, который принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой, или тиран-кровопийца?

– С «родовыми пятнами сталинизма» мы уж как-нибудь разберемся...

– И мумию из мавзолея, наконец, уберите, азиаты...

– Наша мумия в мавзолее. А ваша – у вас в головах.

– Наши поражения в большей степени свидетельствуют о величии Германии, чем все ваши победы о величии России. Для всего цивилизованного мира вы все равно останетесь русиш швайн, Иван-дункопф, унтерменшен. Что бы вы ни делали. И помяни мое слово – вам еще придется оправдываться, что вы освободили Европу от фашизма и отмываться от грязи сталинизма. Но вы никогда не отмоетесь. Никогда. Потому что ур-фашизм для европейца ближе, чем все ваши измы.

– Да уж. Как-то уж больно радостно стонали под игом фашистской Германии народы Европы...

– Никто и не спорит. Но я опять возвращаюсь к тому, с чего начал. Кто воевал на нашей стороне и кто – на вашей.

– Англия и США, между прочим. Немножко помогла Франция.

– Это нации торгашей и евреев. И тем не менее даже у них мы находили сочувствие своей идеологии. Они просто выжидали – кто кого. Поэтому и Второй фронт открыли только в 1944 году, когда запахло жареным. И все это время исправно занимались тем, что стригли купоны. Не устану повторять: вот кто истинные победители во Второй мировой войне! Вот кто сорвал джек-пот! Но единственный, кто был по-настоящему достоин победы – это фатерланд!

– Ты хотел въехать в Москву как победитель, на белом коне через пролом в Кремлевской стене. Чтобы потом тебя в ней и похоронили. Прости, что помешал тебе. И Гитлеру, который собирался взорвать Кремль, чтобы «возвестить о свержении большевизма»...

– Иронизируешь? Напрасно. Как вы вообще посмели сопротивляться нам!? Ведь не секрет, что веками русский видел в немце высшее существо.

– Это вы так думали. Мы-то думали иначе.

– Вы должны были безропотно подчиниться нашей воле.

– Еще генерал фон Зект, отец вермахта, говорил: «Интеллект без воли бесполезен, а воля без интеллекта опасна». Что вы всему миру и продемонстрировали.

– Мы были призваны к тому, чтобы немецкий меч завоевал землю немецкому плугу и тем самым, как говорил наш фюрер, обеспечил хлеб насыщенный германской нации.

– А виноват ты тем, что хочется мне кушать.

– Это еще что такое?

– Старая басня дедушки Крылова. Ваша проблема в том, что вы всегда отрывали кусок, который не могли переварить.

– Это психология волка. Это – по-волчьи.

– Но заканчивали всегда одинаково – по-шакальи.

– Ладно. С этим и у вас, и у нас всегда были проблемы... А вот что делать с нашей исторической памятью? Из немецкой истории с корнем вырвана целая глава. На свалку выброшена жизнь всего нашего поколения, которое было по-настоящему великим и действительно достойным того, чтобы стать расой господ. Сложись все иначе – и наши имена принадлежали бы вечности. О нас бы слагали легенды! Перед нашими деяниями и нашими жертвами померкла бы «Песнь о Нибелунгах»! Но нет. Ничего этого нет. И не знаю, будет ли, сколько ни кричи зиг хайль из своего окопа. Истинные арийцы пали под ударами азиатских орд, остались лишь «колонны робких эстетов и физических дегенератов»... Все закончилось вырождением немецкой расы и порчей нашей крови...

– Ты что-то там говорил о пантеоне героев. Уже не греет?

– Пока есть такой фактор, как Россия – говорить об этом не имеет смысла. У вас ведь что ни деревня – то свой «Бессмертный полк». И вы не собираетесь исчезать. Ведь не собираетесь?

– Нет, Фриц. И не надейся.

– Вот и я говорю: оставь надежду, всякий сюда входящий... Но вот что меня действительно беспокоит. Нельзя

бесконечно посыпать голову пеплом и придавать чувству вины – die Schuld значимость национальной идеи. Все эти судороги покаяния и истерия искупления не для немцев. Хотя многие сейчас думают иначе. Кто мы для тех, кто пришел после нас? Кто? Ты вернулся в свою семью героем. И продолжаешь жить в памяти потомков. А про меня и многих моих товарищей так никто и не вспомнил. И не пытался найти... У меня нет детей, внуков и правнуков, никто не отправится на поиски своего славного гротфатера. Потому что нет никакого гротфатера. Никто из моих ближайших родственников и знать обо мне не хочет. Значит, все было напрасно? Страдания, лишения, смерть? Зачем все это было? Мы не просто умерли. Мы ушли в беспмятство.

– Не вы одни. Вся так называемая Европа. И мы больны тем же. И нас убивает беспмятство. И глухота. Да, именно глухота. Когда-то молот командира танка стал для тебя набатом. Но этот набат уже не слышен ни тебе, ни поколениям, родившимся после войны... Восприимчивы к нему только те, кто слышит совестью. Много у нас таких? В России и особенно на Украине? Мы не можем докричаться до живых из своих безымянных могил!

– Das Gewissen плохой советчик. Если бы в нас говорила совесть мы обрекли бы себя на смерть как нация. В политике она равнозначна отсутствию инстинкта самосохранения. Но предположим ты прав. Как нравственный закон может быть возведен в ранг государственной политики? Это про-

сто невозможно! Политика не делается в белых перчатках. И что бы ни происходило в прошлом, какие бы преступления ни совершали люди, с какими бы коллизиями совести ни сталкивались – это не может стать предостережением для последующих поколений. И этот порочный круг не разомкнуть никогда.

– Это ваш фюрер убедил вас в этом. Это было нетрудно. Вы и сами рады были обмануться. Знаешь, в природе есть такое явление – муравьиный круг. Его еще называют спиралью смерти. Это когда небольшая группа муравьев начинает бегать по замкнутому кругу, вовлекая в него все большее количество своих собратьев, пока в движение не придет весь муравейник. И знаешь, чем все заканчивается? Все они гибнут от полного изнеможения. То же самое сделал с вами, немцами, Гитлер.

– Да, мы надорвались в этом последнем усилии. Как и вы. Только мы называем это мужеством – встретить свою судьбу с открытым забралом. А вы, по-русски говоря, все время наступаете на одни и те же грабли. Россия никогда не готова к войне. Любое нашествие застает вас врасплох. Пролив реки крови, понеся чудовищные потери, вы кое-как исправляете положение. Как же: победа любой ценой! Но все жертвы, принесенные вами и вашими предками, напрасны. Возьмем конкретно тебя. Даже если бы ты воскрес и стал пророком это не изменило бы ничего. Тебя никто бы даже слушать не стал!

– Стал бы.

– Хорошо, Иван. Свершилось. Ты – воскрес. И что бы ты поведал своим потомкам?

– Я рассказал бы им, как обескровленный, наполовину за-
травленный, разъяренный русский медведь с невообразимой
для косолапого быстротой промчался галопом по Европам и
окончательно задавил матерого немецкого волчару. Как клы-
ки его, будто готические шпильи сомкнулись на горле изды-
хающего хищника. Как в остекленевших глазах фашистского
зверя отразился ужас смерти и остывающее от огня и дыма
серое берлинское небо... Чтобы знали, как это было и пом-
нили, кто это сделал...

– Тебя бы приняли за обезумевшего старика, отставшего
от поезда. Или от жизни...

– Я ходил бы по городам и селам. И без усталости говорил бы
об этом. Всем, кто готов слушать. Даже если это будет всего
один человек. Ты ведь видишь его?

– Серое берлинское небо?

– Нет, грузного мужчину с усталыми глазами, который го-
дится мне в отцы.

– Ну да, вижу.

– Ты не поверишь, Фриц, но это мой внук. Кровинуш-
ка моя. Вылитый я, только поседевший... Он приехал, что-
бы найти меня, я знаю. Поплакать на могиле деда, который
семьдесят лет считался пропавшим без вести. Вот за это, на-
верное, я и воевал.

– Завидую я тебе. Что бы ты ему сказал, если бы вы встретились?

– А мы и так встретились. Ты же видишь...

– И все-таки...

– А сказал бы я ему, наверное, самое простое – дорожи тем, что есть. Ты там не был. И слава Богу. Если б ты там был, то там бы и остался. Потому что все мы остались там, чтобы жил ты... И каждую минуту своей жизни ты должен помнить, что мы смотрим на тебя. И надеемся, что сражались мы не зря и ты будешь достоин нашей Победы...

– О, как все это высокопарно, Иван!

– Ничуть. Об этом хорошо сказал фронтовой поэт Николай Майоров:

Мы все уставы знаем наизусть.

Что гибель нам? Мы даже смерти выше.

В могилах мы построились в отряд

И ждем приказа нового. И пусть

Не думают, что мертвые не слышат,

Когда о них потомки говорят...

– Он, этот поэт, был одним из нас?

– Да. И был убит за полтора месяца до нашего последнего боя, до твой и моей гибели. Где-то на Смоленщине в феврале 1942 года...

– Он имел право так сказать...

– Есть вещи, о которых можно говорить только так. Высоким штилем. Но и тут надо знать меру. Хорошо знать, чтобы не впасть в кликушество или фальшь. Все эти надписи на лентах, знаменах, машинах... «Помним. Гордимся», «Спасибо деду за Победу»... Это я еще могу понять. «Бессмертный полк». Великое дело, если это от чистого сердца. Но у нас ведь как – от самоуничужения до непомерной гордыни, бахвальства и шапкозакидательства один шаг. «Вперед, на Берлин», «Можем повторить»... Да что ты об этом знаешь, сопляк? Не дай Бог пройти тебе через это. Поэтому сними, сотри, зажми в кулачок и даже не заикайся. Второго такого испытания наш народ не выдержит... Ну да что об этом. Главное, он все-таки приехал. Внук мой. И пришел с моим портретом к захоронению в соседней деревне. Кузьминки это. Там на обелиске могла быть и моя фамилия. А я здесь. Значит, не судьба. Но это ничего. Мне-то какая разница, где лежать, если душа его со мной, если он помнит обо мне. Пока он помнит и пока возносится молитва блаженного Алексея, моего незабвенного Алешеньки, божьего человечка, – я жив...

Утром они заехали к бабе Любе, чтобы забрать Светлану.

– А я глянула в горницу – батюшки! Наш-то добрый молодец в красну девицу превратился! Вот чудо-то! – встретила их своим сухоньким смехом старушка.

– Обстоятельства, – пояснил Садовский.

– А вы чего так рано? Спит она еще...

– Есть причина...

– А сам-то чего убег? Та, что заночевала вроде ничего, гладкая с лица. Да и эта тоже. А какая твоя? – забросала вопросами своего постояльца баба Люба.

– Моя со мной, а та, что заночевала – с нами.

– Втроех! – всплеснула руками она. – Это так теперь в городе? Ну, сами разберетесь...

Разбудив Светлану, которая уверяла, что всю ночь не сомкнула глаз Садовский предложил ей вернуться в Пустыню, в лагерь Петровича, где она будет в относительной безопасности.

– Нет, ноги моей больше там не будет, – наотрез отказалась она. – Я еду в Руссу. Оклад увезу с собой. Останки иконы...

– Вернем блаженному Алексию, – сказал Садовский.

Она не стала возражать.

– Мы проводим тебя. Уедешь на утреннем автобусе.

– Я сама...

– Неизвестно, где теперь Инженер и что на уме у Полковника. Один наверняка очнулся и теперь рыщет по лесу, другой рвет и мечет в своей «буханке». Вор украл у вора. Ни письма, ни карты, ни драгметалла с иконы... В общем, нам теперь лучше держаться вместе, – рассудила Алена.

– Хорошо, – подумав, согласилась Светлана.

Автобус подошел к остановке строго по расписанию, че-

го в Кузьминках отродясь не бывало. Людей в салоне было мало – ни одного знакомого лица. Водитель – черный после вчерашнего, был скорее мертв, чем жив. Но за баранку держался крепко.

Проводив Светлану, они отправились в урочище. Лагерь Петровича, курившийся туманом, был уже на ногах. Здесь же, к своему удивлению, они обнаружили и Полковника, который был явно чем-то обеспокоен.

– Тренера не видели? – спросил он, перебегая глазами с Алены на Садовского.

– И где твоя соседка?

Его бледное луноподобное лицо на миг застыло, взгляд остановился на Алене.

– Тренера не видели, соседка ушла вечером к вам и больше не возвращалась, я теперь с ним... – показывая на Садовского, сказала Алена. – Еще вопросы есть?

– Понятно...

Очевидно, он не поверил ни единому ее слову. Убедительно прозвучало лишь утверждение «я теперь с ним». С этим он и удалился.

– Она теперь со мной, – сказал Садовский, показывая на Алену, когда выползший из палатки Петрович вопросительно уставился на него. Пришлось во всех подробностях рассказать ему о событиях минувшей ночи, начиная с выкорчевывания креста и заканчивая проводами нагруженной серебряными ризами Светланы.

– Что дальше будешь делать? – спросил предводитель поисковиков.

– Я еще не решил. Сегодня на раскоп. А завтра посмотрим...

– Ну и ладно. Давайте к столу. А после завтрака – по объектам, согласно штатному расписанию...

– Это вам не на подиуме одним местом крутить. И не по куршавелям шлендрать, – назидательно произнес Садовский, обращаясь к Алене.

Ответом ему был образцово-показательный, как из учебно-методического пособия по самообороне удар локтем под ребра.

– Аргумент, – поморщился Садовский и поцеловал Алenu в щечку.

В раскопе они теперь работали вдвоем. Как и в прежние дни, поиски были безрезультатны – попадался всякий ржавый хлам и остатки полусгнившей армейской амуниции. Но в этой исстрадавшейся от войны, обильно политой солдатской кровью земле даже кусок зазубренного металла, в котором угадывался минометный осколок, разорвавшаяся капля пули или рваный фрагмент артиллерийского снаряда был исполнен какого-то особого, зловещего смысла. Он имел свою историю. И свою непрочтенную судьбу. Возможно, это была чья-то смерть. Или чей-то счастливый случай.

Ближе к полудню майская теплынь сменилась пронизывающим ветром, а солнце, подернутое тучами, напоминавши-

ми пушечный дым, поблекло и, словно в ожидании природных катаклизмов скукожилось до яичного желтка. Урочище объяла странная, предгрозовая тишина.

Вдруг со стороны бивуака Полковника раздались крики. Там кто-то с кем-то бранился. Или кто-то кому-то угрожал. Может быть, бранился и угрожал одновременно. Садовский присмотрелся. По склону, подталкиваемый кучерявым и «хлопцем с Запорижжя», спотыкаясь, шел блаженный Алексей. Иногда он оборачивался и, возвышая голос до проповеднической высоты, что-то гневно говорил им. Потом запускал руку в суму и бросал в своих преследователей пригоршни желтого речного песка.

Вскоре они отстали и блаженный Алексей, имевший теперь вид бредущего наугад слепого странника, благополучно добрался до раскопа.

– Что там случилось, дедушка? – спросила Алена.

– Наставляю их на путь богобоязненных, дабы не обрушились в мрачную бездну бездн. А оне что деют? Во что обряжаются, паскудники? Пошло сеют зубья дракона? Не ведают, однако, что силы зла размножаются делением! А посеvy добра вызревают плохо – то невозможно отделить зерна от плевел, то одолевают сеятелей всякие беды с победушками – потопы, недороды, засухи. Потому-то и ценен каждый росток добра. В миру и в душе каждого человека, сладчайшее мое дитя...

– А зачем ты безобразничаешь, землей в людей кидаешь-

ся? – спросил Садовский.

– Где ты людей увидел? Нехристи это. А что до земли, так я так тебе скажу. Иоанн крестил водой, Иисус Духом Святым... А я, по-твоему, для чего здесь? Крестить прахом земным? Никак. Им отгоняю бесов. Иного не достоин. Зато его у меня вдоволь. На всех хватит...

– Чудной ты, дед... – усмехнулся Садовский.

– Тот бесноватый удари мя в ланиту, как я стал нечистую силу из него изгонять. Из жидовина тож. Се нова бешенина! Только бес не выходит, ибо свиреп он, – жалобным голосом проговорил старик.

Потом, всхлипнув, сказал Садовскому:

– Я искал тебя.

– И я, – в тон ему ответил Садовский. – Нашли мы твою икону.

– Кто?

– Гробный тать. Ты был прав, старче.

– Мне в церкву, стало быть, ее. Буди градам и весям нашим щит и забрало. И во человецех благоволение. А я вот... Возвращаю твой портрет. Сейчас. И навсегда...

Юродивый размотал какую-то ветхую тряпицу и протянул Садовскому фотографию в деревянной рамке.

– Твой пращур?

– Да.

– Отец?

– Дед.

– Стало быть, родня мы с тобой...

Пергаментное лицо старца просияло.

– О чем ты, старче?

– Да как о чем, если не о том же! О том же, о чем и ты...

– Так поведай нам.

– А ты на него похож. Одно лицо! Только сдал сильно.

Ой, сдал! И вот что я тебе скажу. Женщин я ценю по стану, мужчин по стати. Дед твой статнее, породистее был. Ты ему не ровня. Нет, не ровня...

– Так ты знал его!?

Садовский выронил из рук саперную лопату и застыл, боясь спугнуть свою удачу, веря и не веря услышанному.

– Как не знать. Случилось это как пришла немчура. Что говорить... Се народ сильный, высокоподнявший рог свой на святую Русь-матушку. Тут он, дед твой, светлая ему память, смертушку свою и принял. В Пустыне, значит... – с волнением заговорил блаженный Алексей. – С тех пор много годочков пролетело. Было дело, печаль душевная меня обуяла. И глубоким сетованием ум я свой во глубину отчаяния погрузил. Но продолжал служить в гряде развалин на холме. Место священо! Хоть и поругано и осквернено. Я что думаю... Если душа нуждается в храме, значит это не родившаяся душа. А родившаяся душа и есть храм, ибо она напрямую говорит с Богом и не нуждается в поводырях. Ну да ладно. Так и маялся тут, не чая уже дожждаться. Грешен, сомневался. Но молил о душах убиенных. А теперь вот... Сво-

има очам, хотя бы и во сне! Сегодня как раз было мне видение... Во второй раз за мою жизнь грешную. Явился ко мне некий старец ликом подобен солнцу. Источал он аромат, превосходящий миро и мускус. Позволь вкусить от меда твоей доброты, говорю ему. А он поднял правую руку, как бы запечатывая уста мои, и рек так: воскресе Иван из мертвых! Стало быть, так тому и быть. И вот – преставился раб божий к нестареющей жизни! И знаешь что? Сказав это, следом вознесся и сей старец на небеса! И как тут не поверить его словам? Ликуй ныне и веселися Сионе! Ликуй и веселися... Ликуй... и веселися... Эх, многострадальное житие мое... А не пишу я с заглавной буквы в начале моего письма, потому что не ведаю, где начало. Не помню я начала и не знаю, где поставить точку, потому как не знаю, где заканчивается предложение. А если предложение никогда не заканчивается, то точка означает конец жизни и ставится она, когда впереди уже ничего нет... Увижу ли рой ангелов перед блаженной своей кончиной... Чтоб пели мне мелодию приятную, сладостную и спасительную...

Блаженный Алексей засочился слезами и мелко затряс головой.

– Знать, и мне пора. Ох, пора... Уж кая ми теперь польза чуждого терния печальнику быти.

Казалось, он бредит и словам его нет веры.

– Так ты точно знал его? – спросил Садовский, указывая на портрет.

– Я как разглядел тебя поближе – сослепу за него сначала и принял. Нашло на меня... Но вовремя опомнился...

Садовскому многие говорили об этом сходстве. Но с годами оно становилось все более отдаленным. В этом, подумал он, кроется один из парадоксов минувшей войны: деды молодеют – внуки старятся. За то и воевали...

– Нездешний он теперь житель, – продолжал юродивый. – Но я знаю, что отсель началась его дорога. А в конце ее – неколебимый трон с его великолепием. И я, грешный, к этому причастен...

– Ты можешь показать место, где он погиб?

– Могу. Но нет там никого. Все, кто был с ним и лег костями поют ныне с ангелами трисвятое. А я один остался, сирота. Стою перед тобой. Собственной ничтожной персоной...

Внезапно настроение его переменилось и он почти злобно произнес:

– Все копаешь, копаешь. Все что-то ищешь. Гляди, в землю уйдешь, как Святогор-богатырь...

– Так надо, старче.

– Не вижу я тут никого, – забеспокоился блаженный Алексий.

– А где видишь?

– Что заладил – где да где...

– А ты все-таки покажи, – сказал Садовский, дивясь блажи старика.

– А пойдём! Я-то ещё помню, где он упокоился. И все наше святое воинство вместе с ним...

Они спустились чуть ниже, где за подковообразным гребнем густо росла осока.

– Рой здесь, – сказал юродивый и Садовский поразился, насколько осмыслен был его прежде замутненный, блуждающий взгляд. – Тут была старица Ларинки, потом топь. Сейчас волглая канавка. А речка – вон она куда побежала. Да, много воды утекло. Как кровушки людской. И все теперь здесь другое... Но деда, дядю папу Ваню моего, ты здесь не найдешь. И не ищи. Нет его под землей... И никого нет... Все там...

Он показал пальцем на небо.

Напару с Аленой Садовский начал копать влажную неподатливую землю, которая чем глубже, тем больше напоминала жидкую грязь. Видимо, где-то близко залегали подземные воды.

А блаженный Алексей, усевшись рядом и внезапно закручинившись, предался размышлениям о превратностях бытия. Он как будто подводил какой-то окончательный итог, взвешивая на невидимых весах что-то себе в оправдание, что-то в укор и окидывая мысленным взором все злополучия и каверзы свершившейся своей судьбы.

– Монастырь учит посту и бдению, удаляя изнеженность и пресыщение. Так? Так. Не владел я ни серебром, ни золотом, ни сумою, ни посохом, ни двух одежд не имел. Вся моя земная роскошь – хлеб, вода да печка-буржуйка в углу. И ста-

рался, как мог возлюбить бедность, отшельничество, добродетель и Бога. Только не увидела во мне братия ни пустычника, ни пророка, ни тайнозрителя. Стал я никем и остался один. Тогда и явился ко мне посетитель, лицом подобен светочу, с телом, белым как снег. И рек: встань и иди, юрод, пришло твое время. Я – на большак, ругаться миру. Памятуя о том, что юродство Христа ради, подвигоначальника нашего – дело истинных ревнителей благочестия. Но, говорят, легко в скиту – тяжело в миру. Бес-то он нашептывает: соблюди, юродивый, сотвори глум. Я-то обитель покинул, а к миру так и не прибился. Далек я от житий святых отец, хотя и умер для суетной жизни. Да... Скажем, вот красавица с тобой. Оный выпучит на нее око, глядя на ее сменяющие друга друга одеяния и сияющие сандалии...

– Лабутены называются, – вставил Садовский.

– Кого?

– Это я так...

– Так и я так. И сяк. Всякий соблазнится, как же, а я покоек и смиренномудр. А все почему? Изнурил я плоть свою, отринул всякий телесный покой. И как Иоанн Креститель был последним из пророков, так и я стал последним из юродов. Ищи-свищи – не найдешь боле никого. И поныне бденно бодрствую, дабы образом юродства покрывать свое богоугодное житие пред человеки. Сорок лет, как Моисей хожу я по Пустыне... Но со мной нет моего народа... Мой народ полег в этой земле. А другого у меня и нет. Место это на-

зывается Череп, по-арамейски Голгофа. Ибо все вокруг усеяно черепами и костями людей, принявших мученическую смерть. Здесь каждая безымянная высота, каждое селение – Голгофа. Урочища Пустыня, Курляндское, Ольховец, Вязовка, Обжино, Горбы... Это ж все бывшие деревни. Здесь копать не перекопать. Не на одно поколение хватит... А что же я? Служу заупокойную. Паства моя кто под обелиском, кто так. Молюсь обо всех невинно убиенных и без вести попавших, за христиан и нехристей, за иноземцев и иноверцев, ибо молитва направляет к спасению и преумножает любовь. А чем больше мы любим, чем ближе становимся к Богу. Только слаб я, – вздохнул старик. – И не всегда строг к себе. Да и дурак дураком, если по чести. Одно мне прощение – что в храме, что в пути, что в хлевине какой я в заботе обо всех павших пребываю. Скажи мне – пройди по углию разженному из печи и все они тут же восстанут. И пойду! На головешках от ног – а доковыляю! В этом богомудрие мое. Может, мне и зачтется. С легким сердцем ухожу. Свершилось, слава тебе, Господи!

– Не казни себя, дедушка, ты сделал все что мог, – сказала Алена.

– Вам-то многое простится, помяните мое слово. Ох, многое. За то, к примеру, что нешвенную ризу Богоматери нашли.

– Откуда знаешь, старче, что мы ее нашли? – удивился Садовский.

– А икона сказала...

– Так у тебя ее украли.

– Украсть можно вещь. А благодать – невозможно. Она себя все одно явит... Другое у меня болит. Многа множества народа полегло здесь. И нет у меня такой молитвы, чтобы всех поднять. Тут и весь причет церковный не сдюжит...

– Ой, что это!?! – испуганно воскликнула Алена.

Разгребая лопаткой грязную жижу, она наткнулась на кость. По виду – человеческую.

– Мамочки, здесь кто-то есть...

– Что там, сладчайшее дитя? – встрепенулся блаженный Алексей.

– Здесь кто-то есть, – повторила Алена.

– Быть того не может, – упавшим голосом проговорил старик.

– Постой, ничего не трогай. Я позову ребят, – сказал Садовский.

Он с первого взгляда определил, что перед ним останки человека. Возможно, скелет. Или его часть. Не имея подходящего инструмента и не обладая необходимым опытом, поднимать его было бы слишком рискованно.

Спустя полчаса вокруг находки собралась вся группа Петровича и почти вся зондеркоманда Полковника. Поисковики приступили к работе. Остальные стояли рядом и молча наблюдали за происходящим.

Постепенно взору открылась страшная картина: скелет с

развороченными ребрами и перебитым позвоночником, а под ним другой, поменьше. Казалось, он принадлежит подростку. Но светло-русые волосы, собранные в пучок на затылке, свидетельствовали о том, что это – женщина. Очевидно, тот, кто был сверху прикрывал ее собой во время артобстрела. Но ее это не спасло. Погибли оба...

– Одна шпала – капитан, – сказал Петрович.

Помимо остатков петлиц из ямы были извлечены медицинские ножницы, несколько безопасных булавок и садовый нож «Мичуринец», который использовался на передовой для разрезания обуви, одежды и перевязочного материала.

– Девчонка санинструктором была, – сказал Андрей. – Наверное, красавица. Гляньте, как зубы хорошо сохранились. И прическа. А стальная заколка – просто в идеальном состоянии...

– Кажется, «краб» называется... – сказала Юля, не в силах удержаться от слез.

– Миной накрыло, – тяжело вздохнул Петрович. – Всех сразу...

Рядом были обнаружены еще три скелета, расположенные так, словно их разметало взрывом. За шейный позвонок одного из них каким-то чудом зацепился православный крестик с шербинкой. Андрей, мастер тонкой, ювелирной работы, сумел извлечь его из грязи. Точно такой же носила бабушка Садовского. Неужели после стольких дней бесплод-

ных поисков, после всех сомнений и разочарований он все-таки нашел то, что искал? Но уверенности не было: его смутило то, что погибший боец был сравнительно небольшого роста, тогда как его дед отличался богатырским сложением. На довоенных фотографиях – на полголовы выше и гораздо шире в плечах любого из мужчин.

Что-то здесь было не так.

Он не сразу заметил блаженного Алексея, застывшего в коленопреклоненной позе перед разрытой ямой, ставшей братской могилой для одного офицера, девчонки-санструктора и трех красноармейцев. Лишь когда старик издал сдавленный вопль все обратили на него внимание.

– Притупите мечи о камень... да престанут убийства, – запричитал он, – и не ведати бо ся что творяше... И кто же здесь? Почему? За что-о-о... Трясавицею или огневицею порази меня, Господь... И не воскрес никто... Говорил я, не ходите туда... Лица-то у всех... Не жилец никто... И вышло все по-моему... Будь я проклят...

Он закрыл рукавом глаза, словно защищаясь от нестерпимого света, встал и шаткой, неуверенной походкой побрел к развалинам храма. И долго еще, до самой ночи от церквушки доносились странные, зловещие, страшные звуки – то детский плач с причитаниями, то волчий вой с подвываниями, то какой-то несуразный лепет. И ничего из этой вселенской жалобы, этого нескончаемого речитатива с шаманскими камланиями нельзя было разобрать, только отдельные

слова – комбат, ироды проклятыя и какая-то тетя мама Та-
ня...

Когда рыдания юродивого стихли Садовский решил его проведать. Мало ли что. И заодно передать ему обгоревшие останки Старорусской иконы Божьей Матери, про которую за всеми событиями прошедшего дня все забыли. Может, это его немного утешит.

Подходя к церкви он заметил всполохи огня. Но, вопреки ожиданиям, у входа в колокольню, где блаженный Алексей устроил свою лежанку никого, кроме кучерявого не было.

– Как дела, гитлерюгенд? – спросил Садовский.

– Да пошел ты! – зло прошипел одессит и как от прокаженного бросился от него прочь.

Юродивого нигде не было. В костре чадила догорающая немецкая пилотка. Здесь же Садовский обнаружил толстую истрепанную тетрадь размером с амбарную книгу с полустершимися записями. Это было житие, написанное, судя по всему, рукой блаженного Алексея. Начиналось оно с отчетливо различимой преамбулы, добавленной, очевидно, сравнительно недавно: «Сие есть сказание о жизни, подвигах ревности по правде и прозорливости означенного раба Божия, чернеца и юрода от рождения до самой блаженной кончины сего».

Еще немного – и к тетради подобрался бы огонь...

Житие инока Алексея Христа ради юродивого

Потом, уже ближе к лету я случайно нашел бабку свою Антонину...

По правде сказать, она была мне не бабушкой, а теткой. Но я так привык называть ее бабушкой Тоней, что переучиваться не стал.

Вот как это было. Как-то я бродил по пепелищам Свино-роя в поисках заваленных под руинами погребов и брошенных землянок, где надеялся найти что-нибудь съестное. И вдруг кто-то меня окликнул:

– Лешка, ты что ль!?

Я оглянулся и увидел перед собой какое-то существо в лохмотьях – однорукую старуху самого устрашающего вида. Все в ней было, как у Бабы-Яги из русских народных сказок, только глаза добрые. По этим-то глазам я и узнал свою бабушку.

Она затащила меня в свою нору – домину ее разбросало от взрыва авиабомбы по бревнышку, накормила чем Бог послал, обогрела, отмыла и сказала со свойственной ей твердостью.

– Пока война будем куковать здесь. Напару. Никуда ты больше не пойдешь. Хватит, намаялся...

– А после войны?

– А после войны заживем, как люди. Отстроимся, заведем еще одну корову. Только бы вернулся...

Я понял, что она говорит о своем муже, которого я, чтобы не путаться, называл дедом.

– А война когда-нибудь кончится?

– Кончится. Не век же ей продолжаться.

– Ну раз кончится, то и дед вернется, – уверенно сказал я. И как в воду глядел.

Дед вернулся еще до Нового года. Правда, не весь, а то, что от него осталось. А осталось только то, что не оттяпала война. Его прикатили на двухколесной тачке, в каких возят песок и щебенку. Потому что не было у него ни рук, ни ног. Таких называли *самоварами*. Баба Тоня посадила его в самый крепкий мешок из-под картошки, повесила на гвоздь у изголовья кровати, где раньше висела подкова на счастье и стали они жить-поживать добра наживать. И я с ними.

К этому времени я уже немного отошел от того едкого смрада и дыма, который вдыхал долгие месяцы после потери моей батальонной семьи – тети мамы Тани и дяди папы Вани. Очнувшись, я сделал сразу два важных открытия – хорошее и плохое. Оказывается, живем мы хоть и в хлипком, но своем домишке, который был брошен прежними хозяевами. Поговаривали, что их всех поубивало, а может, и сами куда подались в поисках лучшей доли. Не было с нами только дочки бабы Тони – после очередной облавы ее, совсем еще девчонку, почитай, школьницу казнили. Не читала она, наверное, наклеенное на столбе возле немецкой комендатуры объявление, в котором было написано: «Все кто служить партизанен висельница».

Я как мог помогал бабе Тоне по хозяйству. Жили мы трудно, перебиваясь с хлеба на воду. Помереть с голодухи не да-

вала нам только корова, которая нет-нет да и баловала нас молочком. Уже давно наши отбили у немца Пустыню и погнали его за тридевять земель – туда, откуда он пришел, и всякая нелюдь, нерусь и нехристь перестала топтать нашу землю. Кое-как перезимовали зиму, самую тяжелую на моей памяти, потом еще одну, а весной пришла радостная весть, от которой люди стали как пьяные и помешанные – кончилась война! Все смеялись и плакали, пели, целовались, танцевали посреди дороги, поздравляя друг друга с Победой. Даже дед в мешке пытался приплясывать.

Обрадовался и я: конец войны означал, что вражеские солдаты кончились быстрее, чем наши и скоро все вернутся домой. Втайне я надеялся, что не сегодня-завтра увижу дорогих моему сердцу тетю маму Таню и дядю папу Ваню. Они сыграют свадьбу, построят новый, самый лучший в округе дом, куда мы переселимся вместе с бабой Тоней и дедом-самоваром, и заживем душа в душу. И никто нам больше не будет нужен.

Но дни шли, а ничего не менялось. Уже пришел с войны последний калека, уже народилось чудище под названием «колхоз», в котором появился целый выводок поросят, приглядывать за которыми было поручено мне, уже и поросята превратились в полноценных свиней, а мои все запаздывали.

А потом баба Тоня занедужила, куда-то ненадолго отлучилась и вернулась со спеленутым младенцем на руках. То была новая девочка взамен той, которую повесили немцы.

Больше всех ликовал дед, считавший, что появление нового человечка в доме – его личная заслуга и за это ему положен орден. Баба Тоня не возражала ему, только загадочно, негромко, как-то в себе улыбалась.

Но долго радоваться ни ему, ни ей не пришлось – спустя полгода дед мой затих в своем мешке. Гробик, в коем его похоронили, был детский, трехлокотный по причине малых габаритов усопшего. И остались мы втроем – баба Тоня, девочка размером с котенка и я.

С осени первого послевоенного года меня отправили в школу, но учеба моя не задалась. На уроках я постоянно отвлекался, отвечал невпопад, не сообразуясь с изучаемой темой. По предметам не успевал. Сущим адом стала для меня математика – сложение и вычитание, не говоря уже об умножении и делении или уравнениях с одним неизвестным. В цифири я разбирался, как свинья в апельсинах.

Друзей у меня не было, в классе я был предметом постоянных насмешек и издевательств. Окружающие сторонились меня. Будучи предоставленным самому себе, я стал разговаривать с теми, кого не было и не могло быть рядом. Это почему-то воспринималось как помешательство, хотя каждый из нас всю свою жизнь разговаривает с отсутствующими – далекими и близкими, живыми и мертвыми.

Я спорил с Бароном, молчал с Настей, пикировался с Пинером, проклинал Декстера и всю его свору, признавался в любви тете маме Тане, жаловался дяде папе Ване, как трудно

мне живется...

Меня утомляла не только учеба и работа, но и отдых. Отдых даже в большей степени, чем учеба и работа вместе взятые. Мне никак не удавалось собрать себя, понять, где кончаюсь я и начинается все, что существует отдельно от меня. Граница расплывалась, все было зыбко и как-то ненадежно. И все труднее было понять – кто я? Соотнести с тем, что окружало меня и мною не являлось.

Я – это все, что я вижу, слышу, чувствую, думаю, говорю. Так ведь?

Так.

Теперь: как я здесь оказался? И почему именно сюда, к этому самому берегу прибило меня каким-то неведомым мне течением?

Я не сам выбрал это место, это оно выбрало меня. По воле судьбы или заранее предначертанному плану. Или нет, скорей всего, я был здесь всегда. Просто выпал из первоизданной благости, как младенец из люльки. Из огня да в полымя. А потом обратно, потому как война... Позабыл все стежки-дорожки, которыми пришел в этот мир и брошенный в него без всякого смысла и разумения неловко, будто подстреленный рябчик к седлу к нему приторочился. Да еще повредился головой – добровольно отрекся от своей церквушки, перестав видеть ее во сне и грезить о ней. И с тех пор не могу опомниться, встроиться в неистово шумящую, куда-то стремительно бегущую, постоянно изменяющуюся по каким-то

своим законам жизнь. Ковыляю, ковыляю за ней, а догнать никак не могу.

Случилась и другая напасть – как-то неожиданно, вдруг я понял, что кончилось детство. Я давно догадывался, что каждый человек изгоняется из этой солнечной поры, как из Эдемского сада, а потом всю жизнь вспоминает о ней, как о потерянном рае. Пойдя трудиться, он вынужден добывать хлеб свой насущный, как согрешивший Адам – в поте лица своего. И до конца дней своих ловчить, приноравливаться, думать наперед, выгадывая, где подстелить соломку. И в этом есть что-то непреложное. Какой-то основополагающий закон всеобщего равенства.

Но окончательного равенства нет нигде. И нет справедливости, ибо кто-то вызревает постепенно, переходя из возраста в возраст, а кто-то уже рождается изгнанным из рая, как я – Алешенька, божий человечек, чье детство было украдено болезнью и лихолетьем. Да и с Алешенькой у меня не осталось ничего общего – тот золотой мальчик уже давно затерялся в лабиринтах времени и все, что от него осталось – одни лишь воспоминания, случайно всплывающие в потраченной дурными мыслями, как пень короедами, голове несовершеннолетнего свинопаса из Свинороя. Сам себе я казался чужим. Каким-то странноватым незнакомцем, присвоившим мою прежнюю жизнь. А уж людям и подавно. Для своих, деревенских я стал чудиком, Алешкой-дурачком, для пришлых – местным придурком.

Видя, что я совсем плох, ни к чему не пригоден и стремительно лечу в какой-то черный провал, баба Тоня отправила меня в городскую больницу, где лечили страдающих телесными недугами и поврежденных умом.

И вот я снова оказался там, где бескрылые ангелы заботятся о попавших в беду и оступившихся, забывших себя и отчаявшихся, в большой больничный дом, где среди белых стен, белых потолков и белых одежд толкуются исполненные надежды на исцеление и погибающие от своих немощей страдальцы.

Но все здесь было уже не настоящее, не такое, как в обители. И никакой Барон не смог бы меня убедить, что поместили меня сюда из-за моей сверходаренности или каких-то других выдающиеся достоинств. То, что однажды потеряно никогда уже не вернется в свой прежний вид и не станет подлинным.

Человек в белоснежном колпаке со страшно выпученными глазами, мой *лечащий врач*, долго расспрашивал меня про мои симптомы, ощущения и состояния, толковал про какие-то амбулаторные автоматизмы и фуги, ранние фазы и неразрешенные конфликты и отстал от меня только тогда, когда я начал бродить по кабинету, приговаривая: «И было, что поспорили из-за земли Олферий Иванович с Иваном Семеновичем. И предсказал Михайла Олферию Ивановичу, что будет тот без рук и без ног, как дед мой самовар, и онемееет...» «Что ты там бормочешь, дружок»? – посмотрев на

меня с профессиональным интересом, спросил доктор. Я же продолжал долдонить как по писаному из своей книжки – сказания о житии и чудесах преподобного Михаила Христа ради юродивого: «И вот пришел Олферий Иванович к церкви святой Богородицы в Курецке да говорит, мол, брат Иван, здесь моя земля! Ударили по рукам и Олферий Иванович рукавицей оземь. Наклонился за рукавицей, а у него рука и нога и язык отнялись, и не говорит»...

– Ты это о чем? – настороженно спросил меня лечащий врач.

А я, не отвечая на его вопрос прямо, но и не оставляя его совершенно без ответа, повторил то же самое еще и еще раз, и продолжал безостановочно говорить уже в палате, куда меня проводила сестра.

От прописанной мне активной терапии, лечения инсулиновыми шоками и нейрорептиками мне стало совсем худо. Я не помнил, что было вчера и не понимал, где нахожусь, и чувствовал себя так, словно долго и без всякой цели плывал в каком-то мутном наваристом бульоне. Я никого и ничего не замечал вокруг, ни на чем не мог остановить своего внимания и почти не узнавал лиц.

Кажется, я больше ни разу не видел того доктора, который меня принимал. Осталось в памяти только то, что через некоторое время сестра, дежурившая в день моего приезда, а может и не она, не могу с уверенностью это утверждать, кому-то с ужасом рассказывала о каком-то Дмитрие Констан-

тиновиче, с которым случился *инсульт*.

Спустя не знаю сколько дней в моей дырявой голове немного развиднелось. Наверное, меня перестали изнурять «активной терапией» и пичкать лекарствами, предоставив самому себе. Я обнаружил себя в незнакомом месте – не на своем этаже, не в своем отделении и вообще не в своем корпусе. Как я сюда попал – мне неизвестно. Видимо, повторилась история с беспорядочными перемещениями в пространстве, на которые я был так горазд в раннем детстве.

У окна я увидел худенького парнишку примерно моего возраста. Одет он был в полосатую пижаму, словно *Häftlinge* – заключенный, на груди – значок ГТО, на шее какие-то странные вздутия, словно его накачали через соломинку воздухом. Казалось, он не здесь, а где-то далеко отсюда, на каком-то капитанском мостике в открытом океане. Его внешность сразу заинтересовала меня – он был похож и на Барона, и на Пионера одновременно. «Разве так бывает?» – подумал я тогда. И подошел к нему. Еще не зная, с чего начну разговор, я опять навскидку припомнил старое, из книжки про юродивого:

– Слышу, князь, земля простонала три раза и зовет тебя к себе...

Он посмотрел на меня как на чокнутого и снова устремил свой взгляд в окно.

– Слышу, князь, земля простонала...

– Я все понял, можешь не продолжать. Я не глухой, – от-

ветил парнишка. – И что земля зовет к себе тоже понял.

– Понял-то понял, а уяснил ли? – зачем-то начал цепляться я.

Он посмотрел на меня пристально и спросил:

– Тебе чего?

– Ничего.

– Ты псих?

– Нет, я Алешенька, божий человечек.

Он еще раз в упор, с какой-то особой сумрачностью на меня взглянул и отвернулся. За окном зеленели кусты, деревья и газоны. Было лето.

– Третья декада июля, – сказал я. – До Ильина дня рукой подать... А репу сей на Аграфену-купальницу – хороша репа будет...

Так зачиналась история о том, как бывает долог и тернист путь к Богу и как важно к Нему в конце концов прийти, чтобы рано или поздно оказаться в начале начал. И как сделать так, чтобы Бог пришел к тебе, чтобы откликнулся на твой призыв и твое упование. Чтобы Он не разбил твои надежды, как Моисей скрижали.

И тогда я решил рассказать этому не по годам серьезному парнишке, как там на самом деле было, когда нас и ничего из того, что есть не было.

– В общем, слушай, – сказал я ему. – Вначале было слово. Потом прошло несколько дней. Понедельник, вторник... А может и среда, не знаю. А на какой-то четвертый или пятый

день боженька сотворил человека. Так сказано в одной умной книге, которая зовется Библия. Но боженька так устал, что человек получился не так, как он того хотел. Какой-то непослушный и задиристый. Как только боженька отвернется – тут сразу смертоубийство и блуд. Но боженька добрый – он не стал карать неслуха, а сделал так, чтобы человек умирал, но не до конца. Чтобы он мог начать другую жизнь – без греха. Боженька не оставит нас, нет. Он все видит, все знает и плачет о нас...

Парнишка на меня не смотрел, но было видно – слушал внимательно.

– И что ни попросишь у него – все он исполнит. Надо только искренне, от всего сердца попросить. А не так – бе-бе-бе. И не ерунду какую-нибудь. Не корыто, как в сказке о рыбаке и рыбке. И еще надо какую-то жертву принести. Или урок выполнить – только тяжелый. Послушание какое. Или просто стать святым.

Он молчал. На меня не смотрел. Но не уходил и как будто чего-то ждал.

– Тебя Илья зовут?

Он отшатнулся от меня, словно я привидение, возникшее из ниоткуда, или заговоривший огнетушитель. И спросил:

– Ты откуда знаешь?

– Само угадалось, – рассмеялся я. Но мой смех скорее напугал его, чем расположил или обрадовал. – Не обращай внимания. Из дурака и смех плачем прет.

– Что ты еще обо мне знаешь? – недобро прищурился Илья.

– Ты и правда хочешь знать?

– Правда.

– Здесь уже нет войны, но смерть – она никуда не делась, – издалека начал я, не зная, как сообщить ему, что лицо у него – нет, не серое, а какое-то землистое. Не мог же я сказать ему: ты – умирающий. И пожелать приятных снов.

– Говори, что же ты замолчал, – после затянувшейся паузы подтолкнул меня к дальнейшим откровениям Илья.

– Ты вот что скажи мне, – ушел от ответа я. – Если мы не умираем совсем и не умрем – то мы еще будем кого-то любить?

– Если нет, то да. А если да, то нет, – лаконично ответил Илья.

Я снова замолчал, задумавшись о тете маме Тане и всех, кто был мне дорог.

– Ты что, заснул, божий человечек? – вывел меня из задумчивости Илья. – Станный ты какой-то. Давай дальше, раз уж начал...

– Если ты великомученик, то сразу попадешь в рай...

– Черт с ним, с раем! – взорвался Илья. – Жить-то я буду!?

– Нет.

Это вырвалось у меня невольно, само собой. Я даже не понял сначала, вслух я это сказал или про себя. Но через мгновение все сомнения отпали. Конечно, вслух.

– Пооди прочь, урод! – закричал он и закрыл лицо руками.

И я поплелся в свое отделение, ругая себя самыми последними словами. Утешитель из меня получился никудышный. Не стоит и пытаться. Пусть уж лучше будет спасительная ложь, чем правда, которая слишком жестока, чтобы в ней понастоящему кто-то нуждался. Она ведь всегда многолика. У нее такой же огромный тираж, как у газеты «Правда». Одно слово – Алешка-дурачок. Как есть блаженный.

На следующий день Илья подошел ко мне сам. Было это в больничном дворе, куда я спускался, когда выдавался погожий денек. Без всякого дела – просто погулять или посидеть на лавочке.

Он долго мялся, прежде чем заговорить. А когда заговорил, вид у него был смиренный, не в пример вчерашнему, и какой-то виноватый.

– Ты вчера толковал что-то там... Про жертву... И про урок...

– Я и сам не знаю, что на меня нашло. Несу всякий вздор.

Наверное, у меня тоже был виноватый вид. Язык-то мягок, что хочет – то и лопочет. Особенно когда не в ладу с головой.

– Это не вздор, – серьезно сказал он. – Я разговаривал с одной девочкой. Она больна...

Тут он произнес название болезни, про которую я слышал впервые – в нашей обители пациенты с таким диагнозом не встречались. Начиналось оно со слова мука, а потом шло

что-то похожее на жало пчелы и заканчивалось дозой. Пчела в муке. С дозой чего-то там. В общем, я не понял, что это такое.

– Она сказала, что надо только очень верить. Потому что если веришь – ты всемогущ... .

Илья словно прислушивался к тому, что говорил, как бы взвешивая сказанное на весах здравого смысла.

– Ты всемогущ и можешь еще успеть, пока сила с тобой. Так она сказала. Тогда включится магия. А магией владеют только старики и дети. Потом это уходит.

– А эта магия – она помогла той девочке? – спросил я.

– Не знаю. Больше я ее не видел. Поэтому я и хочу попробовать то, что ты сказал...

– А у тебя тоже этот...

– Нет, у меня лимфосаркома.

Я не стал допытываться, что это такое, но понял, что это очень плохо.

И тогда Илья рассказал мне, о чем он думал всю ночь. А думал он о том, что если заключит договор с боженькой, то останется жить.

– Понимаешь, у меня смертельное заболевание. Рак крови. Мать все время плачет, ничего не может с собой сделать. Мне от этого только хуже, лучше бы она совсем не приходила... Но я не умру, это точно. Через месяц я выйду отсюда здоровым. Я нашел выход. Я буду стойко переносить все процедуры, могу даже отказаться от наркоза. За это он вы-

купит меня у смерти. Вот такой сговор.

– Не сговор – завет.

– Пусть будет завет, – легко согласился Илья. – Лишь бы он принял мою жертву.

– А я буду за тебя молиться, – пообещал я.

– А ты умеешь?

– Не умею так научусь. Главное, чтобы молитва от сердца шла.

Чтобы как-то приободрить Илью в его трудном положении, я вновь обратился к речениям из жития Михаила и молитвослова в конце книжицы, зачитанной мною на досуге до дыр. Смысл этих речений был для меня туманен и в то же время чарующ:

– Да пленит наш кичливый ум в послушание веры, избавит от самомнения, суемудрия, ложных пагубных учений, и дарует нам мудрость духовную...

Илья посмотрел на меня так, словно я только что скрепил его завет с боженькой сургучной печатью.

С того дня мы стали встречаться чуть ли не ежедневно. Чаще всего к Илье приходил я – после процедур он долго отходил от *пункций* и часто чувствовал себя плохо. Я поражаюсь той стойкости, с которой он переносил все выпавшие на его долю страдания и как мог старался отвлечь его от мрачных мыслей.

Однажды начальник отделения, в котором он лежал, попытался выпроводить меня восвояси, но за меня вступилась

мать Ильи – изможденная женщина с заплаканными, словно покрытыми целлофаном глазами. Она часто навещала сына, чем расстраивала и его, и себя. Только душу бередила.

– Не надо, пусть останется, – попросила она.

И каким-то умоляющим жестом заломила руки.

– Это его единственный друг. Старые друзья теперь не навещают его...

– Что ж, я не против, – сказал доктор. – Теперь вы понимаете в болезни вашего сына не меньше моего. И знаете, что ему нужно...

– Не дай Бог изучать медицину по болезням своего ребенка, – сказала она и уткнулась в свой мокрый от слез платочек. Глядя на нее, я почему-то вспомнил Настю и ту беззащитную березку, которую она без конца рисовала в своем альбоме. Мне всегда казалось, что эта березка делает книксен. И тогда меня впервые посетило сомнение. Оно было сродни предчувствию, похожему на тень от набежавшего в солнечный день облачка и с тех пор не покидало меня. Я не мог не видеть, что в лице Ильи землистый оттенок неумолимо сменялся серым. И истово молился по ночам, чтобы его минула чаша сия.

Дни шли. Ему становилось все хуже. И вот однажды, когда я заглянул к нему в палату в меня полетел граненый стакан. Жалобно звякнуло и рассыпалось по полу разбитое стекло. Я стоял, ничего не понимая и видя перед собой только бледное, с провалом рта и глаз пятно – искаженное болью и яростью

лицо моего отчаявшегося друга.

– Зачем все это? Ради чего!? Я не верю в твоего боженьку, никакого боженьки нет! – кричал он, извиваясь в постели.

Потом сквозь надрывный плач и невнятный скулеж до меня донеслось:

– Я же так просил его... Я умолял его... Боженька, миленький, помоги мне, выручи, я все вытерплю. Завет! Обман один, а не завет... Не верю, ни во что больше не верю... Впереди только смерть, могила, черви...

Я хотел было к нему приблизиться, обнять его, как-то утешить, но чья-то рука схватила меня за шиворот и выволокла в коридор.

– Не надо тебе на это смотреть. Не приходи больше, – сказал голос откуда-то с потолка.

Это был начальник отделения.

После этого я видел Илью всего один раз. Обколотый обезболивающими лекарствами он уже ни на что не реагировал и даже не повернул в мою сторону голову.

В третий раз я застал только аккуратно застеленную кровать, без Ильи.

Случай этот ошеломил меня. И заставил задуматься над тем, насколько неизбежной была эта смерть, насколько справедлив и милосерден такой приговор и кто решает, что есть, что будет и чему должно быть. Кому жить, а кому, как Илье исчезнуть с лица земли. И было еще какое-то странное чувство зыбкости, нереальности всего сущего, навеянное этим

разительным переходом от живого к мертвому, от движения к неподвижности, от бытия к небытию. Словно мы фигурки из цветной бумаги и кто-то всемогущий волен вырезать нас своими гигантскими ножницами из красочного полотна жизни, оставляя только пустой, зияющий, как замочная скважина сквозной контур.

Чего-то я не понимал, не мог понять, охватить своим убогим умишком. Получается, не только люди и вещи совсем не такие, какими мы их видим. Совсем не такими оказываются и события. И проникнуть в их сокровенную суть дано только тому, кто верит во Всевышнего. Даже не столько верит, сколько доверяет Ему и покаянно вверяет в Его руки всего себя. Все, даже непонятное и непознаваемое имеет свой смысл и свою цель, убеждал я себя. Смерть Ильи я воспринял не только как потрясшую меня утрату, но и как назидание. Со всей очевидностью я осознал, что нельзя богохульничать, требовать от Него поблажек, снисхождения или выполнения каких-то договорных обязательств. Никому это не позволено. Его можно только просить и то лишь после того, как исповедуешься в своих грехах.

Никому бы я не пожелал такой участи, даже злейшему своему врагу. И себе не пожелал бы. Я заключу с боженькой иной завет, решил я тогда. И с тех пор старался как мог «горняя мудрствовать, а не земная», и все помыслы направлять на поиск своей тропинки к Богу, заботясь лишь о том, чтобы с этой тропинки не сбиться и не сверзнуться в пропасть. Ибо

сказано, что без таковых усилий, без каждодневного усердия невежество, нечувствие и разлечение заступят место совершенств духовных.

Впрочем, легко сказать – трудно, не размениваясь на второстепенное и не теряя из виду главное, изо дня в день принуждать себя к подвигу, труду и многому терпению. И открылось мне тотчас, как мал я, неразумен и слабосилен.

После выписки все как-то незаметно вернулось на круги своя – я возвратился к бабе Тоне в деревню и снова был поставлен пасти колхозных свиней. Поначалу было непонятно, как из этой ограды вырваться и куда направить свои заплутавшие стопы. После долгих и тягостных раздумий пришел я к такому выводу, что следует мне, дабы не питать плоти, которая бич наш и сущее наказание, строго придерживаться трех обетов – девства, нестяжательности и послушания, поскольку в них главным образом заключается основание и дух подвижничества.

Вывод-то выводом, а делать-то что? К чему прилепиться, чтобы исполнить задуманное? Этого я не знал, да и не мог знать тогда.

Так длилось бы, пожалуй, неизвестно сколь долго, если бы не случилось одно происшествие накануне праздника блаженного Прокопия. В этом происшествии усмотрел я знак.

В общем, задумал я пойти ночью в лес – посмотреть на чудо чудное, цветок папоротника, зацветающий на Купалу. По поверьям, завладевший им получал дар все видеть и слы-

шать, самому при этом оставаясь невидимым и неслышимым, сиречь тенью-невидимкой. Зачем мне нужен был этот дар я не задумывался, но очень хотел обладать им. Да и любопытно было – а вдруг...

Устроился я на пеньке в замечательном со всех сторон месте – на краю полянки, где в изобилии рос папоротник, а по осени водились опята. Чтобы все было по заведенному ритуалу очертил, как Хома Брут воображаемый круг, оберегающий от нечистой силы, трижды перекрестился, поклонился на четыре стороны света и стал ждать, что будет дальше. В одной руке я держал нательный крестик, а в другой перочинный ножичек, чтобы сразу срезать появившийся цветок. Промедление здесь было непозволительно, так как цветение папоротника – явление эфемерное. И кто зазевался – тому, видно, не судьба.

Несколько раз мне померещилось, что я вижу какое-то свечение в траве. Но это был святлячок, сонно ползающий по стеблю папоротника. Потом зажгли фонарики и его жуки-собратья, отчего мне показалось, что поляна озарилась огоньками церковных свечек, поставленных за здравие и за упокой. И тут между деревьями невдалеке от меня, где-то возле речки, вспыхнул огонь. Сначала я подумал – вот он, цветок, это он и есть, огромный, жгуче-прекрасный, пылающий киноварью. И даже испугался такой удачи. Но оказалось – нет. То наши, свинойские, решили на мою беду отпраздновать самую волшебную ночь в году, как это делали

их далекие предки – в лесной чаще, вода хоровады, прыгая через костер и предаваясь любовным утехам.

Мне же, юношеских страстей удержавшему взыграния, воздержанием отринувшему плотские страсти сие было чуждо, хотя и вводило в немалый соблазн. И теперь я уже не сторожил, как прежде, зацветающий папоротник, а смотрел больше на парней и девок, с криком и визгом кидającychся в пламя.

Одна из девонек отошла в сторону, уединилась и только приготовилась в кусточках, как была настигнута неким молодцом, который в темноте скрутил ее своей силищей и надругался над ней по-своему. Да и скрылся, как тать в ночи. А я сидел, будто истукан, не зная что делать – то ли звать людей на помощь, то ли защищать ее, то ли броситься за татем в погоню. И досиделся.

Та девчушка вышла из зарослей, поправляя платье, наткнулась на меня в темноте, ойкнула и побежала к своим. Пожалуй, смекнула, меня завидя, что это я был с ней и показала на меня как на своего обидчика. Как-то ведь уверилась, несмотря на темень. А по сути душой покривила, напраслину возвела.

Спустя время вся деревня с дрекольем побежала гонять меня по округе, будто зверя лютого, чтобы научить уму-разуму и отвадить насильничать над девками. Хотя еще в юности цветущей плоть я свою яко аспида возненавидел, хотение телесное хладом святого духа угасил. Но никто и разби-

раться не стал, что к чему.

Так был изгнан я с насиженных мест, вспугнут и поднят на гон. Злая судьбина заставила меня пуститься в скитания по близлежащим и отдаленным землям, продлившиеся без малого тринадцать лет. Отгулял я свою чертову дюжину, можно сказать, сполна. Нигде подолгу не задерживался, жил где придется, батрачил, не гнушаясь никакой работой, ел что Бог послал, словом, как говаривали представители партийных и советских органов власти, злостно тунеядничал. И продолжалось это до тех пор, пока не набрел я на развалины Свято-Троицкого Михаило-Клопского монастыря, что у села Сельцо на слиянии рек Веряжа и Вдова.

Вышел я на него случайно. Хотя все случайности в моей жизни, как я давно заметил, были далеко не случайными, словно кто-то вел меня за руку, подводя к некоей черте. Видно, звал меня к себе преподобный Михаил Христа ради юродивый, чьи святые мощи почивали в приделе бывшей Троицкой церкви.

Самого монастыря как такового не было уже много лет – остались лишь его очертания в виде каменной ограды с башенками по углам, полуразобранный на кирпич храм, за ним еще один, поменьше, колоколенка и всякие подсобные помещения, где прежде размещались кельи, баня, квасоварня, ледник и кладовая. Большевики вмиг, как везде и всюду обратили здешние алтари в жаровни, склады и конюшни.

Этих монастырских руин и стал я насельником.

Местные неоднократно пытались выпроводить меня отсель. Поначалу подобру-поздорову, потом с угрозами. Не нравилось им мое соседство. Бывало и бивали, да крепко бивали. В общем, доставалось мне. А за что – и сами драчуны сказать не могли. Пропадет у кого коза или гусь какой – они сразу ко мне. А я почему знаю, где они? Через пару дней живность находилась где-нибудь в лесочке или соседском дворе, да что толку – я-то уже бит.

Было дело, случилось одной доярке пастись с каким-то пьяным гулякой и зачать от него. А когда пришло время рожать приступили к ней с вопросом – кто отец? И сказала она, не желая выдавать подлинного виновника содеянного, что была в тайной связи с бродягой из Свято-Троицкого монастыря. Зачем она так сделала – не мне судить, только никто не поверил ей, хоть и была она девицей добропорядочной и вела достойный образ жизни, пока не понесла от неизвестного. Я не стал отпираться, пусть и не видывал ее до этого ни разу. И по примеру святого Симеона юродивого «нача рабыню ту звати женою своею». Никто не поверил и мне. Следом объявился настоящий отец ребенка, признавший его своим, и вся эта история сама собой сошла на нет.

После этого как-то все от меня разом отстали. Решили, что живу я честно, не ворую, смирен и незлобив, хотя и маленько не в себе. Даже дети перестали кидаться камнями и досаждают мне кричалками – чернец юродивый, чернец юродивый! И кто их научил? Наверное, какая-нибудь дореволю-

ционная бабка, помнившая странствующих по дорогам новгородчины монахов.

Попривыкнув ко мне, колхозные люди чуть подобрили и стали подбрасывать мне всякую нехитрую работенку – на стройке, в огороде или в поле. Платили немного и очень редко деньгами, в основном вещами и продуктами, но мне хватало. От милостивых нищелюбцев перепадало и подавание. Однако основным моим занятием были сенокосы и рыбные ловли. В этом деле я так наловчился, что ко мне приходили не только из самих Сельцов, но и также из Хотят, Завала и Донцов. Тем и находил себе пропитание, утешая и поддерживая себя словами Феодорита, сказавшего: Бог же всяческих неучеными победил ученых, нищими – богатых, и рыбаками уловил вселенную.

Так и жил я – в лете зноем опаляем, зимою от мраза померзаем. Трудно жил. И когда было уж совсем невмоготу, говорил себе: не плачься над собой, Алешенька, божий человек, встань и иди. Помня о суровом военном быте в окопах, которые мне приходилось обживать в войну, я из подручных материалов соорудил себе в искрошенных стенах Троицкой церкви схран, склепал печку и в холода топил свое убежище, как преподобный Михаил конским навозом. Там же пережидал и летнюю жару, и осенние ливни, и весеннюю распутицу.

Одновременно, если позволяла погода и время года я вел свои раскопки, отыскивая свидетельства старины и пребывания в сем месте великих угодников Божиих, тайных мо-

литвенников за грешный мир, не прельстившихся земными благами. Среди моих находок встречались останки праведных мужей и жен, причастников божественного естества, захороненных в монастырской ограде, начиная с пятнадцатого века, ибо был продолжительный период, когда здесь располагалась женская обитель. Нашлись осколки двух припрятанных до лучших времен колоколов из девяти упомянутых в послереволюционной описи. Самый большой, стопудовый, очевидно, был закопан, увезен или переплавлен для нужд зачинателей новой жизни. Попадались также всякая церковная утварь – почти не пострадавший бронзовый потир, гнутые или обломанные ложечки для причащения, сильно поржавевшее копие – обоюдоострый резец с треугольным лезвием.

Большим моим приобретением стали также чудом сохранившиеся, хотя и изрядно поеденные временем книги богословского содержания, среди которых нашел я и лечебник с описанием полезных растений, древними рецептами и советами по выхаживанию занедуживших. Так и сделался я, помимо всего прочего, травником.

Но главной моей наградой стало установление места упокоения Михаила, сего пламенного ревнителя благочестия. И обнаружил я в нем источник, источающ токи исцелений – с чем придешь и что попросишь. Чистой душе, покаявшейся в своих грехах и обратившей помыслы свои к Богу Михаил разве откажет в помощи? Никогда. И стало мне казаться, что наливаюсь я силой его и прозорливостью, и разумением, и

блажью животворящей.

И вот однажды, прослышав о том, что я весьма сведущ в травах обратилась ко мне женщина с непроходящей хворью, потом другая с заболевшим ребенком, за ней третья. Всем помогал я молитвой и разным снадобьем, не своей силой исцеляя, но с божьей помощью и духом Михаила.

Узнав это, потянулись ко мне и мужики. Приходили сначала хмурые и настороженные, с быстрым взглядом исподлобья, потом же, когда общий настрой изменился – с полным доверием.

К знахарству своему я присовокуплял беседы на душеполезные темы, что официальной идеологией, конечно, не приветствовалось и воспринималось строителями коммунизма как гремучая смесь суеверия, невежества и мракобесия. Но люди шли, охотно слушали меня и по моей молитве получали желаемое: тяжелые больные, кого привозили – облегчение, средней тяжести – улучшение, легко занедужившие – исцеление. Ведь не пучком травы токмо жив человек, а верою единою в единого Бога. И чем она крепче, тем сподручнее ему среди человеков, тем легче дух его и тем ближе он к небесам обетованным.

Правда сокрыта от нас, наставлял я своих посетителей и тех, кого по просьбе родственников посещал сам, и для того, чтобы ее узреть надо взглянуть на мир глазами Бога, то есть настолько приблизиться к Нему, чтобы вновь, как и в первые дни творения стать его образом и подобием. Но большинству

это не нужно. Большинство бежит от этого усилия, как черт от ладана. Оно, большинство, так устроено. Однако это не снимает обязанности меньшинства всеми силами стремиться к свету солнца правды. Цель человека, говорил я страждущим, уподобиться в такую меру Христу, какая только возможна, чаема и соразмерна его вере. И нет в этом ни умаления, ни подвига, нет чего-то непосильного и непреодолимого – путь к Богу есть путь радости.

Закрепившись в авторитете среди местного населения, я стал объектом гонений для власть имущих. Впрочем, длилось это недолго. После того, как я поставил на ноги внучку второго секретаря райкома партии, состояние которой после лечения в районной больнице резко ухудшилось от меня отстали и больше ничем не досаждали. Живи себе, бродяга, как можешь, человеколюбивая советская власть закроет на тебя глаза, будто тебя и нет.

Так проходили годы и целые десятилетия. И все это время как-то сам собой вставал передо мной неотступный, занозистый, постоянно свербящий вопрос: кто я и для чего я здесь? Каково мое назначение? И для того ли живу, горе свое мыкаю, тружусь на ветер, чтобы меня не стало?

И самое главное, по своей главизне первое: если я не совсем пустынный, не совсем не от мира сего, то какое право имею проповедовать, от чьего имени? Какой подвиг христианского благочестия мне следует избрать – столпничество, затворничество, отшельничество или молчальничество, что-

бы снять это противоречие? И смею ли я взваливать на себя такую ношу? По чину ли мне такое послушание?

Проводя долгие вечера в раздумьях, я все чаще обращался в мыслях к светлому образу преподобного Михаила, чьи мощи почивали под спудом в порушенной Троицкой церкви. Вглядываясь пристально в его житие и чудеса, я нередко вступал с ним в беседу, иногда в споры, касавшиеся той или иной житейской ситуации, толкования Библии или церковного канона. Я обращался к нему за советом, одобрением, за всякой иной надобностью, но более всего – за поддержкой, ибо чувствовал непроходящую немощь свою душевную и физическую. Он стал мне другом, наперсником и единственным исповедником, к которому я мог обратиться с любым вопрошанием, любой даже самой вздорной болячкой.

Я настолько свыкся с его духовным присутствием, что перестал различать разницу меж нами, перестал понимать кто есть кто. И в нем, руководителе к мудрости и исправителе мудрых было что-то от меня самого, и во мне, грешном, от него, от его поучений, наставлений и увещаний. И сам не заметил я, как святозарный лик Михаила был замещен моим, и сделался он обличем темен, и одно стало неотделимо от другого, словно примеряемая мною маска преподобного приросла ко мне намертво. И скоро позабыл я уже свое настоящее имя, ибо обрел новое, дарованное мне знанием устройства мира и действия стихий, смены поворотов и перемены времен, природы животных и свойств зверей, стрем-

лений ветров и мыслей людей, различий растений и силы корней – тем сокровенным знанием, которого стал я обладателем, подобно Соломону, благодаря прикосновению Премудрости, художницы всего. Ведь тех только она и посещает, кто много упражнялся в нестяжательности и ревности к слову Божию, кто насмеялся над демонами и не сделался их игралищем, кто весь вперен в Бога и готов исполнить долг свой до крови.

И когда пришли монахи из Нова-Града, чтобы восстановить из руин обитель и возобновить в этих стенах порядок богоугодной жизни встретили они в монастырских развалинах не Алешеньку, божьего человечка, а подобие восставшего Михаила.

Помню, подвела меня братия к игумену и предстал я пред мужем дивным: длинная борода его раздваивалась на персях, а сам он был толст и благообразен весьма, но более все же толст. Облачение сидело на нем мешковато и говорил он с одышкой, глядя мимо собеседника.

Подробно расспросив о сем месте, он не стал гнать меня прочь, как предполагалось вначале. Так получил я игуменское благословение и остался при монастыре. На правах сидельца я устроился на заднем дворе и стал зваться иноком. Так началась моя жизнь среди чернецов. Не скажу, что это как-то подняло меня над обыденностью или преобразило духовно. От многих из братьев я был уничижаем и поношаем, и сует претерпел немало, но отнюдь не озлобился и не оже-

сточился, памятуя о поучении святого Тихона Задонского, который рек: в Царство Божие идут большей частью не от победы к победе, а от падения к падению...

Понимаю теперь, что не по душе была им моя нетерпимость ко всяческим их немощам и слабостям, ибо грозен я был в своих обличениях, требуя стать прозрачными до такой степени, чтобы через них, как сказал митрополит Антоний Сурожский, лился Божественный свет.

Откуда во мне это взялось? Так и не я это был вовсе, а вселившийся в меня дух преподобного Михаила, жегший все и вся вокруг. Одержимость моя стала как кость в горле многим. И многие уже готовы были сжить меня со свету, полагая меня безумцем, возомнившим себя выше не только игумена, но и самого патриарха. И то правда, если учесть ход моих рассуждений и сложившееся в этой связи представление о предлежащей мне миссии.

А мыслил я так: Предтеча, последний из пророков и первый из апостолов, крестил водой, Иисус Христос – Духом Святым и огнем, я же вознамерился крестить прахом земным, ибо из праха мы вышли, в прах и обратимся...

При этом Иоанново крещение подразумевало покаяние, Иисусово – отпущение грехов, мое же – мирской суд и укор нераскаявшимся, напоминание о том, что грешить с подленькой мыслишкой вымолить впоследствии прощение, наступая на одни и те же грабли, непозволительно. Грешнику-рецидивисту должно гореть в аду, и смерть принять, как

оброцы греха.

При моем крещении, понятно, воды Веряжи и Вдовы не загорались огнем, как Иордан. Да и не было в этом никакой нужды, ибо горел я сам неопалимой купиной.

«Камо грядеши? Ступай и не греши!» – говорил я каждому встреченному мной монаху. И далее пояснял: Христос принял на себя все грехи мира. Значит грешить далее стало невозможно. А мы грешим. Значит грешны мы вдвойне и тройне. И, стало быть, тяжесть греха умножилась.

Ответом мне были косые взгляды, пересуды и недобрая молва по углам. Но я терпел ради высшей цели, из духа кротости и убеждения, что тот, кто не устоит перед соблазном, не помирится со своей совестью на этой земле безответным предстанет перед судом Божиим.

И был мой обличающий голос гласом вопиющего в пустыне. Давно заметил я: как только церковь перестала быть гонима – к ней сразу прилепилось множество попутчиков – мастеров мимикрии и выгодоприобретателей. И настало время, когда иные священники, кому по роду занятий положены пост, аскеза и духовное бдение стали князьями мира сего, обрели богатство и лоск, поддались всяческому искушениям, далеким от святости. А еще Святой [Макарий Великий](#) говорил: «Если увидишь, что кто-нибудь превозносится и надмевается тем, что он – причастник благодати, то хотя бы и знамения он творил и мертвых воскрешал, но если не признает души своей бесчестною и уничиженною и себя нищим

по духу и грешным, тот вкрадывается злобою и сам не знает того...»

Так и обретался я при братии, не имея на земле пребывающего града, но грядущего взыскуя, отвергнув нечестие и мирские похоти, не прельщаясь и не прилепляясь к тленным мира сего благам.

Но всему приходит конец. Наступил предел и моему житию в монастыре. Случилось это неожиданно, без глашатаев, провозвестий и видимых примет, не то чтобы буднично и тихо, но и не громогласно. Только в ночь перед изгнанием было мне видение: Михаил и олень его, за которым гонялся преподобный почитай три недели после того, как тот неожиданно исчез из обители. И будто смотрят они на меня в четыре глаза – блаженный сочувственно, а олень как придет-ся, равнодушно взирая своими крыжовинами и жуя какую-то солому. И тут я понимаю, что олень-то тут неспроста, он тут главный, потому как не велит пускать Михаила в обитель и брать от него ни кануна, ни свечи, ни просвиры. А Михаил – это я и есть.

И был мне *глас с неба* глаголющ: **гряди, юроде!** Прими не один венец терновый, но многие во спасение душ человеческих! Святым Духом наставляем, в юродство претворися!

И пал я ниц пред лицом говорившего.

И тут же проснулся, и вскочил, как нахлыстанный, и очи распахнул, будто узрел архангела Гавриила или с колокольной сверзился...

Спустя долгое время возвращаюсь я к своим записям, ибо о многом мне поведать должно. Вспоминать об этом больно, но и забывать не след. Теперь-то я, пишущий эти строки, понимаю, что говорила во мне гордыня, мать всех пороков, семя сатаны. Расскажу все как было, из-за чего был изгнан я из Клопско.

Случился как-то в монастыре переполох – в то утро пропала из покоев игумена панагия, образок Богоматери. И стали обыскивать все кельи – одну за другой. Пришли и на мое гноище, где я коротал дни в сирости и убогости своей.

– Что потеряли? – спрашиваю.

– Что потеряли тебе знать не велено, – хмуро отвечали мне.

И только один совсем молоденький сердобольный монашек, рябой с лица пояснил мне, из-за чего волнение.

И припомнилось мне, что было уже такое во времена преподобного Михаила, когда также потерялась панагия и все с ног сбились, разыскивая ее. Тогда велел юродивый в печи золу раскопать. В ней она и нашлась.

Не то было в этот раз. Все перевернули вверх дном – ни следа. Просеяли золу – нет панагии! Невольно закралось сомнение, а была ли она?

– Впустую проплутали наши! – сокрушалась братия.

Тогда один из иноков подсказал: а вы в вещах дурачка нашего посмотрите, может там. А был он не единожды уличен

мною в бражничестве, нерадении к молитве и посту, и, что известно мне доподлинно, долго копил на меня злобу. Тут случай и представился.

И нашли. Только не образок это был, а огарок иконы, найденный мною еще во время войны в разбомбленном обозе.

– Иконы жечь!?! Прочь из монастыря! – вознегодовал игумен и борода его раздвоенная сотряслась вместе с ланитами и персями.

И шумела братия: се *бесноватый!* Не место ему здесь!

И покинул я обитель после сорока четырех лет пребывания в ее стенах – ровно столько же прожил в монастырской келье и преподобный Михаил, с которым я теперь разминулся в мире подлунном, вновь став самим собой или подобием себя прежнего. И вновь побрел я по земле новгородской, зимою люто померзаем, летом зноем угараем. И ушел, как был в раздранных плесницах, больше похожих на нищенские опорки, овогда храмля, овогда скача хождаше. И некому было подать мне укруг хлеба и ковш воды. И угасал я, несчастный, и стекала плоть моя на землю, как вода, и одряхлел весь облик мой; живя посреде множества людей, не име где главы преклонити, от человек и от скотов попираемый: нищии бо мене от куц своих прогоняху, богатии в дворы своя не пускаху.

И тут только отчетливо осознал я, что жизнь моя клонится к закату – я уже не молод, а вельми стар, сед, поизношен и потерт жизнью. Явился я на свет при Сталине, когда сви-

репствовал закон о трех колосках, по которому за хищение госсобственности полагался расстрел или 10 лет с конфискации имущества. А сейчас Путин при дворе, из феодальной раздробленности скрепляющий новую Русь, и страна – один из мировых лидеров по экспорту пшеницы. И это если не вспоминать промежуточных вождей – Никиту башмачника Хрущева, дорогого Леонида Ильича, череды с чехардой окачурившихся один за другим генсеков, говоруна Горбачева и весельчака Ельцина...

И ссыпались кости мои в пыль известковую. И избрал я путь непротivления, чреватого медленным умиранием и окончательным распадом. Ведь если совсем ничего не предпринимать, не понуждать себя делать самое необходимое, если утратить все свои привязанности, привычки и саму волю к жизни – непременно исчезнешь с лица земли, отойдешь в мир иной. И будет это не самоубийство, а постепенное уменьшение, невмешательство в естественный ход вещей, пассивный способ подчинения довлеющей над тобой природе. И никакой это не грех, если не брать во внимание первопричину столь великого упадка – уныние, проистекающее от открытия полной и окончательной своей ничтожности и затерянности. Ведь если я не Михаил, то нет меня. Или не должно быть. А я не Михаил. Теперь это точно. Значит, меня и не должно быть. Кто же есть, если меня нет? Бренная оболочка.

Однако тот человек, которым я был на тот момент истлел не окончательно. Что-то подтолкнуло меня на последнее уси-

лие. Какой-то проблеск надежды, который на исходе сил и испускании духа дается каждому живущему. И если нет у тебя веры, нет сострадания и мужества, если любовь твоя ослепла и оглохла, как столетняя старуха, потеряла себя и не знает, к кому обратиться – возлюби Бога, начни сызнова восхождение свое к Нему, ибо падать тебе больше некуда. Только все потеряв – обретешь.

Поглядев же так и эдак, семо и онамо, и не виде никогоже отправился я на поиски Пустыни, откуда произошел, чтобы окончательно упокоиться в уединении, отрешенности и постылости своей.

И вот пришел день, когда предстал передо мной холм и дивная моя церквушка, сияющая в лучах восходящего солнца, как драгоценная корона с изумрудами и топазами. Реснички ее, несмотря на безоблачное небо, были прикрыты. Видно, нелегко пришлось ей, болезной, в мое отсутствие и требовалось мне немало потрудиться, чтобы разбудить ее. И проявилась во мне новая сила, и вера такая злющая и неистребимая, что может и горы проставлять. И подумалось тогда: хоть и выпроводила меня братия за пределы храма, кому по силам изгнать меня из церкви? Вот она, сиротинушка моя, предо мной стоит.

Понял я, что ждут меня здесь не дождутся люди, которых я потерял на дорогах жизни и которые особенно милы моему сердцу, и встречу я их здесь всех сразу – серьезного не по годам Эдуарда и велеречивого Барона, молчальницу Настю

и несчастного Илью, бесконечно любимую тетю маму Таню мою и незабвенного дядю папу Ваню, и обниму, и отмолю грехи их неотмоленные. И день и ночь буду стоять я на коленях, воздавая должное – кому за здоровье, кому за упокой, каждому свое, и плач мой сухоткой духа и молитва леностию да не истребятся.

И вот обосновался я в потерянном храме своем, в приюте пустынножителя, и так покойно стало у меня на душе, будто обрел я уже Царствие Небесное, питаюсь надеждою будущего и утвердившись оградою веры, нося рубищное худейшее одеяние свое, яко архиерейскую ризу.

Только грянула зима лютейша, подобная той, что была в 1942 году, про которую сказать можно, как в старых летописях описано, что и птицы мертвы на землю падаху, и ветру дышающую бурну, и нищии терпящу беду велию стеляще и трясущесея, и множайшии от них изомроша. И тело мое ветхое – сосуд скудельный – перестало держать тепло, и кровь остыла и остекленела в жилах, как вода в реках, покрывшихся льдом.

И посреди белого этого ужаса, уже раз пережитого мною приснился мне сон, в котором было напоминание о долге моем перед Богом и людьми, и грозный глас снова призвал меня к служению: **гряди, юроде!** И непрестанно возводя очи ума и сердца своего к Богу, постоянно горя духом пред Ним, неси, подобно древним пророкам, ревнителям славы Божией, слово правды во все темные углы, где рядятся в чистое

вымазанные в саже и прячутся от суда совести своей сонмы грешников.

Не внял я ему и тогда на следующую же ночь, когда я плыл уже почти околевающий в чертоги утраченного рая сладости в третий раз за все время было сказано мне: **наг буди и юрод Мене ради!**

Тут подорвался я, будто дал мне кто железным ужием причитающееся. И немедля вскинулся, взбодрился, восприняв юродство свое как новый завет с Богом, ибо каждый человек, как приснопамятный богоборец Илья, заключает со Всевышним свой завет, и нет ни одного, кто бы повторился, хотя Библия одна и церковные установления одни. Ведь нет на белом свете двух одинаковых листочков и уж тем более нет двух одинаковых вселенных. А когда одна вселенная – человеческая, заключенная в одном смертном сходится с другой, божественной, бессмертной, разлитой во всем сущем, повторений быть не может и всегда получается что-то третье, совершенно новое, небывшее от сотворения мира.

И снова пошел я в народ, на сей раз ругаться миру, как Святой Симеон, Христа ради юродивый, или Блаженный Андрей, родом скиф, и снова потекли ко мне просители – кто со своим недугом, кто за советом, кто для собственного успокоения, не ведая о том, что не странник я из областей далеких, не калика переходжий, а свой, неузнанный Алешка-дурачок, изгнанный по навету за несовершенную провинность. Из изгонявших меня, поди, и в живых-то никого не осталось

– с той поры минуло чай более полувека.

Но не стал я открываться ни тогда, ни после. Пусть, думаю, думают как хотят. Так, может даже и лучше, ибо сказано: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.

И потекла жизнь иная, та, к которой назначен я был всем своим предсуществованием – земным и небесным, в месте, где во младенчестве Божий страх в себе водрузив, я смутно прозревал, что прежде зачатия избрал меня Бог и прежде рождества осиял благодатью своей. И врачевал я болезни, кои были мне подвластны, и очищал раны, и излечивал язвы и рубцы, избавляя от страданий людских, пользуясь знахарским своим умением и слезною молитвою.

Да только объявилось в наших местах дьявольское отродье – *черные копатели*. То были охотники за черепами и свастикой, а по сути те же вражьи выползны, что пришли к нам в сороковые с войной, только свои, русские. Зачастили и другие, называвшие себя поисковиками, в большинстве люди добрые, совестливые и на память не короткие. Но, говорят, ложка дегтя портит бочку меда, а паршивая овца – все стадо. И где пошла порча – там, почитай, пропало и дело.

Следом, как и ожидалось, присовокупился к ним и сам диавол, убивец и совратитель по предназначению своему, растративший всю жизнь по блудилищам с пьяницами и кифаристами, по виду разбитной малый, острый на язык, гордый зубы заговаривать да байки сказывать. А в глазах у

него при всем веселье – безнадега да мертвая вода. Но ничто не скрыто от Бога и святых Его. Сразу я раскусил его и признал в нем врага рода человеческого. И стало смыслом пребывания моего на этой грешной земле ристалище с оным, ибо блаженны все святые, но трижды те, которые засвидетельствовали святость свою во времена Антихриста, и стало быть величайшая слава примет их на бесконечные века. И если я, ничтожный, был при этом, означает это, что не только мною – каждым будет встречен свой Антихрист, и этот мой и мне следует одолеть его в себе и в миру всеми доступными мне способами. И хотя не слишком ладил он с бесенятами из черных копателей, сразу смекнул я, что сей оборотень с ними заодно и все их распри для отвода глаз и пущей видимости. И когда к нему присоединилась белокурая бестия со своим провожатым – Вельзевулом, весь бестиарий приобрел законченные очертания. Все в ее ангелоподобной внешности и лице, прекрасном, как роза, прочитал я без запинки и умолчаний – и тягу к разврату, и жажду поклонения, и любовь к пляскам, сатанинским песнопениям и самым разнуданным игрищам.

Радуйся, трехулочный Содом, ликуй, блудница-Гоморра!
Но недолго вам праздновать.
Возмездие неминуемо!

Он закрыл глаза. Поздний вечер. По черной блестящей реке навстречу плывут зажженные фары, в противополож-

ном направлении – красные угольки габаритных огней. Он провел за рулем весь день. И всю ночь.

Когда это было?

Тысячу лет назад. Еще до Пустыни.

Что ж, дело сделано. Уже назначена дата захоронения останков. Теперь в ожидании последнего новоселья они, наконец, обретут долгожданный покой в своих свежепокрашенных охрой и обитых кумачом деревянных ящиках. В последний путь. Так надо.

Странно, подумал он, люди научились сохранять мысли, голоса, изображения тех, кого с нами нет, но как это изменило самих людей? Предположим, они смогут воскрешать умерших. Но, во-первых, нужно ли это самим умершим? И, во-вторых, как это повлияет на живых? Сделает ли это их лучше, мудрее, счастливее?

Прогресс, конечно, неостановим... Но он имеет смысл, если поднимает человечество духовно и возвращает ему историческую память, а не вводит в соблазн впасть в забвение. И с этим связано чаяние, что когда-нибудь благодаря экспериментам со временем, технологиям реконструкции прошлого цепь времен будет восстановлена, имена безвестных героев возвращены, а их подвиги увековечены...

Блаженны не ведающие сомнений, владеющие ключами от всех явных и сокрытых истин. Однако он не был ни в чем уверен, кроме того, что уверенным нельзя быть ни в чем. Для него так и остался невыясненным вопрос – кого он нашел?

Его ли это дед? И если это не он, то кто же? Ведь все могло закончиться иначе. Это страшное слово – плен.

Ему не давала покоя история, которую в один из вечеров у костра рассказал Андрей. Про поединок немецкого унтер-офицера с Ванькой-встанькой, русским военнопленным. Немцу так и не удалось преподать урок этому русскому медведю, отправив его в «сумеречную зону».

А если это все о нем?

Тогда искать его надо не здесь...

Порой трамплином становится кочка, о которую ненароком спотыкаешься, идя к своей цели. Хотя сил продолжать уже не осталось и цель все дальше... Но кем бы ни был найденный боец – его следовало найти. Найти, чтобы сказать последнее прости ему и его товарищам. Для них, оставшихся лежать здесь – кто на веки вечные, кто до умиротворения в братской могиле не осталось ни добра, ни зла, ни греха, ни покаяния. И это уже никак не изменить.

Что-то изменить можем только мы. Если не впадем в неведение, не утратим память и уясним себе что-то главное. Павшим ведь не все равно. Они не спрашивают, кто выиграл войну и что случилось после. Они это знают. Откуда? Неизвестно. Но знают точно. Гораздо важнее для них понимание – ради чего все это было?

Тут нам, кроме общих слов, сказать, увы, нечего. Ведь мир бывает коварнее и злее самых кровопролитных войн. Все или почти все, за что они воевали мы в одночасье раз-

веляли по ветру. Как непутевые дети, промотавшие нежданно-негаданно свалившееся на нас наследство. Что-то, конечно, осталось. Что-то восстало из пепла. Что-то само приплыло к нам в руки. Но наша ли это заслуга?

Мы спим и видим во сне, что живем. Словно рыбаки, но не те, что были призваны Христом с Геннисаретского озера, а любители подледного лова. Он долго не мог понять, чем так увлечены люди с удочками и бурами на замерзших водоемах страны. С какой стати их каждый год сотнями снимают с дрейфующих льдин. И почему не обходится ни один сезон, чтобы кто-нибудь из них не утонул. Все до одного они казались ему немного сумасшедшими. А потом он понял. Зимние рыболовы – фаталисты. Нет, не из-за рыбьих хвостов они рискуют жизнью, идя по тонкому льду. Они рискуют, потому что им необходимо почувствовать ценность жизни, понять, что они живы и живут... Поэтому зимняя рыбалка превратилась в России в национальный спорт.

У него же преобладали другие сны. Этот регулярно повторяющийся ночной кошмар: засада в горном ущелье, горящие, как спичечные коробки, «коробочки» – боевые машины десанта и расстрелянные в упор восемнадцатилетние пацаны. И как печальный итог всего пережитого – глубоко засевшая фантомная боль. И уверенность, что это – все, что у него осталось. Все наши ужасы уходят в сны, чтобы остаться с нами навсегда...

Он стоял на перроне старорусского железнодорожного вокзала и внешне спокойно курил. Сигарету за сигаретой. Накануне было у него видение о Пустыне. Только выглядела она не как деревня, а как бескрайнее поле, усеянное валунами с пустыми глазницами, над которыми кружило воронье. Его не отпускало гнетущее чувство, что Пустыня эта – в нем самом...

Еще ему приснился юродивый. Но как-то неясно и расплывчато, словно сквозь взбаламученную воду. И церквушка, заново отстроенная, тепло и празднично сияющая на холме. Все говорило о том, что старик обрел в ней окончательное свое успокоение.

В действительности с самонареченным иноком, оказавшимся двоюродным дядей Алены, произошло что-то непонятное. Хотя все именно к этому и шло. По Кузьминкам разнесся слух, будто он тихо почил в развалинах церкви.

– Блаженный Алексей, кажут, когда дотронулась до него какая-то монашка, откуда взялась – не ведомо, рассыпался как есть, в труху и пыль, только облачко осталось. То душа его к небу поднялась... – шепотом делилась с сельчанами баба Люба.

Говорили разное. Но все сходились в одном: юрод пустыньский, наконец, преставился. Может, смерть его наступила во время молитвы в каком-нибудь уединенном скиту. А может, шел он шел по одной известной ему дорожке или шлепал по воде, аки по суху, как и подобает святому и где-

нибудь под прибрежным кустом или на пригорке посреди болота смиренно испустил дух. А потом вознесся. Или просто исчез, будто растворился в воздухе. Но была уверенность, что дед этот не простой – пропавший, но вовсе не пропащий. И будет ему награда в новой его жизни. А еще пошла молва, что это был последний юродивый из уверовавших в Христа скоморохов земли русской. И больше их не будет. Неоткуда им теперь взяться...

И осталось от него одно лишь напоминание: найденный недалеко от церквушки «набатный колокол», представлявший собой полую авиабомбу, подвешенную на раскидистом дубу, да гвоздодер – чем бить в нее.

С той поры перестал напоминать о себе и кузнец Бориска, партизанивший в здешних лесах во время войны. Неистовый молотобоец, о котором рассказывала баба Люба окончательно слился с тишиной, унеся свою тайну в безбрежные новгородские топи...

Но явилось новое поверье – о Слепом Инженере, который обитает в Пустыне и всякого, кто ему встретится – грибник ли, охотник или просто идущий мимо путник,огревает палкой насмерть. В Кузьминках им теперь пугали детей.

Что ж, даже эхо имеет свою судьбу во времени, зачастую отличную от его источника. Угасая и видоизменяясь на излете, оно может оказаться чем-то другим, далеким от себя прежнего. Закономерен только итог, всегда один и тот же. Если, конечно, в нагромождение самых разнообразных,

зачастую случайных обстоятельств, причин и следствий не вмешается злой рок или счастливый случай. Кто-то всю жизнь собирает пыльцу, чтобы впоследствии пить нектар в золотом улье, а кто-то гоняется за чужим нектаром, чтобы в конце этой гонки утолить жажду водой из лужи.

Он стоял на перроне старорусского железнодорожного вокзала и чего-то ждал. Быть может, состава. А может открытия табачного киоска. Или смены эпох. Сзади кто-то подошел, прикрыл руками его глаза и намеренно измененным тоненьким голоском спросил: «Угадай, кто?»

– Эти лунно-сиреневые тюльпаны я сорвал перед городской администрацией, – сказал он, повернувшись, и протянул цветы.

– Сегодня ты сорвал цветы с общественной клумбы, завтра пойдешь в супермаркет тырить творожок, послезавтра – грабить банк. Возьми меня с собой! – в тон ему ответила она.

– Мы не будем грабить банки. Это противозаконно, – нравоучительно проговорил он.

– Ты такой добрый.

– С возрастом, как известно, становишься к людям терпимее, а к себе – добрее. Сколько до отхода поезда?

– Минут сорок.

– Мы успеем сдать билет и получить за него кучу денег, чтобы потратить их на бензин, романтический ужин и домик возле моря.

– Интрига, однако...

Лицо ее озарила улыбка – задумчивая скобочка, слегка сдвинутая набок, глазки лукаво стрельнули по фонарю, похожему на раскрытые в ожидании манны небесной ладони.

– Я слишком стар, чтобы интриговать и слишком ленив, чтобы обращать внимание на интриги. Это чисто деловое предложение.

– Я согласна.

– Выходи за меня замуж.

– Я...

– Ты уже ответила...

Шел первый год после окончания войны. На очередном заседании Совета Европы Германия предложила вернуть Калининграду историческое наименование – Кенигсберг и придать ему статус свободного города. Россия, председательствующая в Евросоюзе, одобрила это предложение, но заблокировала резолюцию о переименовании Калининградской области в Восточную Пруссию.

Великая Польша потребовала у Германии компенсацию за нарушение заключенной в 1934 году Декларации о неприменении силы (Пакт Пилсудского – Гитлера) и вышла с парламентской инициативой перенести столицу ЕС из Гомеля в Краков.

Бывшие республики – Литва, Латвия и Эстония, где в результате миграционных процессов и естественной убыли на-

селения коренные народы стали национальными меньшинствами, объединились в единое государственное образование – Прибалтийский край.

Соединенные Штаты Мексики с согласия России, Индии и Китая получили место в Совете безопасности ООН с правом включения в свой состав территорий, которые были утрачены по договору Гвадалупе-Идальго 1848 года – Техаса, Канзаса, Калифорнии и других общей площадью около полутора миллиона квадратных километров. Попутно рассмотрена мексиканская заявка на прокладку плазмопровода «Дружба» по маршруту Тампико – Альбукерке – Сан-Франциско.

Продолжаются беспорядки, связанные с попыткой афроамериканцев провозгласить Алабаму, Флориду и Миссисипи территориями «только для черных». Их требования поддерживает Мичиган, откуда был депортирован «последний белый».

Китай требует признать лунный кратер Цзу Чунчжи зоной своих исключительных экономических интересов.

Российская космическая станция, расположенная в районе Тирренского моря, приняла капсулу с колонистами и очередной грузовой контейнер с запчастями для сборки второго дивизиона марсоходов.

Верховный Сенат Невадской Республики настаивает на исключении из общеупотребительного обращения названия «Красная планета» в связи с нежелательными ассоциациями

с тоталитарным прошлым России.

В Риге открыт памятник воинам 201-й латышской стрелковой дивизии (впоследствии 43-й гвардейской сд) и установлены бюсты Героям Советского Союза Я.В. Вилхелмсу и В.П. Самсону.

В Парфинском районе Новгородской области вблизи урочища Пустыня началось строительство церкви и мемориала бойцам 26-й Златоустовской (Сталинской) стрелковой дивизии.

– Ты знаешь, в последнее время – извини за этот анахронизм, теперь мне кажется, что времени нет, есть лишь «вечное возвращение того же самого», Die Ewige Wiederkunft – да, так в последнее время я все чаще задумываюсь не о бессмертии, а об одиночестве души. Мне представляется, что перед лицом вечности она бесконечно одинока. И это меня по-настоящему тревожит.

– Это не одиночество души. Это удаленность от света, разлученность с ним. Ты не избыл еще свою тьму, тьму в себе, не стал самим светом. И бродишь во тьме. Поэтому тебе и кажется, что ты один во всей вселенной.

– Предлагаю тост! Наполним наши бокалы сгущающейся над нами тьмой и в этой крошечной тьме выпьем за грядущую тьму!

– Вряд ли я буду за это пить.

– Ты – нет. Я – да. Наши дороги разошлись. И, по-види-

тому, это навсегда. Ты ведь знаешь, о чем я... Одного я никак не могу понять, почему ты до сих пор не бросил меня?

– Ты все еще здесь, то есть там, где и был. Я уже не здесь, но еще и не там, куда иду. И в то же время я повсюду. Как сказано в Евангелии от Иоанна, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа». Поэтому не ищи меня – все равно не найдешь. Я же найду тебя везде, ибо ты теперь – незавершенное мной дело. И пока не подниму тебя, как поднимают останки павших воинов, не будет мне покоя... Тяжел ты, много на тебе греха и крови, но я сдюжу, ей богу сдюжу...

– Так ты воскрес?

– Еще нет. Но я на пути к этому. На пути к вечной жизни. Я там, где нет противоречия между разъединяющим пространством и всепоглощающим временем, потому что нет ни того, ни другого.

– Говорят, оттуда еще никто не возвращался.

– Один вернулся.

– Но он был Богом.

– Принявшим человеческую природу.

– Иначе и быть не могло. Ведь Богу, в отличие от человека, подвластно все. Он может легко принять человеческую природу и так же легко ее отторгнуть. Когда-то Сын Божий перенес земные страдания. Пережил отчаяние. Пал духом. Однако превозмог он все это и воскрес благодаря тому, что

обладал божественной природой.

– Он показал, что и человек может обрести божественную природу. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша, говорил апостол Павел.

– Вера никогда не тщетна. Она действительно умножает наши силы. Но вряд ли делает нас бессмертными. Ведь люди не боги...

– Тогда это не вера, а самовнушение.

– Называй это как хочешь. Но это работает...

– Там, на земле, вера расшатывается. Здесь, на небе, укрепляется. Там Бог предполагается ввиду своего мнимого отсутствия, здесь утверждается в силу своего действительного присутствия. И только для подвижников не существует разницы между землей и небом. Я не был подвижником. И всегда чувствовал эту разницу. Дивен Бог в святых своих! Да я не из их числа, хоть и взошел.

– Почему же я не взошел за тобой?

– Ты сражался не за правое дело. И твое восхождение будет долгим. Очень долгим, увы. Но не бесконечным, ибо ты не безнадёжен. Тебе еще многое придется претерпеть...

– Когда-то я спрашивал у тебя – где мы? Ты сказал: в Urotschischtschje Pustynja. Мы все там же? Отсюда начнется мое восхождение?

– Если начнется, то отсюда. Для тебя не изменилось ничего.

– А для тебя?

– Для меня – все. Здесь я преобразился и понял главное – все мы несем ответственность за чудо, каким является жизнь. Перед собой. Перед людьми. И перед Богом...

– Но как все-таки возможна связь между нами? Как возможно понимание? Ведь по сути мы находимся на разных полюсах мира и они вряд ли соприкасаются...

– Мы можем находиться в некоем нейтральном пространстве, где визуализируются абстрактные представления, сны и фантазии людей, живых и мертвых. Здесь пребывают их размышления, мечты, воспоминания. Теперь это место нашей встречи и нет у нас другого... Здесь мы можем воссоздавать прошлое и видеть иную реальность.

– Я бы хотел попробовать. Как это будет выглядеть?

– Это несложно. Дай волю своему воображению...

– Что это?

– Где?

– Только что взмыло, как фейерверк, в черное небо...

– Это Ницше. С него сняли все обвинения.

– Почему он?

– Ты упомянул о об идее вечного возвращения. И тут же явился его мыслеобраз. Идем дальше?

– Идем...

– Какие-то врата. По-моему, это место называется чистилище. И мы видим здесь... Кто же это? Неужели Дядя Джо?

– Да, это Иосиф Виссарионович. В старом френче и сво-

их любимых домашних тапочках, с погасшей трубкой и полупустой бутылкой «Хванчкара»...

– Что он здесь делает?

– Я думаю, он еще не понимает, куда попал. Это не суд истории, на который он рассчитывал. Это Страшный суд.

– Он о чем-то просит архангела Михаила.

– Вождь спрашивает, можно ли ему взять с собой тапочки и трубку. Вино он готов выпить прямо сейчас, а бутылку оставить на память небесному воинству. Но архангел Михаила непреклонен. «Все это вам уже не понадобится», – говорит он Сталину.

– А это что за нора?

– Это тоннель в преисподнюю. Что-то вроде лабиринта ужаса. Заглянем? Там много интересных персонажей. Многие из них тебе знакомы...

– Похоже на бункер. Осторожно, тут у входа какой-то папоротник.

– Это не папоротник, это Хайдеггер. Видишь, как он шевелит своими онтологическими корнями? Их можно даже пощупать.

– На нем и бирка какая-то висит... Оказывается, это филодендрон. Под номером 312589.

– Это номер его партийного билета.

– Члена НСДАП?

– Члена НСДАП.

– По-моему, этот филодендрон что-то пишет... Die

Schwarzen Hefte...

– Он продолжает свой «Черный дневник». И по-прежнему мечтает о том, чтобы его философия стала священным писанием возрожденного Третьего Рейха. Идем дальше? Обрати внимание, тут много ниш. И в каждой свой тип, а то и целый сонм.

– Кошка с собакой. Оказывается, они и загробном мире дерутся...

– Вероятно, это Гудериан и Клюге. Между ними всегда кипели шекспировские страсти. Дошло до того, что один вознамерился вызвать другого на дуэль и даже обратился за разрешением к фюреру. Субординация, однако.

– Тут еще какие-то разъяренные еноты... Из-за их тьяк-ня и визга ничего невозможно разобрать. Кто это? И о чем это они?

– Лай сорвавшихся с цепи пропагандистов. Они постоянно устраивают диспуты по ту сторону подлунного мира. «Мы тут не п...м, как думают некоторые, а дискутируем». Это их кредо.

– Я догадываюсь, кто это. Один из них Goebbels. А кто оппонент? Троцкий?

– Возможно. Хотя вряд ли. Он не из этой компании.

– А что это за люди без лиц, с пустыми глазницами и обгоревшими черепами?

– Это убежденные нацисты. Небезызвестный тебе эсэсовец Теодор Эйке, создатель концлагерей.

– Он же командир дивизии SS «Totenkopf».

– Да, твой бывший командир. А рядом – Адольф Эйхман, специалист по окончательному решению еврейского вопроса. А вот еще одна одиозная личность. Узнаешь это говорящее пенсне? Его блики чем-то напоминают отблеск секиры. «Низшей расе всего нужно меньше, но больше всего нужно, чтобы самой этой расы было как можно меньше...»

– Он не изменил своим убеждениям. А кто этот человек в капюшоне? Францисканец?

– Кальтенбруннер. За мгновение до повешения.

– Жуть. Паноптикум какой-то. Трудно себе представить, что при жизни они были для меня незыблемыми авторитетами.

– А теперь угадай, кто этот маленький человечек с усиками приказчика?

– Не надо быть Нострадамусом, чтобы понять, кто это. Чем он сейчас так занят?

– Он составляет окончательный проект главного символа фашистской Германии – черного мотыгообразного креста внутри белого круга на фоне красного знамени. Это самое известное его произведение как художника. Видишь, как старательно и вдохновенно он работает, повторяя про себя, будто заклинание: «Мое «да!» исполнено волей... Вы можете положиться на меня, как на скалу!»

– Как странно, что он сумел повести за собой весь немецкий народ. Или почти весь. Для меня это самое непостижи-

мое. До сих пор не понимаю, как ему это удалось. Наверное, он говорил о вещах, в которые нам хотелось верить. И мы верили...

– Это остаточный образ. На самом деле здесь происходит нечто другое. Обрати внимание – с его глазами что-то не так.

– Они напоминают две выжженные каленым железом раны...

– Его испытание состоит в том, что он должен посмотреть в глаза каждому, в чьей смерти прямо или косвенно повинен.

– Я вижу... Там, за пределами бункера выстроилась огромная, уходящая за горизонт очередь...

– Эта бесконечно тянущаяся вереница и есть круг его ада...

– Но для этого ему не хватит и трех жизней.

– То же самое сказал фюрер. «Ничего, – ответили ему. – Мы не торопимся...»

– Что же получается, он занял место дьявола, апокалипсического большого красного дракона?

– Его как такового нет. Это персонифицированное зло. Перед нами временно исполняющий обязанности князя мира сего. Потом его вытеснит какой-нибудь другой дьявол или дьяволенок. Хотя слово вытеснит не совсем точно. Правильнее будет сказать – дополнит. Эта дьяволиада – коллективный портрет извергов, душегубов и богоборцев человечества на протяжении всей его истории, начиная с Люцифера, ангела света.

– И до каких пор это будет длиться?

– Пока не наступит конец истории. Потом все, что способно подняться к свету станет светом. А все, что противится ему – исчезнет, сгорит, перестанет быть. И тьма скроется на веки. Останется лишь один светлый, бесконечно длящийся миг полного единения с Создателем...

– Куда же скроется тьма?

– Тьма не вовне, а в нас самих. И только в нашей воле ее избыть. И тогда, как говорил Сын Божий, на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

– Неужели после всего, что я натворил, повинуюсь «фюрербэфель» – приказам моего фюрера, возможно прощение?

– Я верю не только в прижизненное, но и в посмертное покаяние. И там, за последней чертой свет будет в нас расти, а тьма умяляться. Верю во всепрощающую силу света. Ибо сказано: милости хочу, а не жертвы...